

Мишель Фейбер всегда умел заставить читателя поверить в невероятное...

The Scotsman

Мишель Фейбер Багровый лепесток и белый

18+

Роман, обязанный Джону Фаулзу не меньше, чем Шарлотте Бронте, —
то есть невероятно умный и сверхъестественно увлекательный одновременно.

Daily Telegraph

Большой роман

Мишель Фейбер

Багровый лепесток и белый

«Азбука-Аттикус»

2002

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)-44

Фейбер М.

Багровый лепесток и белый / М. Фейбер — «Азбука-Аттикус», 2002 — (Большой роман)

ISBN 978-5-389-12943-6

От автора международных бестселлеров «Побудь в моей шкуре» (экранизирован в 2014 году со Скарлет Йохансон в главной роли) и «Книга странных новых вещей» – эпического масштаба полотно «Багровый лепесток и белый», послужившее недавно основой для одноименного сериала Би-би-си (постановщик Марк Манден, в ролях Ромола Гарай, Крис О’Дад, Аманда Хей, Берти Карвел, Джиллиан Андерсон). Итак, познакомьтесь с Конфеткой. Эта девятнадцатилетняя «жрица любви» способна привлекать клиентов с самыми невероятными запросами. Однажды на крючок ей попадается Уильям Рэкхем – наследный принц парфюмерной империи. «Особые отношения» их развиваются причудливо и непредсказуемо – ведь люди во все эпохи норовят поступать вопреки своим очевидным интересам, из лучших побуждений губя собственное счастье... Мишель Фейбер начал «Лепесток» еще студентом и за двадцать лет переписывал свое многослойное и многоплановое полотно трижды. «Это, мм, изумительная (и изумительно – вот тут уж без всяких „мм“ – переведенная) стилизация под викторианский роман... Собственно, перед нами что-то вроде викторианского „Осеннего марафона“, мелодрама о том, как мужчины и женщины сами делают друг друга несчастными, любят не тех и не так» (Лев Данилкин, «Афиша»). Книга содержит нецензурную брань.

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-389-12943-6

© Фейбер М., 2002
© Азбука-Аттикус, 2002

Содержание

Часть 1. Улицы	8
Глава первая	8
Глава вторая	20
Глава третья	37
Глава четвертая	52
Глава пятая	67
Глава шестая	82
Часть 2. Дом греха	96
Глава седьмая	96
Глава восьмая	115
Глава девятая	132
Конец ознакомительного фрагмента.	143

Мишель Фейбер

Багровый лепесток и белый

Michel Faber

THE CRIMSON PETAL AND THE WHITE

Copyright © Michel Faber, 2002

This edition is published by arrangement with Canongate Books Ltd,

14 High Street, Edinburgh EH1 1TE and The Van Lear Agency LLC

All rights reserved

Издание подготовлено при участии издательства «Азбука».

© С. Ильин, перевод, 2017

© М. Салганик, перевод, 2017

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2017

Издательство ИНОСТРАНКА®

Если роман такого объема будет менее чем великолепным, читатель этого не простит. Но «Багровый лепесток и белый» более чем великолепен, практически шедевр...

Элис Сиболд

Роман, обязанный Джону Фаулзу не меньше, чем Шарлотте Бронте, – то есть невероятно умный и сверхъестественно увлекательный одновременно.

Daily Telegraph

Мишель Фейбер всегда умел заставить читателя поверить в невероятное...

The Scotsman

Книга, от которой буквально невозможно оторваться.

Рут Ренделл

Это, мм, изумительная (и изумительно – вот тут уж без всяких «мм» – переведенная) стилизация под викторианский роман. Собственно, перед нами что-то вроде викторианского «Осеннего марафона», мелодрама о том, как мужчины и женщины сами делают друг друга несчастными, любят не тех и не так; про то, что все сами виноваты, пенять не на кого и при расплате по счетам богатые позавидуют бедным, а живые – мертвым. Сравнение романа с машиной времени избитое, но ничего точнее не придумаешь: именно так это и работает, эпоха воспроизведена здесь с фантастической достоверностью. Ощущение, что попадаешь внутрь диккенсовских домиков, только с акустикой долби-стерео и всеми возможностями современной широкоформатной камеры.

Лев Данилкин (Афиша)

Хеппи-енда не будет, но на то, что женщина в своем праве с лихвой отомстит мужчине, благодарный читатель может рассчитывать.

Коммерсантъ

«Багровый лепесток...» заслуживает стоять в одном ряду с «Любовницей французского лейтенанта» Джона Фаулза. Не ждите фильма. Читайте книгу, пока это еще живая, искрящаяся масса прекрасных слов, источающих кровь, пот и слезы.

Time

Невозможно оторваться... Мишель Фейбер написал роман, который мог бы сочинить Чарльз Диккенс, если бы ему было позволено говорить свободно.

The Guardian

Готовьте нашатырь, девочки.

Elle

Еве, с любовью и благодарностью

*О, прекрасная лилея.
Нет тебя белее,
Нет нежнее твоего сердечка!
Посмотри послушным взглядом,
Будь со мною рядом.
Вот тебе заветное колечко.*

*Ах вы, милые голубки,
Розовые губки
В лепестках таких благоуханных!
Станешь милой мне женою,
Верною, родною,
Малышей подаришь мне желанных.*

*Что нам вздорные девчонки,
Дерзкие юбчонки!
Кто поймет красавицу такую!
Парни любят поскромнее —
Чтобы рядом с нею
Жить, ничем на свете не рискуя.*

*Дж. Х. Грей.
Какие нам нужны девчонки (ок. 1880 г.).
Перевод Светланы Ивановой*

Часть 1. Улицы

Глава первая

Смотрите под ноги. И не теряйте присутствия духа, оно вам еще пригодится. Город, в который я вас веду, огромен и сложен, и прежде вы в нем не бывали. Вы можете думать, что хорошо его знаете – по другим прочитанным вами книгам, – однако книги эти прислуживались вам, радушничали, принимали вас как своего. Правда же состоит в том, что вы здесь чужой – человек из совершенно иного времени, да и места тоже.

Когда я только еще попалась вам на глаза и вы решились пойти за мной, то, верно, полагали, что просто явитесь сюда и расположитесь как дома. Ну вот вы и здесь. Вам холодно, вас куда-то ведут в полном мраке, вы спотыкаетесь на ухабистой мостовой и ничего вокруг не узнаете. Поглядывая налево-направо, промаргиваясь на ледяном ветру, вы понимаете, что попали на незнакомую улицу с темными домами, полными незнакомых людей.

Да, но ведь вы меня не наобум выбирали. Я пробудила в вас определенные упования. К чему жеманиться: вы рассчитывали, что я удовлетворю все желания, кои вы стыдитесь называть настоящими их именами, или, по малости, помогу вам приятно скоротать время. А теперь вы колеблетесь, все еще держась за меня, но томясь искушением от меня отступить. При первом знакомстве со мной вы не вполне сознавали, какая я все же большая, да и не ждали, что я вцеплюсь в вас так скоро и так основательно. Мокрая ледяная крупа сечет ваши щеки, уколы ее холодны до того, что кажутся жаркими, – как будто горячий ветер бросает вам в лицо угольки. У вас начинает пощипывать уши. Но вы уже позволили сбить вас с прямого пути, и идти на попятный теперь слишком поздно.

Стоит пепельный час ночи, вокруг все исчерна-серо и едва-едва различимо – как слова на уцелевших страницах сожженной рукописи. Почти вслепую вы бредете вперед сквозь дымку выдыхаемых вами паров, вы все еще следуете за мной. Булыжники, по которым вы ступаете, мокры и грязны, холодный воздух отзывает дешевым джином и неспешно разлагающимся навозом. Где-то неподалеку раздаются приглушенные пьяные голоса, однако то, что удастся вам различить, нисколько не походит на тщательно составленные вступительные речи величественной романтической драмы; и вскоре вы ловите себя на истовой надежде, что обладатели этих голосов не станут к вам приближаться.

Главные персонажи нашей истории, те, с кем вам хочется сойтись поближе, живут далеко отсюда. Они вас не ждут, для них вы – пустое место. Если вы думаете, что они повылезут из теплых постелей и проделают целые мили ради знакомства с вами, то сильно заблуждаетесь.

Вы, верно, гадаете: зачем же тогда я вас сюда притащила? Зачем откладываю на потом знакомство с людьми, встреч с которыми вы искали? Ответ прост: их слуги даже и на порог вас не пустят.

Вам недостает нужных связей, вот я и привела вас сюда, чтобы вы смогли их приобрести. Человеку, ничего ровно не значащему, предстоит познакомить вас с человеком, не значащим почти ничего, а тому человеку – с другим, и так далее, и так далее, пока наконец вы не сможете переступить потребный вам порог, став уже едва ли не членом живущей за ним семьи.

Потому-то вы и оказались на Черч-лейн, что в Сент-Джайлсе: именно здесь отыскала я нужного вам человека.

Впрочем, должна предупредить – та, с кем я вас сведу, принадлежит к самому дну, низшему из низших. Бедфорд-Сквер и Британский музей со всей их роскошью, быть может, и

раскинулись в нескольких сотнях ярдов отсюда, однако Нью-Оксфорд-стрит пролегла между этими местами и теми, точно река, слишком широкая для того, чтобы ее переплыть, а вы оказались не на том берегу. Принц Уэльский, могу вас уверить, ни разу не пожимал руки хотя бы одному из обитателей этой улицы, он даже не кивал мимоходом кому-либо из них и даже проститутку себе здесь под покровом ночи не выбирал. Ибо притом, что шлюх на Черч-лейн проживает больше, чем почти на любой другой лондонской улице, это женщины не того разряда, какой подходит для джентльменов. В конце концов, для тонкого ценителя женщина состоит не из одного лишь тела, и потому нельзя ожидать, что он закроет глаза на нечистоту здешних постелей, холод очагов, ничтожность убранства комнат и совершенное отсутствие кебов, ждущих его на улице.

Коротко говоря, это совершенно другой мир, в котором преуспевание есть сон об экзотической, далекой, как звезды, стране. Черч-лейн из тех улиц, на которых даже кошки худы и глядят ввалившимися от вечной голодухи глазами; из тех, на которых людей, именующих себя рабочими, никогда ни за какой работой заставить невозможно, а так называемые прачки редко что-либо стирают. Благотворителям никакого блага здесь сотворить не удастся, их отсылают восвояси, и они уходят – с сокрушением в сердцах и дерьмом на штиблетах. Образцовый ночлежный дом для Достойных Бедняков, лет двадцать назад открытый под звуки филантропических фанфар, теперь уже перешел в руки сомнительных личностей и обветшал ужасно. Другие дома, еще более престарелые, источают, хоть в них и по два, а то и по три этажа, какой-то подземный душок, как будто их выкопали из огромной ямы, в коей догнивали ископаемые останки забытой цивилизации. Дома столетние кое-как держатся на костылях чугунных труб, их увечья и раны врачуют штукатурными припарками и перевязками из бельевых веревок, латают гнилыми досками. Здешние кровли напоминают безумную свалку, оконные стекла верхних этажей покрыты трещинами и черны, совсем как обсто-ящая их кирпичная кладка, а небо над ними кажется не столько эфирным, сколько литым – сводчатым потолком, подобным стеклянной крыше фабрики или вокзала железной дороги: во время оно прозрачной и яркой, а ныне затянувшейся грязью.

Впрочем, поскольку вы появились здесь под конец третьего часа морозной ноябрьской ночи, вам не до любования окрестными видами. Главная ваша забота – убраться с холода и из темноты, стать тем, кем вы надеялись стать, когда прибирали меня к рукам: своим в этих местах человеком.

Помимо блеклых газовых фонарей на дальнем углу улицы, вы никаких источников света на Черч-лейн не различаете, но это лишь потому, что глаза ваши привыкли к более ярким, нежели немощные отблески двух горящих за чумазым стеклом свечей, знакам людского бодрствования. Вы явились из мира, где тьму сметают щелчком выключателя, однако это не единственное энергетическое уравнение, какое допускается Жизнью. Возможны и соотношения куда более шаткие.

Пойдемте со мной в комнату, где горит этот немощный свет. Позвольте мне провести вас через заднюю дверь вот этого дома, по нагоняющему клаустрофобию коридору, в котором пахнет медленно обращающимся в сито ковром и нечистыми простынями. Позвольте спасти вас от холода. Дорога мне известна.

Смотрите под ноги на ступеньках, тут некоторые подгнили. Я знаю какие, доверьтесь мне. Вы уже вон в какую даль забрели, так почему не пройти чуть дальше? Терпение – добродетель, которую ждет щедрая награда.

Разумеется, в скором времени я вас оставлю – я разве не говорила? Да, как это ни прискорбно. Но оставлю в хороших руках, в превосходных. Вот здесь, в крохотной комнатке, где горит немощный свет, вы и обретете первое из полезных знакомств.

Женщина она милая, вам понравится. А и не понравится, большой беды не будет: вы можете, едва она наставит вас на правильный путь, без лишних треволнений бросить ее. За те

пять лет, что она шла по миру самостоятельно, ей ни разу не доводилось и близко подойти к тем леди и джентльменам, в кругу которых вам предстоит вращаться; она труждается, живет и, вне всяких сомнений, умрет на Черч-лейн, накрепко привязанной к этим трущобам.

Подобно многим простолюдинкам, и в особенности проституткам, она носит имя Каролина. Сейчас она – видите? – сидит на корточках у большой фаянсовой чаши, наполненной тепловатой смесью воды, квасцов и цинкового купороса. Орудия странноватым подобием спринцовки, сооруженным из деревянной ложки и старого бинта, она пытается вытравить, вытянуть, словом, как-то истребить то, что лишь несколько минут назад оставил в ней мужчина, с коим вы разминувшись всего на секунду. Каролина раз за разом прополаскивает эту штуку, и вода становится все грязнее – верный знак, считает она, что мужское семя кружит теперь скорее в воде, чем в ее теле. Утираясь подолом ночной сорочки, она замечает, что две свечи ее еле тлеют – одна уже обратилась в оплывший пенечек. Не зажечь ли новые?

Что ж, это зависит от того, какой теперь час ночи, а брегета или ходиков у Каролины нет. На Черч-лейн часы имеются лишь у очень немногих. И очень немногие знают, какой нынче год, – как не ведают многие и о том, что со времени, когда небезызвестного еврейского смутьяна отволокли на виселицу, прошло, предположительно, восемнадцать с половиной столетий. Это улица, где люди ложатся спать не в какой-то назначенный час, но когда джин валит их с ног или усталость не позволяет снова лезть в драку. Улица, где люди просыпаются, когда опиум, растворенный в подслащенной воде, которой они поят детишек, оказывается более неспособным присмирять маленьких подлецов. Улица, где слабые заползают в кровати, едва сядет солнце, и лежат без сна, вслушиваясь в шебуршение крыс. Улица, на которой почти совсем не слышны ни колокольный звон, ни рев державных фанфар.

Часы Каролины – это грязное небо с его слабо светящейся начинкой. Слова «три часа ночи» смысла для нее не имеют, зато она в совершенстве изучила взаимные отношения луны и домов по другую сторону улицы. Подступив к окну, она недолгое время пытается различить сквозь намерзшую на стекло грязь хоть что-то, потом поворачивает шпингалет и распахивает окно. Громкий хруст наполняет ее мгновенным испугом – не треснуло ли стекло? – но это лишь хруст льда. Маленькие осколки его осыпаются вниз, на улицу.

Тот же ветер, что оледенил стекло, набрасывается на полунагое тело Каролины, норовя обратить пленку испарины на ее покрытой гусиной кожей груди в посверкивающий иней. Она собирает в кулак обтрепанный ворот просторной ночной сорочки и прижимает его к шее, чувствуя, как под нажимом предплечья твердеет сосок.

Снаружи – почти полная тьма, ближайший уличный фонарь горит в полудюжине домов отсюда. Булыжная мостовая Черч-лейн уже не белеет снегом, дождь с крупой оставили от него лишь комья да талые полосы, похожие на чудовищные выплески семени. Все остальное черно.

Вам, стоящему, затаив дыхание, у нее за спиной, наружный мир кажется запустелым, однако Каролина знает, что в нем, скорее всего, не спят и другие женщины ее пошиба, как равно и всякого рода золотари, сторожа и воры; да и здешний провизор держит свое заведение открытым всю ночь – на случай, если кому-то понадобится настойка опия. А еще на улицах можно наткнуться на забулдыг – заснувших, не допев песни, на ходу или умирающих от холода – и, да, конечно, на распутников, блуждающих в поисках дешевой девки.

Каролина раздумывает – может, ей стоит одеться, укутаться в шаль и пойти попытать счастья на ближних улицах. У нее туговато с деньгами, большую часть дня она проспала, а после отвергла охотливого клиента – не понравилось его обличье, подозрительное в рассуждении сифилиса, – и теперь она жалеет об этом. Могла бы уж и понять – дожидаться, когда к тебе заявится мужчина безупречный во всех отношениях, дело пустое.

Однако, если она выйдет сейчас из дома, ей придется зажечь две свежих свечи, а они у Каролины последние. Да и погода уж больно мерзка: так вот покувыркаешься в постели, рас-

паришься, а после выскочишь на холод – и пиши пропало: студент-медик сказал ей однажды, натягивая штаны, что это верный способ подхватить пневмонию. А к пневмонии Каролина относится с немалым почтением, хоть и путает ее с холерой и полагает, что если принять побольше джина с бромидом, то ничего, обойдется.

Бояться Джека-потрошителя ей не приходится, его еще четырнадцать лет дожидаться, а к тому времени, как он объявится, Каролина уже умрет от причин более-менее натуральных. Опять же, и Сент-Джайлс будет ему неинтересен. Я уже говорила, кажется, что под самый конец я вас с ним познакомлю.

Особенно гнусный порыв ветра заставляет ее захлопнуть окно, вновь закупорив себя в похожей на ящик комнате, которой Каролина не владеет и которую, сказать по правде, даже не снимает. Выглядеть ленивой шлюшкой ей несколько не хочется, поэтому она что есть сил старается вообразить, как прогуливается, соорудив загадочное лицо, по окрестным улочкам, как вполне приемлемый клиент, выступив из темноты, говорит ей: красавица. Нет, не выходит.

Каролина прихватывает в ладони плотные пряди волос, протирает ими лицо. Волосы у нее до того густые и темные, что говорят, будто и грубейшие из мужланов не могли на них налюбоваться. Они шелковисты и приятно согревают ей щеки и веки. Но, отведя их от лица, Каролина обнаруживает, что одна свеча уже потонула в лужице сала, между тем как другая еще усиливается сохранять свой пламенный венчик. Ничего не попишешь, приходится признать, что день закончился, а с ним и ее дневные прибитки.

В углу пустой почти во всех иных отношениях комнаты стоит продавленная кровать, вся в складках, полурастерзанная, будто забинтованная конечность, которой по неразумию воспользовались для исполнения грубой и грязной работы. Пришло наконец время использовать эту кровать и для сна. Каролина осторожно, стараясь не продрать каблуками заляпанную слизью простынку, забирается под одеяла. Высокие башмачки она стянет после, когда согреется и смирится с мыслью о том, что надо бы расстегнуть кнопки, тянущиеся вдоль каждого длинной цепочкой.

Последняя свечка гаснет прежде, чем Каролина успевает склониться над ней и задуть, и женщина откидывает голову на пропахшую джином и чужим потом подушку.

Можете больше не прятаться. Устраивайтесь поудобнее, все равно в комнате стоит крошечная тьма – и будет стоять, пока не взойдет солнце. Можете даже рискнуть, если желаете, и прилечь рядом с Каролиной, потому что, заснув, она спит как мертвая и вас не заметит – вы только постарайтесь не касаться ее.

Да, все верно. Она уже спит. Приподымите краешек одеяла, устройтесь под ним. Даже если вы женщина, не важно – в эти дни и в этот век женщинам часто случается спать в одной постели. Если же вы мужчина, не важно тем более – до вас под этими одеялами их перебивали сотни.

А вот перед самым рассветом – Каролина будет еще спать рядом с вами, а в комнате, вне одеял, установятся едва ли не заморозки – вам лучше бы выбраться из постели.

Нет, я понимаю, у вас впереди долгий, тяжелый путь, однако Каролина того и гляди проснется – резко, испуганно, – и в этот миг с ней рядом лучше не лежать.

Воспользуйтесь этой минутой, чтобы запечатлеть в памяти комнату: ее ничтожные размеры, покоровившийся от сырости пол и почерневший от чада свечей потолок, стоящий в ней запах воска, мужского семени и прогорклого пота. Постарайтесь запомнить ее получше, а то ведь забудете, едва перебравшись в другие, лучшие комнаты, где пахнет сухими цветами, жареным барашком и дымом сигар, в просторные покои с высокими потолками, такие же нарядные, как узоры их стеновых обоев. Вслушайтесь в суеверную возню под плинтусами, в тихое, даже смешное немного поскуливание спящей Каролины...

Чудовищный скрежет, удар какой-то железной и деревянной громады о камень пробуждает ее от сна. В ужасе выскакивает она из постели, бия, точно крылами, простынями по воздуху. Скрежет длится еще пару секунд, а после сменяется шумом, менее страшным, смесью лошадиного ржания и человеческой брани.

Каролина уже стоит у окна, как и каждый почти обитатель Черч-лейн. Встревоженная, недоумевающая, вглядывается она в сумрак, пытаюсь понять, что за беда такая стряслась и где. Не у ее порога, нет – дальше по улице, почти у освещенного фонарным светом уличного угла лежат останки экипажа, хэнсома, они еще содрогаются и осыпаются, пока извозчик обрезает постромки ошалевшей от ужаса лошади.

Расстояние и мрак мешают Каролине различить подробности. Ей и хотелось бы подальше высунуться из окна, но порывы ледяного ветра загоняют ее обратно в комнату. Она начинает на ощупь отыскивать одежду – под разбросанными простынями, под кроватью, во всех тех местах, в какие мог забросить их ударом ноги последний гость. (На самом деле ей необходимы очки. Да только очков у нее отродясь не бывало. Время от времени они появляются на барахолках, и Каролина их примеряет, однако, хоть они ей и по карману, пригодных для ее глаз найти пока что не удалось.)

Когда она, закутавшаяся в плед и уже совершенно проснувшись, возвращается к окну, события успевают продвинуться на удивление далеко. Вокруг руин экипажа во множестве толкуются полисмены с зажженными фонарями. В крытую повозку забрасывают какой-то большой мешок, а возможно, и тело. Извозчик, отклоняя приглашения забраться туда же, обходит кругами свой дыбом стоящий экипаж, дергая его за одно, за другое, словно в попытках понять, что еще может от него отвалиться. Лошадь, уже успокоившаяся, стоит за двумя впряженными в полицейскую повозку кобылами, принюхиваясь к их подхвостьям.

Проходит еще несколько минут, и, пока над Сент-Джайлсом поднимается блеклое солнце, все завершается. Живой возница и мертвый пассажир, погромохивая, отъезжают от потерпевшего крушение экипажа. Разбитые в щепу колесные спицы и осколки стекла в окошках кеба стыннут в воздухе, как изваяния.

Взглянув по-над плечом Каролины, вы можете счесть, что смотреть больше не на что, однако она остается стоять у окна, точно загипнотизированная, – локти уперты в подоконник, плечи не пошевеливаются. На руину она больше не смотрит, взгляд ее приковали фронтоны по другую сторону улицы.

В их окнах виднеются лица. Лица безмолвных детей, стоящих по одному или группами, похожих на лежалые сладости в витрине давно закрытой лавки. Дети вглядываются в экипаж, ожидая чего-то. А после, все разом, словно у них условлено было, сколько секунд должно пройти после того, как извозчик скроется за углом, белые лица исчезают из виду.

Внизу, на улице, распаивается дверь, и из нее крысиной пробежкой выскакивают два пострела. Один облачен всего лишь в отцовские башмаки, драные короткие штаны и шаль, другой бос, на нем ночная рубашка и пальтецо. Руки и ноги обоих буры и крепки, точно песьи лапы, детские еще лица обезображены дурным обхождением.

Их влечет к себе остов и оболочка кеба, и оба сорванца, подлетев к нему без каких-либо стеснительных оглядок, с ребяческим энтузиазмом набрасываются на покалеченный экипаж. Малые руки их выдирают из треснувшего колеса спицы и принимаются орудовать ими как ломиками и стамесками. Металлические окантовки и деревянные планки, треща, поддаются и выламываются; на фонари и дверные шишаки сыплется град ударов, их выкручивают и тянут.

Из прочих грязных подъездов высыпают все новые дети, им тоже нужна своя доля. Те, у кого есть рукава, закатывают их, прочие берутся за дело без промедления. Руки их сильны, брови насуплены, но всем им не больше лет восьми-деяти; да, конечно, каждый из жителей Черч-лейн теперь уже на ногах, однако время на то, чтобы обдирать экипаж, имеется лишь

у этих малых детей. Все остальные либо пьяны, либо заняты приготовлениями к долгой дневной работе – и долгому походу в места, где ее можно найти.

Вскоре кеб уже облеплен Недостойными Бедняками, и каждый норовит урвать что-либо ценное. А ценно в хэнсоне практически все, поскольку сооружали его для представителей касты, стоящей в обществе намного выше этих детей. Корпус кеба изготовлен из таких редкостных материалов, как железо, медь, доброе сухое дерево, кожа, стекло, фетр, проволока и веревки. Даже набивку сидений можно пустить на подушки, значительно превосходящие качеством многожды сложенный картофельный мешок. Не произнося ни слова, каждое дитя – в зависимости от того, каким орудием и обувкой оно располагает, – долбит и молотит, дергает и бьет, и сухое эхо летит по резкому воздуху, и остов хэнсома подрагивает на булыжной мостовой.

Дети знают – времени у них мало, выясняется, впрочем, что его даже меньше, чем они полагали. После первого их нападения на обломки проходит едва ли больше пятнадцати минут, а из-за угла уже выворачивает и с грохотом катит по улице двуконная подвода пивовара. Весь ее груз – это извозчик и троица его весьма мускулистых приятелей.

Большая часть детей немедля разбегается по домам, унося охапки щепы и обломков, самые же дерзкие медлят еще пару секунд, пока гневные крики «Пшли!» и «Ворюги!» не вынуждают и их броситься врассыпную. Ко времени, когда подвода достигает места крушения, Черч-лейн пустеет снова, фронтоны домов ее снова глядят непорочно и хмуро, окна снова наполняются лицами.

Четверо мужчин соскакивают на мостовую и медленно обходят кеб, кто по часовой стрелке, кто против, разминая толстые руки, поводя мясистыми плечами. Затем они по сигналу извозчика берутся за четыре угла экипажа и одним рывком, побрякивая, грузят его на подводу. Кеб встает более-менее прямо, два его колеса уже обратились в добычу мародеров.

На сбор мелких обломков эти люди времени не тратят. Лошади, получив удар кнутом, всхрапывают, выпускают клуб пара и трогают, трое подсобников извозчика запрыгивают на подводу и ухватываются устойчивости ради за искалеченный кеб; да и сам извозчик, помедливший лишь для того, чтобы погрозить кулаком глядящим из окон стервятникам и крикнуть: «Это была вся моя жизнь!», тоже влезает на подводу, и она уезжает.

Мелодраматический жест извозчика ни на кого впечатления не производит. На взгляд обитателей Черч-лейн, ему еще повезло – остался цел, ну и скажи спасибо. Ибо, когда подвода, громыхая, отправляется в путь, между булыжниками обнаруживаются смахивающие на багровый выюнок потеки темной крови.

Оттуда, где вы стоите, не составляет труда различить дрожь омерзения, пробегающую между лопатками Каролины: она боится крови, да и всегда боялась. На миг начинает казаться, что она сейчас отойдет от окна, но Каролина лишь распрямляется, резко встряхивается, сгоняя гусиную кожу, и снова облокачивается о подоконник.

Подвода скрылась из виду, двери домов распахиваются одна за другой, на улице появляются люди. На сей раз не дети, а взрослые – то есть те обладатели заскоруженных душ, коим уже исполнилось десять. Одни, располагающие возможностью потратить секунду-другую, – расклейщик афиш, уличный метельщик, продавец бумажных мельниц – останавливаются, глаза на кровь, другие торопливо проходят мимо, обертывая тощие шеи шальями или шарфами, доглатывая последние корки завтрака. Для тех, кто трудится на фабриках и в торгующих дешевой одеждой лавчонках, опоздание равносильно мгновенному увольнению; да и тем, кто ищет на день работу «временную», не улыбается, потратив это самое время попусту и явившись на биржу труда, обнаружить, что пятьдесят человек из очереди уже остались ни с чем, а работу получили те, кто порасторопнее.

Каролина снова вздрагивает, на этот раз от давних воспоминаний. Ибо и она была когда-то одной из таких рабов и рабынь, что ни утро спешивших в сереньких сумерках и

плакавших от усталости каждую ночь. Даже и ныне – время от времени, когда она выпивает лишнего и проваливается в слишком глубокий сон, – бессмысленные ошметки прежней привычки пробуждают ее к часу, в который должно бежать на фабрику. Переполошившись, едва осознавая себя самую, она, совершенно как прежде, выбрасывает тело из постели на голый пол. И лишь доковыляв до стула, с которого полагается свисать наготове ее ситцевому рабочему халату, и халата не обнаружив, Каролина вспоминает, кем стала, и ковыляет назад к теплу постели.

Впрочем, сегодняшний несчастный случай пробудил ее настолько, что попытки поспать еще немного утратили всякий смысл. Можно будет попытаться сделать это после полудня – собственно, попытаться необходимо, иначе она рискует заснуть ночью бок о бок с каким-нибудь храпящим идиотом. Простой перепих – это одно, но позволь мужику хоть раз отоспаться рядом с тобой, и он решит, что вправе притащить к тебе свою собаку и своих голубей.

Делай то, делай это. Высыпайся как следует, не забывай расчесывать волосы, подмываться после каждого мужчины: все это обыкновения, коими ей теперь пренебрегать не след. В сравнении с бременем, которое Каролина разделяла когда-то с товарками по фабрике, они не столь уж и тягостны. Ну а работа, что ж... она хотя бы не так грязна, как фабричная, не так опасна, не так заунывна. Ценой своей бессмертной души Каролина получила право валяться будними утрами в постели и вылезать из нее по собственному, черт вас всех подери, почину.

Она стоит у окна, наблюдая, как Нелли Гриффитс и старая миссис Малвени трусят по улице, направляясь на производящую джем фабрику. Несчастные, неказистые курицы: они проводят дневные часы в палящем чаду, почти ничего за это не получая, а после возвращаются домой, и пьяные мужья мордуют их, гоняя от стенки к стенке. Если это и означает быть «честной» женщиной, а Каролина, предположительно, женщина «падшая»!.. Да для чего же Господь и проделал в бабе лишнюю дырку, как не для того, чтобы избавить ее от ишачьей работы?

Существует, впрочем, одно незначительное обстоятельство, заставляющее Каролину отчасти завидовать этим женщинам, ощущать легкую ностальгическую боль. У Нелли и у миссис Малвени есть дети – и у Каролины был когда-то ребенок, она лишилась его, а рожать другого теперь никогда уж не станет. И не то чтобы дитя ее было внебрачным щенком, нет, его зачали в счастливом супружестве, в прекрасной деревушке Северного Йоркшира – впрочем, ни того ни другой в нынешнем ее мире больше не существует. И искалеченное нутро Каролины уже не способно породить на свет новое дитя, и вся ее возня с квасцами и купоросом так же бессмысленна, как молитва.

Сейчас ее сыну, если б он выжил, было бы восемь лет, а он, глядишь, и выжил бы, останься Каролина в деревне Грассингтон. Однако она, рано овдовевшая, предпочла уехать с сыном в Лондон, потому что в соседнем городке Скиптоне работы для мало чему обученной женщины не находилось, а необходимость жить на подачки свекрови представлялась ей невыносимой.

Вот потому Каролина с сыном и сели в поезд и покатали навстречу новой жизни – билеты она приобрела не до Лидса или Манчестера, ибо имела причины полагать, что города эти дурны и опасны, но до столицы всего цивилизованного мира. К провинциальной шляпке Каролины были приколоты изнутри восемь фунтов – сумма очень не малая, достаточная для оплаты крова и пропитания на протяжении нескольких месяцев. Мысль об этом могла бы и утешать ее, но вместо того Каролина на всем пути до Лондона терзалась головной болью – такой, точно тяжесть этих банкнот грозила того и гляди переломить ей шею. Ее изводила потребность потратить свое состояние сию же минуту – лишь бы избавиться от страха его потерять.

По приезде в столицу, всего через несколько дней, ей помогли разрешить это затруднение. Известная фирма, пошив готового платья, столь высоко оценила достойные качества Каролины, что подрядила ее шить на дому жилеты и панталоны. Фирма готова была предоставлять ей все потребные материалы, однако требовала пять фунтов залога. Когда Каролина осмелилась высказать мнение, что пять фунтов – сумма слишком большая, мужчина, нанимавший ее, с ней согласился, заверив Каролину, что не сам он такую назначил. Не приходится сомневаться, что управляющий фирмой разочаровался в поведении бесчестных людей, коих нанимал во времена более снисходительные: многие ярды наилучшего качества ткани уворовывались и всплывали на барахолках лишь для того, чтобы затем обратиться в лохмотья на телах уличных шкодников. Не согласится ли Каролина с тем, что такая картина способна отрезвить всякого делового человека, сколь бы щедр и доверчив он по природе своей ни был?

Что ж, Каролина с тем согласилась – тогда; она была женщиной добропорядочной, сын ее на шкодника нисколько не походил, да и сама Каролина почитала себя обитательницей того самого мира, каковой норовил уберечь от беды ее наниматель. И потому она рассталась с пятью фунтами и вступила на стезю изготовительницы жилетов и панталон.

Работа оказалась довольно легкой и (как представлялось Каролине) прилично оплачиваемой; за несколько недель она зарабатывала шесть шиллингов, а то и больше, из коих, впрочем, вычиталась стоимость хлопковой ткани, угля для утюга и свечей. На свечах Каролина не выгадывала, ей не хотелось обратиться в подслеповатую портниху, которая, сидя в сумерках у окна, щурится, вглядываясь в свою работу; она жалела швей, панегириком коим стала «Песня о рубашке»¹, – примерно так же, как благополучный лавочник может жалеть оборванного уличного торговца. Более чем сознавая, сколь низко пала она в этом мире, недовольной своей жизнью Каролина не была – еды и ей, и ее мальчику хватало, жилье их на Читти-стрит было опрятным и чистым, а будучи женщиной безмужней, Каролина имела возможность расходовать свои средства с разумной осмотрительностью.

Затем настала зима, и ребенок, разумеется, заболел. Выхаживая его, она теряла бесценное время, в частности светлые часы, и когда сын пошел наконец на поправку, у Каролины уже не осталось выбора, ей пришлось прибегнуть к его помощи.

– Ты должен стать моим большим, храбрым мужчиной, – сказала она сыну, покраснев, глядя в сторону – на единственную свечу, освещавшую их сумрачные труды. Ни одно предложение из тех, что ей приходилось делать в последующие годы, не было постыднее этого.

Так мать и сын стали компаньонами. Прислонясь к ногам Каролины, ребенок складывал и проглаживал сшитую ею одежду. Она пыталась обратить это в игру, побуждая сына воображать длинную очередь голых, дрожащих в ожидании своих штанов джентльменов. Однако с работой она запаздывала все пуще, а мальчик ее все чаще задремывал и падал носом вперед, и, чтобы он не обжегся об утюг (или не прожег ткань), ей пришлось булавкой прикалывать к своему подолу спинку его рубашки.

Горестное сорабничество их продлилось недолго. Дюжины жилетов еще ожидали своей очереди, а рывки, испытываемые ее подолом, участились настолько, что стало ясно – мальчик не просто устал: он умирает.

И Каролина пошла к нанимателю, чтобы забрать свой залог. Вышла она от него с двумя фунтами тремя шиллингами и тошнотворным, бессильным гневом, не покидавшим ее целый месяц.

Денег этих хватило на срок чуть более долгий, и когда здоровье ребенка удалось с помощью врача отчасти подправить, Каролина отыскала работу в потогонной шляпной мастерской – она там натягивала квадратики ткани на пыхавшие паром железные болванки.

¹ Стихотворение Томаса Гуда (1799–1845).

Целыми днями Каролина отправляла темные, поблескивающие, обжигающе горячие шляпы дальше по веренице женщин, словно передавая тарелки с едой в немыслимо пропаренной кухне. А ребенок (простите мне эту безликость: Каролина имени его больше не произносит) проводил те дни запертым в их убогом новом жилище – с раскрашенным мячиком и бристольскими игрушками, томясь от болезни и горестного безотцовства. Он вечно капризничал, нюнил по пустякам, словно подстрекая ее к вспышкам гнева.

А затем, в одну из ночей под конец зимы, мальчик раскашлялся и засипел, точно помешавшийся кутенок-терьер. Ночь эта была подобна той, какую переживаем сейчас мы с вами, – холодной и слякотной. Опасаясь, что ни один доктор не согласится – в такой час и в такую погоду – пойти с ней без всякой платы в ее жилище, Каролина составила план. О да, ей доводилось слышать о добрых, преданных своему призванию докторях, готовых отправляться в трущобы, дабы сразиться там с их древним врагом – Недугом, однако за все проведенное ею в Лондоне время ни разу, сколько ей помнилось, такого не встретила и потому решила, что для начала правильной будет пойти на обман. Каролина облачилась в лучший свой наряд (с лифом, пошитым из украденного с фабрики фетра) и вывела сына на улицу.

План ее был таков: обмануть жившего к ней ближе прочих врача, уверив его, что в Лондоне она совсем недавно, семейным доктором покамест не обзавелась, вечер этот провела на театре и, лишь вернувшись домой и обнаружив там впавшую в отчаяние няньку сына, узнала, что он заболел, после чего остановила первый попавшийся кеб, – что же до оплаты услуг доктора, то дело за ней не станет.

– А доктор нас не прогонит? – спросил сын, попав, как всегда, в самую точку, в средоточие наихудших ее опасений.

– Шевели ногами, – вот все, что смогла ответить Каролина.

Ко времени, когда они отыскиали дом с горевшим на фронте овальным фонарем, мальчик сипел уже так, что Каролина наполовину обезумела и руки ее тряслись от желания пронзить его маленькое горло, чтобы бедняжка мог подышать хоть немного. Вместо этого она позвякала дверным колокольчиком доктора.

Спустя минуту-другую на пороге возник мужчина в ночной сорочке, ничем не похожий ни на одного из знакомых Каролине докторов, да и пахнувший вовсе не так, как они.

– Сэр, – сказала она, изо всех сил стараясь изгнать из голоса страх и провинциальную картавость. – Моему сыну нужен врач.

С мгновение он оглядывал ее с головы до ног – давно вышедший из моды одноцветный наряд, пленку изморози на щеках и грязь на башмачках. Потом знаком предложил войти в дом, улыбнулся и, положив широкую ладонь на плечо мальчика, сказал:

– Подумать только, какое счастливое совпадение, – а мне как раз нужна женщина.

Пять лет спустя Каролина, сонно переходя свою спальню, больно ударяется пальцами босой ступни о большой фаянсовый таз, и это пробуждает в ней желание привести спальню в порядок. Она аккуратно переливает уже начавший подкисать противозачаточный настой в ночной горшок, глядя, как зачатки потомства еще одного мужика смешиваются с мочой. Взгромоздив наполнившийся горшок на подоконник, распахивает окно. На сей раз хруста ледяной корки не слышно, да и воздух тих и спокоен. Каролине хочется просто выплеснуть жижу, однако в последнее время по здешним местам шастает санитарный инспектор, напоминая всем и всякому, что нынче у нас девятнадцатый век, не восемнадцатый, и грозя выселением. Черч-лейн кишит ирландскими католиками – злопамятные сплетники, все до единого, – и Каролина вовсе не желает, чтобы они обвинили ее, помимо всего прочего, еще и в пособничестве холере.

И потому она медленно наклоняет горшок от себя, и жижа сдержанной струйкой стекает по кирпичной кладке. Какое-то время дом будет выглядеть так, точно на него облегчился

сам Господь, однако, прежде чем соседи проснутся, следы содеянного Каролиной так или иначе исчезнут – их либо высушит солнце, либо запорошит снег.

Теперь Каролину донимает голод – да такой, что у нее даже живот сводит, даром что обычно она поднимается много, много позже. Она замечала это и раньше: если просыпаться слишком рано, умираешь от голода, а если попозже, то ничего, хотя по прошествии какого-то времени голод одолевает тебя опять. Наверное, пока ты спишь, надобности и желания приходят и уходят, скуля под дверьми сознания и требуя немедленного удовлетворения, а затем на время пропадают и вовсе. Глубокий мыслитель, так называл ее муж. Впрочем, чрезмерная образованность принесла бы Каролине больше вреда, чем пользы.

В животе ее что-то повизгивает на пороссячий манер. Она усмехается и решает подвить Эппи ранним визитом в «Матушкино объяденье». Украсить улыбкой его корявую физиономию и ублажить пирогом свой живот.

В холодном свете дня одежда, которую она торопливо набросила, чтобы взглянуть на потерпевший крушение кеб, никакой критики не выдержит. Грубые руки измяли ткань, грязные башмаки оттоптали подол, на него даже попали капли крови с покрытых струпьями голеней старого красильщика Лео. Каролина сбрасывает этот наряд и одевается заново, для начала достав из гардероба просторное синее в серую полосу платье с тесным черным лифом.

Одевание дается Каролине легче, чем большинству женщин, с которыми вы еще познакомитесь в нашей истории. Она перекроила все свои наряды – не так чтобы сильно, но хитроумно. Застежки перенесены вопреки моде туда, куда могут дотянуться ее руки, а каждая оборка укрывает лежащую под нею другую оборочку, куда более скромную. (Вот видите? В конечном счете навыки швеи ей пригодились!)

Лицу и волосам Каролина уделяет внимание чуть меньшее, оглядывая их в маленьком ручном зеркале, висящем ручкой кверху на стене. Для своих двадцати девяти выглядит она совсем неплохо. Несколько бледных шрамов на лбу и подбородке. Один почерневший зуб; впрочем, он не болит, так лучше его и не трогать. Чуть красноватые, но большие, полные сострадания глаза – совсем такие, как у собаки, которой достался дурной хозяин. Славные губы. Брови не хуже, чем у прочих. И разумеется, копна роскошных волос. Проволочной щеткой Каролина расчесывает челку, взбивает ее, подравнивая ладонью над самыми глазами. Слишком нетерпеливая и голодная, чтобы причесываться и дальше, она собирает волосы на макушке в узел, закалывает булавкой и накрывает индиговой шляпкой. Потом припудривается и румянится – не для того, чтобы прикрыть старую, некрасивую или нечистую кожу, этого у нее ничего пока нет, но чтобы приукрасить рожденную бессолнечным существованием бледность – да и то скорее для себя, чем для клиентов.

Расправив шаль и разгладив перед платья, она обретает сходство с благочинной, обеспеченной женщиной, сходство, добиться коего, пока она батрачила в паре шляпной фабрики, изнывая от своей добродетельности, ей не удавалось ни разу. Конечно, настоящая леди вряд ли смогла бы пристегнуть подвязки за срок, меньший пяти минут, не говоря уж о том, чтобы полностью одеться без помощи горничной. Каролина прекрасно сознает, что она – лишь дешевая имитация, однако считает эту имитацию достаточно яркой, особенно если учесть, сколь малых усилий требует ее создание. И Каролина выскальзывает из комнаты, подобная красивой бабочке, что выпрастывается из плевры подсохшей слизи. Последуйте за ней, но будьте осмотрительны. Впрочем, в какое-либо уж очень интересное место она вас пока не приведет; потерпите еще немного.

На площадке и лестнице догорели последние ночные свечи. Новые зажгут ближе к вечеру, когда девушки станут приводить к себе гостей, поэтому хорошо разглядеть сходящую по ступенькам Каролину вам не удастся. На площадку падает из ее комнаты, дверь которой Каролина оставила открытой, чтобы поровну разделить ее запахи с домом, солнечный лучик,

а вот на самой лестнице, завивающейся штопором в безоконном колодце, стоит удушливый мрак. Каролине порою кажется, что эта клаустрофобическая спираль ничем на самом-то деле не отличается от каминной трубы. Быть может, когда-нибудь самые нижние ступеньки ее воспламятся, пока Каролина будет спускаться по лестнице, и колодец всосет в себя пламя подобно каминной трубе, оставив весь дом нетронутым, и Каролина пробьет заодно со спиралью темных ступенек крышу, обратившись в стремительный ток головешек и дыма! Счастливое избавление, мог бы сказать кто-нибудь.

Первое, что видит Каролина, выступив в свет прихожей, это кресло на колесах, в котором восседает полковник Лик. Устроился он вплотную к лестнице, лицом к входной двери и спиной к Каролине, и потому у нее возникает надежда, что этим утром он, в кои-то веки, спит.

– Думаешь, я сплю, а, девчонка? – немедля ухмыляется он.

– Нет, что вы, – со смешком отвечает она, хоть для лицемерных уверений в образцовости своего поведения час стоит еще слишком ранний. Каролина протискивается мимо полковника и на мгновение приостанавливается, чтобы он смог осмотреть ее, – дабы не показаться ему грубой, ибо обид полковник не прощает никогда.

Полковник Лик приходится владелице дома дядюшкой и сильно напоминает пузатую печку, обернутую для сбережения тепла в несколько пальто, шарфов и одеял, питаемую слухами и пышущую дымом через кургузую трубочку. Под всеми этими оболочками полковник Лик все еще носит военный мундир с орденами, хоть поверх оных и нашит, дабы оградить их от покражи, носовой платок. Во время последней из войн, в коих участвовал полковник, он получил – в обмен на приятную возможность расстреливать в упор мятежных индийцев – пулю в хребет, и с тех пор заботы о полковнике взяла на себя племянница, обратившая его, когда она стала сдавать пустующие комнаты принадлежащего ей дома проституткам, в своего «сборщика податей».

Работу эту он исполняет с безжалостной распорядительностью, однако подлинной его страстью остается война и иные пароксизмы насилия и бедствий. При чтении ежедневной газеты полковник на радостные события и достохвальные достижения никакого внимания не обращает, зато, наткнувшись на описание какого-либо несчастья, впадает в бесчинный восторг. Нередко случается, что Каролине, занимающейся у себя в комнате нелегким своим ремеслом, приходится стенать в ухо клиента погромче, дабы заглушить долетающие снизу громогласные, хриплые цитации, наподобие:

– «Шесть тысяч татар наводнили Амурскую область, пятнадцать лет назад отвоеванную у Китая!»

Теперь полковник наставляет на нее налитые кровью глаза и многозначительно шепчет:

– Кое-кто из нас беды не проспит. Кое-кто понимает, что происходит.

– Это вы об утреннем кебе? – догадывается Каролина, давно уже свыкшаяся с направлением полковничьих мыслей.

– Я видел, – плотоядно ухмыляется он, норовя отлепить от кресла вечно гноящуюся спину. – Смерть и порча.

И снова отваливается на подушки:

– Но это только начало. Малая часть того, что на нас надвигается. Местное проявление. А ведь оно повсюду! Повсюду! Бедствие!

– Я, пожалуй, пойду, полковник. С ног валюсь от голода.

Старик упирается взглядом в свои усталые одеялами колени – так, точно на них лежит газета, – и, подняв на манер перископа указательный палец, наизусть повторяет:

– Кошмарное крушение поезда в Бишопс-Итчингтоне. Пороховой взрыв на Риджентс-канале. В Бискайском заливе затонул пароход. «Коспатрик» гибнет в огне на полпути к

Новой Зеландии, четыреста шестьдесят жертв, и все это лишь за несколько последних дней. Вдумайся! Это знаки. Пучина бедствий. А в самой середине ее – что там, а? Что там?

Каролина на пару секунд задумывается, однако никаких идей относительно того, что там, в голове ее не рождается. Только она одна из трех женщин, снискавших у миссис Лик жилье и рабочее место, и питает к старику странную привязанность, недостаточную, впрочем, чтобы предпочесть его безумные пророчества обильному завтраку.

– До свидания, полковник, – произносит она, открывая дверь, выскакивая на улицу и захлопывая дверь за собой.

А теперь приготовьтесь. Вам недолго остается составлять Каролине компанию, скоро она сведет вас с особой, имеющей несколько более радужные виды на будущее. Посмотрите, как раздается ее лиф, когда она вдыхает полной грудью воздух нового дня. Помедлите, пока она намечает безопасный путь по Черч-лейн, пока уясняет, где гуще всего залегают навоз. А после ступайте за ней к Артур-стрит (только смотрите под ноги), поскорей миновав грязь и сор, оставленные кебом: сначала кровь, потом клочья набивки сидений и щепу от колес. Возможно, они так и тянутся до самой таверны «Матушкино объяденье», где уже с ранней зари подают горячие пироги и где никто не спросит у вас, знали ли вы покойницу.

Глава вторая

Вдоль лощеных тротуаров Грик-стрит уже выстроились наготове лавочники – накатывает вторая волна ранних покупателей. Сами-то покупатели, разумеется, полагают ее первой. Сумрачная процессия швей и мастеровых, которую Каролина видела из своего окна, хоть и протацилась всего в нескольких сотнях ярдов отсюда и лишь менее часа назад, вполне могла принадлежать другой стране и другому веку. Цивилизация начинается здесь, на Грик-стрит. Добро пожаловать в настоящий мир.

Подниматься с утра пораньше, как это делают лавочники, значит, по их рассуждению, проявлять стоический героизм, недоступный пониманию более празднolibивых смертных. Любое существо, шустро пробегающее по улице раньше их, это наверняка кто-то из тех грызунов либо насекомых, которых, увы, не берут ни крысоловки, ни отравы.

Нет, они не жестоки, эти работающие люди. Сердца многих из них куда мягче, нежели у тех благородных исполнителей первых ролей, с которыми вам так нейдет сойтись. Просто лавочникам Грик-стрит нет никакого дела до призрачных созданий, которые, собственно, и производят продаваемые в их лавках товары. Мир перерос состояние чудаковатой деревенской близости всех и вся; теперь у нас век современный: ты заказываешь пятьдесят брикетов дегтярного мыла и через несколько дней приезжает тележка с твоим заказом. В теперешнем мире все рожденное от чресел благожелательного монстра, именуемого мануфактурой, поступает к тебе в готовом к употреблению виде; нескончаемый поток вещей – сортового качества, до идеального одинаковых – истекает из лона, укрытого завесами дыма.

Вы можете сказать, что облака сажи, извергаемой фабричными трубами Хаммерсмита и Ламбета, марают город, сдержанно напоминая ему, как на самом-то деле выглядит рог изобилия. Однако сдержанность в число характерных черт современного человека не входит, а нечистым воздухом дышать все-таки можно; единственное сопряженное с ним неудобство – это пленка копоти, оседающей на магазинные витрины.

Но что пользы, вздыхают лавочники, томиться тоской по былым временам? Настал век машин, миру никогда больше не видать чистоты, зато посмотрите, что мы получили взамен!

Они уже облились потом, единственным их потом за день, потратив немалые труды на то, чтобы отворить лавки. Губками, пропитанными теплой водой, они стерли чумазую изморозь с витрин, жесткими метлами сплывили талый снег в канавы. Привставая на цыпочки и напрягая руки, они открывали ставни, снимали деревянные рамы, сдвигали железные засовы и вытаскивали штыри, сберегшие их товар еще на одну ночь. И пока каждая лавка сбрасывала свой замысловатый железный наряд, по всей улице погромыхивали в замках ключи.

Теперь эти люди спешат – а ну как появится человек со средствами, появится и предпочтет лавку открытую открытой лишь наполовину. Пешеходов пока негусто, и в этот утренний час среди них попадаются люди престранные, однако забрести на Грик-стрит может кто угодно, а предугадать, пожелает ли тот или иной человек расстаться с деньгами, решительно невозможно.

Глазам Каролины, направляющейся к «Матушкину объяденью», открывается возникшая вследствие этого суматоха, открывается на неподобающий манер – лавочники, настезь распахнув двери своих цитаделей, занялись теперь подбором наиболее обольстительного товара, который они собираются отправить на панель, к дверям лавок. Все выглядит так, точно они, снявшие с витрин и дверей пояса целомудрия, не видят более смысла сохранять даже остатки благопристойности. Лотки с книгами преграждают Каролине путь, некоторые из томов развратно разверзнуты и являют досужим взорам свои цветные картинки. Соломой набитые манекены тянут к ней стежками зашитые руки, умоляя Каролину купить облакающие их одежды. С витрин без всякого предупреждения сдираются плотные занавеси.

«С добрым утром, мадам!» – окликает спешащую мимо Каролину далеко не один мужчина. Всем им понятно, что она не леди, – это следует хотя бы из того, что в столь ранний час она уже на ногах, – но ведь их тоже джентльменами от бизнеса не назовешь, а обливаться презрением покупательницу вредно для кармана. Отчетливо понимающие, сколько ведущих вверх ступеней отделяет их от владельцев грандиозных магазинов Риджент-стрит – это уж вам не лавочники, – они с такой же радостью продали бы свои булочки, блузки, башмачки и брошюры потаскухе, с какой и любому другому прохожему.

И то сказать, между Каролиной и лавочниками, ее зазывающими, имеется изрядное сходство: большая часть того, что они норовят продать, особой непорочностью не отличается. Вы можете обнаружить здесь книги, страницы которых продраны разрезательным ножом прежнего их владельца; здесь продают выброшенную за устарелостью мебель, все еще вызывающе крепкую, пригодную к употреблению и дешевую – искушающую тех, кто низко пал по причине тяжелых времен, пасть еще чуть ниже. Превосходные мягкие сиденья, леди и джентльмены! А вот кровати, сэр, на них, правда, уже спали, однако спали чистейшие на свете создания, самые что ни на есть чистые. (Возможно, впрочем, что спали на них хворые бедолаги, недуги которых и поныне таятся в матрасах. Таковы больные фантазии людей, которых банкротство, обман доверия или финансовый крах повергли в такие низины, что приобретение на Риджент-стрит новой обстановки для своих жилищ им более не по карману.)

Еще более сомнительным вкусом отличается здесь одежда. И дело не только в том, что вся она принадлежит к разряду готового платья (то есть шили ее не по чьей-либо мерке), – часть ее была уже надевана, и не раз. Лавочники, разумеется, никогда вам этого не скажут, им любо вообразить, будто Петтикоут-лейн и лавчонки старьевщиков стоят настолько же ниже их, насколько выше стоит Риджент-стрит.

Но довольно о них. Вы рискуете потерять Каролину из виду, – подгоняемая голодом, она ускорила шаг. Да вы уже и колеблетесь, обнаружив впереди себя сразу двух женщин – обе статны, обе с черными лифами, обе с большими бантами, колышущимися, пока они семяют по панели, на их объемистых гузах. Какой расцветки была юбка Каролины? В синюю с серым полоску. Нагоните ее. Другая проститутка, кто бы она ни была, ни с кем достойным знакомства вас не сведет.

Каролина почти уже у цели; она не сводит глаз с нависшей над улицей деревянной вывески «Матушкино объяденье» – покрытого волдырями краски изображения грудастой девицы и ее корявой мамы. Прямо перед Каролиной выскальзывает на панель последнее препятствие – кипа газет, но она уже слышит сладчайший запах горячих пирогов и свежерозлитого пива и толчком открывает старую синюю дверь с забранным в рамочку призывом: *«ПРОСИМ НЕ ХЛОПАТЬ ДВЕРЬЮ – ПЬЯНИЦЫ СПЯТ»*. (Хозяин таверны горазд посмеяться и любит, когда другие смеются с ним вместе. Только еще обнародовав этот призыв, хозяин часто повторял его Каролине, и та едва не уверовала, что он научит ее читать. Впрочем, вскоре она уже снова путала «просим» с «пьяницы» и «не» со «спят».)

Войдите за ней в таверну, и никаких спящих пьяниц вы там не обнаружите. «Матушкино объяденье» стоит парой ступеней выше вульгарных пивнушек и, несмотря на свой шуточный девиз, держится обыкновения выставлять забулдыг при первой же угрозе того, что они наблюдают или затеют драку. Это солидный, опрятный паб, поблескивающий медью и плоховато протравленным деревом, со множеством свисающих с потолков затейливо изукрашенных пивных бочонков (хотя пиво здесь подают лишь одной разновидности) и коллекцией пивных кружков и бутылочных пробок на стене за стойкой.

Из сорока девяти наличествующих в таверне глаз лишь восемь или десять обращаются к возникшей на пороге Каролине, ибо здесь принято относиться к выпивке и ворчливому разговору со всевозможной серьезностью. Те, кто уделяет ей внимание, делают это на срок,

достаточный, чтобы понять, кто она есть или кем, по крайней мере, была; а после снова обращают взгляды к золотистой пене своего горького, темного пива. Попозже, к ночи, они, быть может, и возжелают ее, однако в этот утренний час головная боль лишает для них мысль о телесных усилиях, за которые придется еще и деньги платить, какой ни на есть привлекательности.

Об эту пору в «Матушкино объяденье» сходятся и сидят там, грузно упираясь локтями в столы, люди, жизнью изрядно помятые; ни об одном из них нельзя с уверенностью сказать, будто он ни на что не годен, однако годны они все не на многое, это точно. Впрочем, на их рубашках и куртках пуговиц, висящих на одной ниточке, отнюдь не сыщешь; вязаные шарфы, коими обмотаны их шеи, еще несут следы недавней стирки; башмаки на ногах если и не сверкают, то уж во всяком случае отливают матовым блеском. Большая часть этих мужчин ни на какую работу не спешит и большая же жената на женщинах, еще не доведших их до отчаяния. Появление Каролины ни в коей мере не оскорбляет их чувств да и не удивляет: до заведений, в которые допускаются только мужчины, от этих мест топать и топать.

– Привет, Кэдди, – произносит хозяин, поднимая поблескивающую от пива ладонь. – Какой петушок тебя разбудил?

– Петушки ни при чем, Эппи, – отвечает Каролина. – Это все запах твоих пирогов и пива.

С формальностями покончено, он уже наливает ей кружку пива и машет рукой жене – подавай пирог. Каролина – единственная из завсегдатаев, имеющих возможность есть и пить здесь в кредит, поскольку она же и единственная, кому можно верить – заплатит всене-пременно. Кто из мужчин, присутствие коих в пивной в столь ранний час трубно возвещает о безработном их состоянии, может сказать, что хоть сию минуту у него и ни пенни, однако к ночи денежки будут? А Каролина, с тех пор как она махнула рукой на добродетель, обрела уважение именно там, где больше всего в нем нуждается.

Это вовсе не означает, что деньгами своими она распоряжается мудро. Как и большинство проституток, Каролина разлучается с заработком, едва оставшись с ним наедине. Пища и жилье – отнюдь не единственные статьи ее расходов, она покупает еще и пирожные, спиртное, шоколад, порою наряды, летом тратится на мороженое, зимой на посещение разного рода прогретых мест: таверн, мюзик-холлов, паноптикумов, пантомим – в общем, любых, способных спасти человека от холода. Ну да, она приобретает ингредиенты для своей «спринцовки», дрова и свечи, а по воскресеньям тратит пенни на бенгальский огонь, к которому равнодушна с самого детства, – Каролина зажигает его в своей комнате поздно ночью, точно католик моленную свечу. Все эти прихоти больших расходов не требуют – с тратами на лекарства для ребенка или суммами, которые спускают мужчины в игорных домах, их не сравнить, – и тем не менее Каролина даже шиллинга впрок не откладывает. Готовое платье, бенгальский огонь, пирожное, шесть пенни на развлечения... как получается, что подобные мелочи съедают так много денег? Наверное, есть у нее и другие расходы, но вот какие, она не припомнит, хоть ты ее убей. Да и ладно: приработок у нее не так чтобы постоянный, однако подолгу она на мели никогда не сидит.

Каролина уплетает пирог с раскованностью, которую, будучи достопочтенной йоркширской супругой, вчуже терпела с трудом. Ножа и вилки это подрагивающее совокупление теста, бараньей ноги, воловьего хвоста и горячей подливки не требует, Каролина поедает его из ладони. Жует она не закрывая рта – уж больно горячо. Проходит пара минут, и Каролине остается лишь облизать ладонь.

– Спасибо, Эппи, именно это мне и требовалось.

Она допивает пиво, встает, смахивает с юбки крошки. Жена хозяина с кислым видом вытирает ее столик. Каролина посылает Эппи воздушный поцелуй и выходит на улицу.

Наружный мир пробудился еще не вполне. Лавочники продолжают выкладывать товары на панель; воры, расклейщики афиш, уличные побирушки и мальчишки-посыльные наблюдают за ними. Женщин, почитай, и не видно, лишь две одетые в черное цветочницы негромко переругиваются, споря, где кому из них стоять. Та, что проигрывает спор, оттаскивает свою тачку, сгибая вдвое темное тело над сомнительными по качеству букетами, к стоянке ломовых извозчиков.

Появляться на улицах в столь ранний час Каролина не привыкла; пространство дня, которое еще предстоит одолеть, почти устрашает ее. Она ненадолго задумывается, не предложить ли себя какому-нибудь мужчине – просто чтобы скоротать время, – однако понимает, что хлопотать на сей счет станет навряд ли, разве что такая возможность сама приплывет ей в руки.

Да и особой нужды в этом покамест нет. На покупку свечей и время, и деньги у нее имеются. А тревожиться насчет того, что она может остаться без гроша, ей не приходится – Каролина способна за двадцать минут заработать больше, чем получала когда-то за день.

Она понимает – лишь животная лень и нравственная вялость мешают ей копить, как оно следовало бы, деньги. Заработок, который дает ее ремесло, мог бы за несколько расчетливых лет доверху наполнить ее старую шляпку банкнотами, однако пристрастие к бережливости она утратила. Ни ребенка, ни бессмертной души, о коих следовало бы печься, у нее больше нет, а стало быть, нет и смысла собирать в кубышку монеты, дабы обменять их потом на цветные бумажки. Смерть мужа и сына лишила ее всякого ощущения цели, ответственности да, собственно, и воображимого будущего. Это они обращали ее жизнь в подобие связного рассказа, они словно бы сообщали ему начало, середину и конец. А теперь жизнь Каролины напоминает газету: бессмысленную, злободневную, наполненную ничего не значащими новостями, которые пересказывает не обращающим на него внимания людям полковник Лик. Что же до служения Обществу, так, если не считать струек спермы, которые Каролина перенимает, дабы они не доставляли лишних хлопот добропорядочным женам, пользы от нее не больше, чем от зарытого в землю покойника. И тем не менее она живет и, несмотря ни на что, счастлива. Чем, теперь я могу вам это сказать, и отличается от всех, с кем вам еще предстоит свести знакомство.

– Тиша?

Возвращаясь с Грик-стрит, Каролина остановилась перед убогим, сумрачным писчебумажным магазинчиком, заметив внутри его – да неужели? – и точно, Тишу, или Конфетку, как называет ее большинство знакомых с нею людей. Даже в сумраке – и особенно в сумраке – долговязая фигура ее узнается безошибочно: тощая, точно жердь, плоскогрудая и костистая, как у чахоточного юноши, с кистями рук, великоватыми для дамских перчаток. Первое производимое Конфеткой впечатление неизменно оказывается все тем же: тошнотворным изумлением, порождаемым видом рослого, сухопарого юнца, от шеи до щиколоток укрытого женским платьем, а следом, при взгляде на лицо этого странного существа, пониманием того, что перед вами не юнец, а девица.

Услышав свое прозвище, женщина оборачивается, прижимая к темно-зеленому лифу стопу писчей бумаги. Да, под этим лифом все же присутствует грудь. Ребенка ею, может быть, и не вскормишь, но определенного рода мужчин она удовлетворить способна. А уж таких золотисто-оранжевых волос, такой светозарно бледной кожи ни у кого, кроме Конфетки, не сыщешь. Одних только глаз Конфетки, даже одень ее арабской одалиской, которой, кроме глаз, и показать-то больше нечего, хватило бы, чтобы выдать ее пол. Нагие глаза, опущенные мягкими волосками, поблескивающие, точно очищенные от шкурки плоды. Глаза, которые обещают мужчине все.

– Кэдди?

Лицо узнавшей подругу молодой женщины озаряется выражением, которое столь многие мужчины находили неотразимым: бесспорной благодарностью за то, что она дожила до этой счастливой встречи. Она бросается к Каролине, обнимает и целует ее, отчего физиономии стоящего за прилавком приказчика искажает досадливая гримаса. Недовольство его вызывает не столько выставляемая напоказ приязнь двух женщин, сколько удар, нанесенный его гордыне: он принял Конфетку за леди, обслуживал со всевозможной угодливостью – и, судя по вульгарности ее подруги, дал маху.

– Это все, мадам? – кисло осведомляется он, принимаясь любовно обмахивать перьевой метелкой череду пузырьков с чернилами.

– Да, благодарю вас, – отвечает Конфетка голосом, который неизменно полнится у нее изысканно-сладкими гласными и безупречными согласными. – Вот разве... если вы будете настолько любезны... нельзя ли устроить так, чтобы мне было легче нести покупку?

И она вручает приказчику стопу бумаги, немного помятой только что прижимавшимися к ней с двух сторон женскими бюстами. Приказчик, скривясь, обертывает покупку украшенной тонкими полосками бумагой и обвязывает шпагатом, сооружая из него подобие ручки. Конфетка, воркуя чарующе и благодарно, принимает от него сверток и недолгое время любителю рукоделием приказчика, сладострастно поглаживая шпагат обтянутыми кожей перчаток пальцами, дабы показать, как высоко оценила она его работу. А после поворачивается к нему спиной и берет подругу под руку.

Выйдя под солнечный свет, тесно прижавшись одна к другой, Каролина и Конфетка украдкой оглядывают друг дружку. В то время внешности женщины грозило немало неправимых напастей – кожу съедала оспа; волосы прореживал ревматизм; глаза наливались кровью; искривлялись, заживая, рассеченные ударом ножа губы. Однако ни Каролине, ни Конфетке страсти подобного рода не грозят. Жизнь была к ним добра – или, по крайней мере, не была жестока.

Губы Конфетки, отмечает женщина постарше, бледны, сухи и шелушатся, но разве такими они и не были всегда? В дни ее бедности, еще до того, как Конфетка перебралась в жилье поизысканнее, они с Каролиной были в Сент-Джайлсе соседками, их разделяли всего три дома, и даже гости их, случалось, стучались не в ту дверь, спрашивая «девушку с сухими губами». Каролина знает к тому же, что с гантированными руками Конфетки не все ладно: ничего такого уж серьезного, просто не очень приглядное кожное заболевание, которое, опять-таки, мужчины всегда готовы простить. Почему они с такой терпимостью относились ко всем изъясам Конфетки, было да и остается загадкой для Каролины – в сущности, ни об одной телесной черте подруги она не могла бы по чести сказать, что у нее, у Каролины, эта штука устроена хуже.

Стало быть, есть в ней что-то, с первого взгляда не обнаружимое.

– Выглядишь страх до чего хорошо, – говорит Каролина.

– А чувствую себя отвратительно, – негромко отвечает Конфетка. – Да проклянет Господь и Господа, и все Творение Его.

Лицо и голос ее остаются спокойными, подобным тоном она могла бы отпустить замечание о погоде. Карие глаза светятся – или так только кажется? – мягким и добрым юмором.

– Армагеддон, вот что нам не помешало бы, – а, как по-твоему?

Может, тут какая-то непонятная мне шутка, гадает Каролина, – из тех, которыми Конфетка перебрасывается с образованными господами: теперь, когда она обосновалась на Силвер-стрит. Прежде, во времена Черч-лейн, Конфетка любила посмеяться. Каролина и поныне улыбается, вспоминая ее коронный номер, пользовавшийся у проституток большой популярностью. Не то чтобы она хорошо его помнила, нет; суть номера состояла не только в актерской игре, но и в словах, в сотнях слов, они-то и были самой его солью. Конфетка показывала, как она совращает незримого мужчину, как умоляет его голосом, почти истериче-

ским от похоти. «Ох, ну дай же мне погладить твои яйца, они такие красивые – как... как собачье дерьмо. Собачье дерьмо, укрывшееся под твоим...» Под чем? У Тиши было для этой штуки такое хорошее слово. Слово, от которого и у тебя становилось мокро между ног. Но Каролина его забыла, а сейчас спрашивать о нем не время.

То, что Конфетка оказалась шлюхой куда более возжеленной и взыскуемой, чем она, всегда ставило Каролину в тупик, однако так оно и было, а в последнее время, если верить слухам, которые ходят среди девушек ее ремесла, популярность Конфетки еще и возросла. Нечего и сомневаться, переезд миссис Кастауэй из Сент-Джайлса на Силвер-стрит, с которой можно в три прыжка попасть на самую широкую, богатую и пышную из улиц Лондона, объяснялся не столько амбициями Мадам, сколько спросом на Конфетку.

А отсюда проистекает вопрос: как оказалась Конфетка, живущая по соседству с роскошными магазинами Вест-Энда, здесь, в задрипанной писчебумажной лавчонке на Грик-стрит? Зачем рискует она загрязнить подол прекрасного зеленого платья, переходя улицу, с которой никто не спешит сметать конский навоз? Да, собственно говоря, зачем ей было вообще вылезать из постели (по-королевски роскошной, как представляется Каролине) еще до полудня?

Однако, когда она спрашивает: «Что тебя занесло в наши края?» – Конфетка лишь улыбается беловатыми, сухими, как крылья ночной бабочки, губами.

– Я... навещала друга, – говорит она. – Провела там всю ночь.

– А, ну понятно, – ухмыляется Каролина.

– Нет, правда, – серьезно настаивает Конфетка. – Давнего друга. Женщину.

– Ну и как она? – спрашивает Каролина, надеясь выведать имя. Конфетка на секунду закрывает глаза. Ресницы у нее густые и пышные, такие у рыжей женщины встретишь не часто.

– Она... покинула наши края. Я с ней прощалась.

Странную они составляют пару, идущие вместе по улице Каролина и Конфетка: женщина постарше тонка в кости, круглолица и пышногрудая; рядом со своей спутницей, высоким, гибким созданием в зеленом, как мох, платье из *peau-de-soie*², она выглядит складной и статной. Но хоть у нее, у этой самой Конфетки, и нет груди, о которой стоило бы говорить, и кости ее пугающе выступают из-под ткани лифа, она тем не менее движется с большим, чем у Каролины, достоинством, с большей женственной надменностью. Голову она держит высоко и выглядит единым целым со своим платьем, как если б оно было собственной ее шкуркой либо оперением.

Не эту ли животную безмятежность, гадают Каролина, и находят столь притягательной мужчины. Ее, да еще дорогую одежду. Впрочем, она ошибается – все дело в способности Конфетки разговаривать со всяким мужчиной так, точно она с ним давно уже пребывает на короткой ноге. В этом и в умении никогда не говорить «нет».

Теперь вопрос задает Конфетка:

– Далеко ли от дома собираешься сегодня начать?

– Да уж не там, – отвечает женщина постарше, махнув рукой в сторону Сент-Джайлса. – Может быть, на Краун-стрит.

– Что так? – участливо спрашивает Конфетка. – У тебя ведь неплохо все складывалось пару месяцев назад – помнишь, на Сохо-Сквер? – (Вот вам еще одна причина, по которой Конфетка столь преуспела в своей профессии: ее способность запоминать – из того, что относится к жизни других людей, – не одни только увлекательные пустячки.)

– У меня на нее духу не хватает, – вздыхает Каролина. – В тот раз, когда я столкнулась с тобой, просто-напросто день был удачный, вот я и не могла нарадоваться на Сохо-Сквер

² Плотная шелковая ткань с матовым отливом.

– подцепила там двух роскошных клиентов подряд и думала: теперь это мое место! Сама знаешь, Тиша, новичкам везет. Для таких хороших мест я попросту не гожусь. Надо знать свой шесток.

– Глупости, – отвечает Конфетка. – Они ничего не смыслят, мужчины. Оденься в черное, набери побольше воздуха в грудь, надувай щеки, и они примут тебя за королеву.

Каролина с сомнением усмехается. По ее-то опыту, произвести впечатление на этот пресыщенный мир далеко не так просто.

– Да они же меня насквозь видят, Тиша. Из свиной жопы шелковый кошелек не сошьешь.

– О, думаю, тебе это удалось бы, – неожиданно посерьезнев, отвечает Конфетка. – Тут все зависит от клиента.

Каролина вздыхает:

– Понимаешь, если я держусь своей части города, у меня и клиентов набирается больше, и осечек выходит меньше. А стоит мне зайти на запад дальше Краун-стрит, и сразу начинаются сложности. – Прищурясь, она бросает вдоль Грик-стрит взгляд в направлении Сохо-Сквер, и вид у нее при этом такой, словно все, что лежит за еврейской школой и благотворительным приютом, представляет собой вершину, на которую ей не взобраться. – Да, конечно, мне удастся подцепить там иностранца, еще бы, или деревенского сопляка, или кого-нибудь из тех, кому хватает смелости только на то, чтобы таскаться за тобой по пятам. С этими нужно разговаривать по дороге сюда, не закрывая рта: «О да, и что же привело в Лондон такого человека, как вы, сэр?» – они и опомниться не успевают, а уже вот она, Черч-лейн, назад не повернешь. Ну и получают свой фунт мяса и хорошо тебе платят, списывая денежки на знакомство с достопримечательностями. Но ведь попадают и такие, кто всю дорогу ноет: «Чего это так далеко, почему так далеко, разве мы еще не пришли? Это же Старое Сити, трущобы какие-то». Их иногда приходится заводить в проулок и устраиваться раком, однако бывает, они тебя тут же отталкивают, свирепеют, орут: «Лезла бы лучше к тем, кто тебе по чину!» И знаешь, Тиша, от этих у меня просто руки опускаются. Чувствую себя униженной до того, что хочется уйти домой и выплакаться...

– Ну уж нет, – протестующе покачивает головой Конфетка. – Не надо так на это смотреть. Унижаются-то они, а не ты. Они считают себя Прекрасными Принцами, а ты показываешь им, что в принцы они рылом не вышли. Да если бы их добродетели так всем и лезли в глаза, разве подошла бы к ним женщина вроде тебя? Поверь мне, это они идут домой и там плачут – надменные, трусливые мелкие гниды. Ха!

Женщины заливаются смехом; впрочем, Каролине хватает его ненадолго.

– Ну, так или этак, – говорит она, – а я из-за них, бывает, и нюни распускаю. Да еще и на людях.

Конфетка берет Каролину за ладонь – зеленая и серая перчатки смыкаются одна на другой – и говорит:

– Пойдем на Трафальгарскую площадь, Кэдди. Купим себе пирожных, голубей покормим – и полюбуемся на бал гробовщиков.

И они опять разражаются смехом. «Бал гробовщиков» – это их личная шуточка; шутки-то главным образом и сохранились от тех трех лет, что они провели по соседству, ежедневно поверяя свои мысли друг дружке.

Скоро две женщины уже идут по лабиринту улиц, каждая из которых совершенно для них бесполезна, – улиц, о которых они знают только, что на них расположены другие бордели и дома свиданий, улиц, уже предназначенных к сносу градостроителями, которым грезится широкая авеню, названная в честь графа Шефтсбери. Перейдя незримую границу приходов Святой Анны и Святого Мартина-в-полях, женщины не обнаруживают никаких свидетельств присутствия здесь святых либо полей, если не считать последними окруженную

деревьями лужайку на Лестер-Сквер. Нет, глаза двух женщин отыскивают кондитерскую, в которую они заходили при последней их встрече.

– Разве не эта? – (В нынешние новые времена лавчонки появляются и исчезают так скоро.)

– Нет, дальше.

Лондонские кондитерские («*patisseries*»), как стали они титуловать себя в последние годы) – жалкие, маленькие заведения, походившие на принаряженные лавки скобяных товаров и выставляющие в витринах нечто приплюснутое, поименованное в честь *geteaux*³, – французов, посетивших Англию, они могли бы и напугать, однако Франция раскинулась далеко, за далеким отсюда проливом, а людям вроде Каролины и та «*patisserie*», что стоит на Грик-стрит, представляется вполне экзотичной. И когда Конфетка вводит ее в дверь такого заведения, глаза Каролины освещаются предвкушением незамысловатого удовольствия.

– Два вот этих, пожалуйста, – говорит Конфетка, указывая на самые что ни на есть липкие, сладкие и богатые кремом из выставленных на прилавке пирожных. – И вот это. Две штуки – да, по паре каждого.

Женщины посмеиваются, ободренные самой механикой согласованных действий двух старых подружек. Большую часть их жизни им приходится старательно избегать любого слова и жеста, которые способны стать препоной для переменчивых приливов мужской гордыни, и какое же это облегчение – забыть обо всем и дать себе волю!

– Каждое в свой стаканчик, *медаме*. – Лавочник, превосходно сознающий, что леди из них такие же, какой из него француз, взирает на двух посетительниц плотоядно, но не без подобострастия.

– О да, благодарю вас.

Каролина мягко сжимает ладонями конические донышки картонных стаканчиков, сравнивая лежащие внутри их кремовые пирожные и пытаясь решить, какое она съест первым. Получивший плату лавочник провожает их радостным «бон жуир». Если проститутки покупают по два пирожных каждая, так подавайте сюда проституток, да и побольше! Дожидаюсь добродетельных дам, выпечка недолго останется свежей – на глазури и так уж начинают проступать капельки пота.

– Заходите снова, *медаме*!

Ну а теперь к следующему развлечению. Женщины еще только подходят к Трафальгарской площади – как точно они выбрали время! – а оно уже начинается. Незримый отсюда колосс вокзала Чаринг-Кросс изверг из себя самый объемистый за весь день груз пассажиров, и этот людской поток течет, направляясь сюда, по улицам. Сотни клерков, одетых в мрачное черное платье, вливаются в поле зрения женщин, большая волна одноцветного единообразия наплывает на конторы, готовые ее поглотить. Многочисленность и спешка клерков сообщают им вид смехотворный, но при этом лица их хранят выражения веские и бесстрастные, как будто каждый из клерков помышляет о высоких материях, – отчего они кажутся лишь более смешными.

– Бал *gro-бовщиков*, бал *gro-бовщиков*, – точно дитя, напевает Каролина. Ничего смешного в этой шуточке давно уже не осталось, однако Каролина дорожит ею, как старой знакомой.

А вот Конфетку потешить не так легко; на ее вкус, любая привычная реакция отзывается западней. Обмениваться старыми шутками, распевать старые песни – значит признавать поражение, довольствоваться своим уделом. Парки присматривают за нами с небес и, услышав что-либо подобное, мурлычат друг дружке: «О, эта вполне довольна собой, не стоит в ней ничего менять, она лишь с толку собьется». Ну так знайте: Конфетка намеревается

³ Печенья (*фр.*).

перемениться. Парки могут посматривать на нее, когда им заблагорассудится, – они всегда увидят ее стоящей наособицу от общего стада, готовой к тому, что волшебная палочка перемен коснется ее головы.

И потому кишащие перед нею клерки не могут остаться гробовщиками – но кем же тогда им быть? (Разумеется, банальная правда состоит в том, что они клерки и есть, – однако это не годится: без помощи воображения прорваться к лучшей жизни не удавалось еще никому.) И стало быть... это огромная толпа гостей, которые покидают обед, задававшийся в богатом отеле, вот что! Там учинилось волнение. Пожар! Потоп! Спасайся кто может! Конфетка бросает взгляд на Каролину, прикидывая, не стоит ли поведать ей это новейшее толкование. Однако улыбка женщины постарше выглядит глуповатой, и Конфетка решает – нет, не стоит. Пусть Каролина сохранит своих драгоценных гробовщиков.

Клерки теперь уже повсюду – они вылезают из омнибусов, маршируют в десятках направлений, держат в руках перевязанные бечевкой свертки с ленчами. А между тем прибывают, грохоча, все новые омнибусы, и крыши их тоже облеплены дрожащими на ветру клерками.

– Вот бы дождь пошел, – ухмыляется Каролина, вспоминая, как в прошлый раз они с Конфеткой стояли в укрытии, попискивая от наслаждения, пока омнибусы свозили сюда клерков под безжалостным ливнем. Тем, кто сидел внутри, ничто не грозило, а вот несчастные, которым достались места только на крыше, презлостно горбились под покровом теснившихся зонтов. «Ах, что за зрелище!» – радостно восклицала тогда Каролина. И сейчас она сжимает, точно в молитве, укрытые перчатками длани, желая, чтобы небеса разверзлись и подарили ей это зрелище снова. Однако сегодня небеса остаются закрытыми.

Озаряемые благосклонным солнцем улицы становятся все оживленнее, столпотворение пешеходов и экипажей почти уж и не позволяет отличить тротуары от мостовых. Сквозь орды клерков медленно, будто крестьянские сенные возы, что продираются через овечью отару, проезжают в безвкусных брогах еврейские комиссионеры. Пооблок от них восседают с дрожащими на коленях собачонками дамы высшего купеческого сословия. Оптовые торговцы, держащие головы приметно выше розничных, выступая из кебов, расчищают себе дорогу взмахами тростей.

Однако полный масштаб этого шествия можно оценить, лишь стоя посреди Трафальгарской площади, ибо толпы клерков обтекают и огибают ее подобно огромной армии, берущей в кольцо Нельсона. Все, что следует сделать Каролине и Конфетке, это протиснуться, держа наотлет пирожные и сверток, на собственно площадь. На каждом шагу двух женщин мужчины, несмотря на давку, расступаются перед ними – одни отпрядывают в почтительном неведении, другие в осведомленном отвращении.

И неожиданно к услугам Каролины и Конфетки оказывается словно бы весь мировой простор. Они прислоняются к пьедесталу одного из каменных львов и поедают пирожные, склонив головы и слизывая с перчаток пятнышки крема. По меркам респектабельности это все равно что слизывать брызги спермы. Порядочная женщина употребляет пирожное только с тарелки – в отеле или по меньшей мере в большом, торгующем всем на свете магазине, хоть нынче и не скажешь, с кем или с чем рискуете вы повстречаться в заведении, отличающемся гостеприимством столь неразборчивым.

Впрочем, на Трафальгарской площади скандальное поведение их бросается в глаза не так сильно; в конце концов, здесь вечно толкутся иностранцы и в еще больших количествах голуби, а как человеку соблюсти совершенную благопристойность посреди такой грязи и бездны перьев? Люди из разряда тех, кого заботят подобные вещи (леди Констанция Бриджлоу как раз из них, однако до знакомства с ней вам еще далеко), сказали бы, что в последние годы городские власти лишь потворствовали этим жалким созданиям (под каковыми словами она разумеет голубей, а быть может, и иностранцев), установив здесь лоток для про-

дажи фунтиков с птичьим кормом, по полпенни за штуку. Покончив с пирожными, Конфетка и Каролина покупают с лотка по фунтику, дабы развлечься, каждая, наблюдением за другой, окруженной сонмищем птиц.

Идея принадлежит Каролине; потоки клерков иссякают, поглощаемые посольствами, банками и конторами; да как бы там ни было, они ей уже и наскучили. (Прежде чем покинуть стезю добродетели, Каролина могла часами зачарованно вглядываться в вышивку или в сонно помаргивающего ребенка; ныне ей едва-едва удастся сосредоточиться и на оргазме – оговоримся: не ее собственном, – когда таковой разражается в одном из отверстий ее тела.)

А Конфетка, что может позабавить ее? На Каролину она смотрит с благодушной улыбкой матери, не способной вполне поверить тому, какие пустяки тешат ее дитя, но ведь мать-то из них двоих – Каролина, а Конфетка – совсем еще юная женщина. И если кормление стаи дурно воспитанных старых птиц не доставляет ей удовольствия, то чем же оное доставляется? О, для того, чтобы это узнать, вам придется заглянуть в такие ее глубины, до каких никто еще не добирался.

Вот на вопросы попроще я вам ответить смогу. Сколько Конфетке лет? Девятнадцать. Давно ли она состоит в проститутках? Шестой год. Прodelав арифметические выкладки, вы получите результат, способный лишить вас душевного равновесия, особенно если вы вспомните о том, что девушки вашего времени созревают обычно годам к пятнадцати-шестнадцати. Да, но ведь Конфетка всегда была существом, развитым не по годам – и удивительным. Даже в ту пору, когда она только еще осваивала азы своего ремесла, Конфетка бросалась на фоне мерзости Сент-Джайлса в глаза – отчужденная, серьезная девочка посреди разлива грубого гогота и пьяного панибратства.

«Странная она какая-то, эта Конфетка, – говорили ее товарки-блудницы. – Далеко пойдет». Так и случилось. Она одолела путь, ведущий на Силвер-стрит, а это, в сравнении с Черч-лейн, рай. И все же, воображая ее фланирующей под парасолем по Променаду, они ошибаются. Почти все время Конфетка проводит в четырех стенах, одна, запершись в своей комнате. Других проституток Силвер-стрит, работающих в соседних домах, ничтожная малость *rendezvous*⁴, которую позволяет себе Конфетка, скандализирует: одно в день, а бывает, и ни одного. Что она о себе воображает? Поговаривают, будто она взяла с одного мужчины пять шиллингов, а с другого аж две гинеи. Что у нее на уме?

В одном сходятся все: привычки у этой девушки какие-то странные. Она проводит без сна ночи напролет, даже когда мужчину ей принимать не приходится, – и что она делает после того, как тушится свет, если не спит? Да и питается Конфетка не как все нормальные люди – кто-то видел однажды, как она ела сырой помидор. И всякий раз, поевши, она хватается за зубной порошок и прополаскивает рот прозрачной жидкостью, которую покупает бутылками. Румян Конфетка не употребляет, сохраняя жутковатую бледность щек, крепких напитков не пьет, ну разве что мужчина принудит ее к этому (да и тогда, если ей удастся заставить такого мужчину повернуться к ней спиной, выплевывает то, что держит во рту, или выливает содержимое своего стакана в вазу). Что же она в таком случае пьет? Чай, какао, воду – да и те, судя по ее вечно шелушащимся губам, в количествах на редкость малых.

Странно? Если верить другим потаскушкам, вы еще и половины не слышали. Конфетка не только *умеет* читать и писать, ей и то и другое нравится. Она, быть может, и пользуется у богатых повес репутацией превосходной любовницы, однако репутацию эту и сравнить невозможно с известностью, приобретенной Конфеткой в среде коллег, которые называют ее «та, что все книжки перечитала». И речь, заметьте, идет не о двухпенсовых книжках – о книгах толстых, в которых столько страниц, что даже самой умной из девушек Черч-лейн нечего и надеяться дочитать ее до конца. «Хочешь ослепнуть, твое дело», – не устают

⁴ Свидания (фр.).

повторять Конфетке товарки, или: «Ты хоть изредка думаешь: ну, хватит с меня, эта книжка – последняя?» Однако Конфетке никогда и ничего не хватает. С тех пор как она перебралась в Вест-Энд, Конфетка пристрастилась проходить, пересекая Гайд-парк, мимо Серпантина в Найтсбридж и навещать там одно из двух георгианского пошиба строений, стоящих на Тревор-Сквер, – они, быть может, и смахивают на шикарные бордели, однако на деле в них расположены публичные библиотеки. Она еще и газеты с журналами покупает, даже те, в которых и картинок-то днем с огнем не сыскать, даже те, на которых значится: «Только для джентльменов».

Впрочем, главную статью ее расходов составляет одежда. Добротность нарядов Конфетки удивительна даже по меркам Вест-Энда, а уж в грязьнице Сент-Джайлса она представлялась попросту поразительной. Вместо того чтобы приобретать выброшенные кем-то старые тряпки из тех, что свисают с мясницких крюков вдоль Петтикоут-лейн, или сносные имитации модных ныне нарядов, предлагаемые пропыленными лавчонками Сохо, Конфетка откладывает шестипенсовик за шестипенсовиком, пока не обретает возможность позволить себе платье, создающее впечатление, будто его соорудил именно для нее наилучший из дамских портных. Такие иллюзии, даром что продаются они в больших магазинах, стоят недорого. Одни только названия тканей: левантийская фолисе, атласная *velouté*⁵, алжирская – и их цвета: люсин, гранатовый, дымчатый нефрит – экзотичны настолько, что у проституток, которым Конфетка о них рассказывает, стекленеют глаза. «Сколько хлопот, – заметила как-то одна из ее слушательниц, – и все ради тряпок, которые мужик сдирает с тебя на пять минут да еще и ногами топчет». Однако мужчины Конфетки задерживаются в ее комнате много дольше пяти минут. Некоторые сидят там часами, и, когда Конфетка выходит оттуда, выглядит она так, словно ее и вовсе не раздевали. Чем же она там занимается с ними?

«Разговариваю», – отвечает она тому, кто набирается смелости задать этот вопрос. Ответ лукавый, он хоть и дается с серьезной улыбкой, однако всей правды в себе не содержит. Выбрав мужчину, Конфетка покоряется ему во всем. Если ему только и требуется, что дыра между ее ног, он эту дыру получает, хотя сама Конфетка предпочитает другие отверстия, ротовое и ректальное – с ними и грязи меньше, и чувствуешь себя потом намного спокойнее. Хрипотца в ее голосе появилась после того, как ей, еще пятнадцатилетней, ткнул, не рассчитав своей силы, острием ножа в горло один из тех немногих мужчин, которых ей не удалось удовлетворить.

Но не одну лишь покорность и порочность предоставляет Конфетка в распоряжение мужчин. Покорность и порочность стоят недорого. Любая беззубая карга с охотой обслужит всеми известными способами того, кто даст ей пару пенни на джин. Конфетку же обращает в великую редкость иное – она делает все, на что готовы совсем уж отчаявшиеся уличные поблядушки, но делает это с улыбкой детской невинности. А в профессии ее нет драгоценности более редкостной, чем непорочного обличья девушка, которая, утопая против воли своей в пучине грязного разврата, восстает из нее пахнущей розами, с ласковыми, как у спаниеля, глазами и улыбкой, чистой, что твое отпущение грехов. Мужчины возвращаются к ней снова и снова, спрашивают ее по имени, уверенные, что ее похотливая приверженность к определенного рода пороку равна их собственной; а товаркам Конфетки, когда они видят этих простаков, остается лишь покачивать в завистливом восхищении головой.

Тех, кто ее недолюбливает, она старается очаровать. И в этом ей помогает причудливая память, хранящая едва ли не все, что когда-либо говорилось Конфетке. «Ну и как поживает в Австралии твоя сестра? – может она, к примеру, спросить у старой знакомой, с которой не виделась уже год. – Этот О’Салливан из Брисбена женился на ней или нет?» И глаза

⁵ Бархатистая (фр.).

ее наполняются участием или чем-то столь схожим с участием, что и самая недоверчивая потаскушка чувствует себя тронутой.

Не менее полезной оказывается острая память Конфетки и в отношениях с мужчинами. Говорят, будто музыка способна смирять скотов свирепосердых, однако Конфетка нашла для умирения скотообразных мужчин способ более действенный: она запоминает их суждения о тред-юнионах или о неоспоримом превосходстве черного нюхательного табака над коричневым. «Ну разумеется, я вас помню! – говорит Конфетка омерзительному мужлану, два года назад закрутившему ей соски с такой силой, что она едва сознание не потеряла от боли. – Вы тот джентльмен, который считает, что пожар на Тули-стрит устроили еврейские царисты!» Еще парочка подобных отрывков памяти, и он уже готов превозносить ее до небес.

Жаль, по правде сказать, что мозг Конфетки достался не мужчине, но вынужден стыдливо ежиться, будучи затиснутым и умятым в изящную девичью головку. Какую пользу могла бы она принести Британской империи!

– Прошу прощения, леди!

Каролина с Конфеткой разворачиваются на каблуках и видят мужчину с треногой и фотографической камерой, практикующегося неподалеку от них в своем хобби. Выглядит он устрашающе: темные брови, совсем такая же, как у Троллопа, борода, тартановое пальто, – женщины отступают, решив, что он просит их очистить поле зрения его людоедского глаза на трех ногах.

– О нет, нет, леди, не-е-ет! – протестующе восклицает мужчина, когда они отходят в сторонку. – Почту за честь! Почту за честь запечатлеть ваш образ на веки вечные!

Женщины обмениваются взглядами и улыбками: это еще один фотограф-любитель, несколько не отличающийся от прочих – истовый, точно спирт, и шальной, как мартовский кот. Перед ними человек, наделенный шармом, достаточным для того, чтобы приманить голубей в картинку, которую нарисовало его воображение, – а если нет, так достаточно тороватый, чтобы купить удачливому прохожему на полпенни птичьего корма. А у этих женщин уже и собственный корм имеется – чего же лучше!

– Премного обязан вам, леди! Если бы вы могли еще встать чуть подальше одна от другой!..

Они хихикают, поеживаются, и к ним отовсюду начинают слетаться голуби, опускаясь на их шляпки, поклевывая протянутые ладони, садясь на плечи – и повсюду, где рассыпано семя. Несмотря на вихрь движения, происходящего в такой близости от их глаз, они изо всех сил стараются не моргать, надеясь, что решающий миг застанет их в должном виде.

Голова фотографа ходит под большим платком взад-вперед, все тело его напрягается, а затем облегченно вздрагивает. В утробе камеры рождается химический образ Конфетки и Каролины.

– Тысяча благодарностей, леди, – произносит он, и женщины понимают, что это прощание: не до новой встречи, но навсегда. Он получил от них то, что хотел.

– Ты слышала, как он сказал? – спрашивает Каролина, пока они смотрят вслед фотографу, уносящему свою добычу к Чаринг-Кросс. – На веки вечные. Навсегда. Но ведь этого быть не может, правда?

– Не знаю, – задумчиво отвечает Конфетка. – Я побывала однажды в студии фотографа и стояла с ним рядом в темной комнате, пока он проявлял пластинки.

На самом деле она помнит, что затаила под красным светом дыхание, наблюдая, как в неглубокой, заполненной химикатами купели проступают изображения – подобно стигматам, подобно призракам. Она бы и рассказала об этом Каролине, но понимает, что ей придется объяснять каждое слово.

– Они рождаются в ванночке, – говорит Конфетка, – и знаешь что: они ужасно воняют. Я уверена: то, что так сильно воняет, навек сохраниться не может.

Однако лоб ее идет под челкой морщинами, свидетельствуя: ни в чем она не уверена.

Она загадывает – сохранятся ли ее сделанные в том салоне снимки на веки вечные – и говорит себе: лучше бы не сохранились. В то время Конфетка, пока шла работа, никаких опасений не питала – позировала голышом перед растениями в кадках; в одних чулках перед задернутым пологом кровати; сидя по пояс в бадье с теплой водой. Ей даже притрагиваться ни к чему не пришлось! Однако после стала жалеть о случившемся – с тех пор, как один из ее гостей достал из кармана захватанную фотографию голой нескладной девицы и потребовал, чтобы Конфетка приняла такую же, как у той, позу и с точно такой же щеткой для ногтей, предусмотрительно принесенной им с собой. Тогда-то она и поняла, сколь неизменна Конфетка, или Лотти, или Люси – да кто угодно, – запертая в квадратике картона, который разглядывают люди ей совершенно чужие. Какому бы насилию день за днем ни подвергалась Конфетка в уединенности своей спальни, оно заканчивалось и не оставляло следа, и ко времени, когда на коже ее подсыхала испарина, Конфетка уже наполовину забывала о нем. А вот оказаться запечатленной химическим способом во времени и вечно переходить из рук в руки – такой наготы не прикроешь уже никогда.

Если бы я показала вам фотографии Конфетки (да-да, некоторые из них сохранились), вы, верно, подумали бы, что тревожиться ей было не о чем. О, но они же очаровательны, сказали бы вы, – безобидные, своеобразные и даже полные странного благородства! Всего столетие с небольшим – или, скажем, одиннадцать дюжин лет, – и они оказались пригодными для воспроизведения где бы то ни было, и никто не сочтет их способными развратить или прогневать впечатлительного созерцателя. Великий уравнитель безобразий прошлого – большого формата альбом – мог бы даже наделить их художественным ореолом. «Неизвестная проститутка, год 1875» – значилось бы в этом альбоме; куда уж анонимнее? Однако вы не уловили бы самую суть стыда, который гложет Конфетку.

– Только представь, – говорит Каролина. – Ты помрешь, а твоя картинка лет еще сто протянет. И если бы я скорчила рожу, то и рожа протянула бы... Просто дрожь пробирает, правда.

Конфетка отсутствующе поглаживает свой сверток, размышляя, как бы ей направить разговор в русло не столь нечистое. Она смотрит через площадь на здание Национальной галереи, и мучительные воспоминания о мужчине со щеткой для ногтей понемногу выветриваются.

– А как же живописные портреты? – спрашивает она, вспомнив о преувеличенном обожании, с которым Каролина относится к студенту-живописцу, однажды расплатившемуся с ней рисунком, изображавшим долины Йоркшира, – так, во всяком случае, уверял студент. – От них тебя дрожь не пробирает?

– Это совсем другое, – отвечает Каролина. – Там же... ну ты понимаешь... короли и всякие такие люди.

Конфетка издает смешок – репертуар их у нее энциклопедический, этот проказливо язвителен:

– А портрет Китти Белл – помнишь, его написал втюрившийся в нее старый козел из Королевской академии? Портрет даже на выставке висел, мы с Китти ходили смотреть. «Цветочница» – так он назывался.

– О да, ты права – эта шлюшка.

Конфетка напучивает губы:

– Завидуешь. Ты вот вообрази, Каролина: художник умоляет позволить ему запечатлеть тебя на холсте. Ты смирно сидишь, он трудится, а под конец дарит тебе портрет, написанный маслом, похожий... похожий на твое отражение, которое ты видела в зеркале в ту пору жизни, когда была еще прехорошенькой.

Каролина вылизывает изнутри картонный стаканчик, она наполовину соблазнена картиной, которую развернула перед ее умственным взором Конфетка, наполовину подозревает, что та над нею посмеивается. Однако шутки в сторону, Конфетка искренне верит, что с Каролины можно написать прекрасный портрет: маленькое, хорошенькое личико и ладное тело старшей подруги куда более живописно – в классическом понимании, – чем собственное ее костлявое туловище. Она представляет себе выпирающие из ночной сорочки плечи Каролины – гладкие, безупречные, персиковые – и сопоставляет это розовое видение со своим бледным торсом, ключицы которого торчат над веснушчатой грудью подобно ручкам рашпера. Конечно, моды семидесятых клонятся к большему сильфидоподобию, однако мода и укоренившееся в женской душе представление о женственности – это ведь не всегда одно и то же. Да любой магазин гравюр забит разного рода «Каролинами» до самых стропил, а лицо ее красуется повсюду, начиная с оберток мыла и кончая каменными изваяниями на общественных зданиях, – это ли не доказательство близости Каролины к идеалу? Конфетка именно так и считает. О да, она читала о прерафаэлитках, но и не более того; Конфетка не отличила бы Берн-Джонса от Россетти, даже лежа под ними. (Впрочем, такая встреча статистически маловероятна – все-таки два живописца на двести тысяч проституток.)

Когда Каролина отнимает от лица картонный стаканчик, на подбородке ее остается пятнышко крема. Посмаковав фантазии о себе, как о музе художника, и о том, как она с презрением откажется от денег ради вящей славы своего живописного образа, Каролина решает все же, что ее на это не купишь.

– Нет уж, спасибо, – говорит она тоном женщины, которую не так-то просто обвести вокруг пальца, – я накрепко заучила одно: не лезь в игры, которых не понимаешь, иначе ахнуть не успеешь, а тебя уже обдерут как липку.

Конфетка бросает на землю смятую картонку, стряхивает с юбки крошки и птичий корм. «Ну что, пойдём?» – говорит она и, протянув руку к лицу Каролины, ласково снимает с ее подбородка капельку крема. Каролина, напуганная этой неожиданной интимностью – да еще и в нерабочее время, – слегка отстраняется от Конфетки.

Уже половина девятого. Бал гробовщиков завершился, уличная толпа вновь поредела. Сначала рабыни мелких мастерских, безработные, фабричные мастеровые, затем клерки: город глотает армии тружеников и все-то ему мало. Целый день в него со всех концов Англии да и со всего белого света прибывают новые и новые люди. А ночью Темза поглощает тех, кто никому не пригодился.

Каролина зевает, показывая среди белых зубов один почерневший, и Конфетка зевает тоже, скромно прикрыв рот ладонью в перчатке.

– Господи, завалиться бы сейчас в постель да подряхнуться всласть, – произносит женщина постарше.

– Я бы тоже не отказалась, – соглашается Конфетка.

– А то вскочила нынче ни свет ни заря. На Черч-лейн кеб разбился, так от него до моего окна было как... – (она указывает на короля Георга), – как до той статуи.

– Кто-нибудь пострадал?

– Да, вроде женщина погибла. Полицейские унесли тело, в юбках.

Конфетка задумывается, не повеселить ли Каролину картиной, рожденной ее корявой грамматикой: шествием серьезных усатых полисменов в шинелях, из-под которых с шуршанием спадают на землю красивые юбки. Но вместо этого спрашивает:

– Кто-нибудь из знакомых?

Каролина глупо помаргивает. Такая мысль ей в голову не приходила.

– Господи, я и не знаю! А вдруг это... – Лицо ее морщится, она прикидывает, не могла ли в столь ранний час оказаться на улице одна из ее подруг-проституток. – Пойду-ка я лучше домой.

– И я, – говорит Конфетка. – Иначе дом миссис Кастауэй может лишиться своей репутации.

И она улыбается – улыбкой, которая выше понимания таких, как Каролина.

Женщины наскоро, как они делают при всяком расставании, обнимаются, и Каролина в который раз дивится тому, насколько Конфетка неловка и нескладна; каким неуклюжим и жестким выглядит в объятиях подруги ее тело, столь прославленное гибкостью, которую обретает оно в руках мужчины. Тяжелый бумажный сверток, который Конфетка держит за шпагат, ударяет Каролину по бедру – так крепко, точно в нем скрыто полено.

– Заходи как-нибудь повидаться со мной, – говорит, разомкнув объятия, Каролина.

– Зайду, – обещает Конфетка, и на лице ее наконец-то проступает румянец.

За кем вам идти? Не за Каролиной; она нужна была лишь для того, чтобы привести вас сюда, да и что вы будете делать в ее убогой норе? Оставайтесь с Конфеткой. Не пожалееете.

Она не тратит времени на то, чтобы проводить Каролину взглядом, но спешит покинуть площадь. И торопливо – так, точно по пятам за ней следует банда душителers, – направляется к Хэймаркет.

– Эй, мисси, со мной побыстрее будет! – окликает ее с одной из гостиничных стоянок кебмен, и резкость его голоса ясно дает понять, что он видит Конфетку вместе с изысканным ее нарядом насквозь.

– Можете и на жеребце моем прокатиться! – вопит он вслед не обратившей на него внимания женщине. Прочие скучающие на стоянке извозчики раздражаются радостным гоголом, и даже лошади их всхрапывают.

Конфетка быстро идет по тротуару, лицо ее бесстрастно, спина пряма. Попадающиеся ей на улице люди для нее словно и не существуют. Мужчины, бьющие баклуши на ступенях дешевой кофейни, отступают при ее приближении, чтобы не получить по коленям свисающим из ее кулака свертком. Расклейщик афиш придвигает свое ведро поближе к тумбе, на которую он лепит плакат, дабы Конфетка ударом ноги не расплескала клей по камням мостовой. Недальновидный господин – только-только, если судить по его брюкам и шляпе, прибывший сюда из Америки – окидывает ее оценивающим взглядом с головы до спешащих ног; простодушие его не переживет нынешнего вечера, когда на Хэймаркет слетятся стаями шлюхи, которые станут окликать его через каждые десять шагов.

– Прошу прощения, мэм, – бурчит он проходящей мимо Конфетке.

Она поднимается по Грейт-Виндмилл-стрит, минует Святого Петра, на ступени которого в час более поздний сойдутся самые лучшие из маленьких проституток города, минует «Аргайлл-Румз», где в этот час пьяно похрапывают, сплетаясь с облитыми шампанским, задремавшими девками, сливки мужской аристократии. Конфетка безошибочно сворачивает на нужных углах, прорезает проулки, пересекает оживленные улицы, почти не глядя по сторонам, точно кошка, в чьем невеликом мозгу созревает некая мысль.

Она не останавливается, пока не достигает Голден-Сквер, с которой уже различаются и дымящие на крыше дома миссис Кастауэй каминные трубы, и сонное движение по Силвер-стрит. И теперь, когда ей остается пройти лишь несколько ярдов, она обнаруживает, что не в силах заставить себя сделать последние шаги и постучаться в дверь своего дома. Она обливается потом под своими зелеными шелками – не от одной только спешки, но и от вновь обуявшего ее страдания. И, прижав сверток к груди, разворачивается на каблуках и бредет к Риджент-стрит, на которой нет у нее никакого дела.

На каменных ступенях церкви Успения Богородицы, что на Уорик-стрит, лежит, свернувшись клубочком под светло-желтым, поблескивающим от талого инея одеялом, дитя невнятного пола. В бледном свете солнца сопли на детских губах светятся, точно сырой желток, и Конфетка, передернувшись, отводит взгляд в сторону. Живое или мертвое, дитя

это обречено: никого в нашем мире спасти невозможно, только себя самого; Бог забавляется, скупко наделяя пищей, теплом и любовью несколько сот человеческих существ, окруженных со всех сторон теснящимися, спотыкающимися миллионами. Один хлеб и одна рыба на пять тысяч сырых и убогих – такова Его самая потешная шуточка.

Конфетка уже переходит улицу, когда ее останавливает голос – слабое, задышливое мычание, звуки, которые могут быть бессловесной бессмыслицей, могут означать «монетка», а могут и «мамочка». Она оборачивается и видит ребенка, живого, проснувшегося, машущего ей ручонкой из своих грязных шерстяных свивальников. Мрачный фасад церкви, ее красного кирпича стены без окон внизу и глазки темной запертой двери гордятся своей неприступностью для враждебных по отношению к католикам смутьянов и детей-побирушек.

Конфетка в нерешительности останавливается, покачивается на каблуках, чувствуя, как пот, скопившийся в ее башмачках, покалывает, едва ли не закипая, кожу между пальцами ног. Решив идти вперед, она уже не может повернуть назад, она перешла улицу и пересекать ее снова, чтобы вернуться, не станет. Да к тому же это и безнадежно: она может каждый день ложиться под сотню мужчин и отдавать все заработанное нищим детям и ничего этим всерьез не изменит.

И наконец, когда сердце Конфетки уже начинает тяжело бухать в груди, она достает из ридикюля монетку и бросает ее через улицу. Прицел Конфетки точен – шиллинг падает на светло-желтое одеяло. Она отворачивается, так и не разобравшись в поле ребенка; да пол его и не важен, через день, неделю, месяц это дитя все равно уволочут отсюда и навсегда забудут – точно помои, выплеснутые в сточную канаву. Да проклянет Господь и Господа, и все немисливо грязное творение Его.

Конфетка шагает дальше, не отрывая взгляда от пышной Риджент-стрит, мерцающей в ее уже мучимых резью глазах. Ей нужно поспать. И – да, сказать по правде, если вам действительно хочется знать, Конфетка страдает, страдает так сильно, что с радостью умерла бы – или убила кого-нибудь. Сгодится и то и другое. Лишь бы разрешающий все удар избавил ее от муки.

Муку ее породила вовсе не встреча с Каролиной. Каролина, как вы уже знаете, женщина, не стоящая внимания, она никаких вопросов не задает.

Нет, Конфетку непереносимо терзает другое: весь вчерашний день и всю ночь ей пришлось подделывать терпеливость и доброту, сидя в зловонных трущобах Семи Углов у постели умиравшей подруги по имени Элизабет. И как же долго она умирала, цепляясь все это время за руку Конфетки! Сколько часов продержала Конфетка в своей ладони ее – липкую, холодную, похожую на клешню! Сейчас, при одной лишь мысли об этом, ладони Конфетки обливаются едким потом, так что их начинает язвить даже припудренная подкладка перчаток.

Впрочем, у падших женщин имеются свои преимущества, и одним из них Конфетка решает воспользоваться сию же минуту. Правила, соответственно коим вы одеваетесь, перед тем как выйти на люди, недвусмысленны – для тех, разумеется, кому они известны, – мужчины могут носить перчатки, а могут и не носить, это уж как им заблагорассудится; женщинам нуждающимся, одетым в отрепье, носить перчатки не следует (даже и мысль об этом смешна!), иначе первый же встречный полисмен наверняка поинтересуется происхождением оных; порядочным женщинам низших сословий, особенно если у них на руках младенец, отсутствие перчаток простительно; а вот леди обязаны носить их непрерывно, снимая, лишь когда они, леди, укрываются в четырех стенах. Конфетка одета как леди, а значит, ей ни при каких обстоятельствах не дозволено демонстрировать окружающим свои нагие конечности.

И тем не менее Конфетка, не сбавляя шага, палец за пальцем стягивает с рук мягкую зеленую кожу. Потные белые ладони ее поблескивают под солнцем. С глубоким вздохом облегчения, неотличимым от того, какой она испускает, когда мужчина заканчивает делать с ней все то, на что он способен, Конфетка сгибает и разгибает овеваемые холодным воздухом, покрытые паутиной трещинок, шелушащиеся пальцы.

Теперь ступайте за ней в распахнутое пространство, в грандиозную пустоту Риджент-стрит – полюбуйтесь высокими сотами роскошных, уходящих в архитектурную беспредельность зданий, тысячами одинаковых окон, возносящихся ярус за ярусом вверх; лоснистым простором улицы, с которой сметен снег; все это – декларация о намерениях: торжественное извещение о том, что в наступающем светлом будущем места наподобие Сент-Джайлса и Сохо с их тесными лабиринтами, покосившимися развалюхами, с отсырелыми, ветшающими закоулками, загаженными человеческими отбросами, будут снесены, и на смену им придет новый Лондон, совершенно такой же, как Риджент-стрит, – полный воздуха, красивый и чистый.

В этот утренний час Променад уже деловито бурлит – здесь нет пока безумной толчеи летнего Сезона, но и того, что есть, достаточно, чтобы произвести на вас впечатление. Кебы снуют взад и вперед; увертываясь от них, перебегают улицу густобородые, одетые в черное джентльмены; люди, с которых свисают сзади и спереди рекламные щиты, патрулируют сточные желоба; трое уличных метельщиков, стоя над решеткой канализации, ударами метел вбивают в нее кашку из мокрого снега, грязи и конского навоза. И пока они занимаются этим, мимо них со звоном промахивает большой, ошетилившийся провинциальными предпринимателями экипаж, оставляя за собой окутанную парком вереницу свежего конского навоза.

Возница натягивает вожжи, омнибус останавливается, из него выгружается дюжина пассажиров. Один из них, благопристойно одетый мужчина, в неподобающей спешке едва не вступает в свежий навоз, в самый последний миг отпрыгивая назад, точно уличный клоун, потешающий на Семи Углах ржущих зевак. Обуздав свою торопливость, он сдерживает шляпу и дальше следует брезгливо-опасливой поступью. Явленная ныне окружающим шевелюра этого джентльмена замечательна своим устройством, а вернее сказать, неустройством. Ежели вы пройдетесь взглядом от чела его вниз, то увидите человека серьезного, несколько даже озабоченного, словно он опаздывает на службу и страшится реприманда, а вот пройдясь тем же взглядом вверх, вы получите картину на редкость комичную: попрыгивающий шлем витых золотистых локонов – как будто некий пушистый зверек пал ему на голову с небес и решил любой ценой на ней удержаться.

Конфетка улыбается, довольная тем, что наконец-то на глаза ей попалось нечто забавное, потом снова прижимает сверток к груди и неторопливо идет по Променаду. Еще несколько минут – здесь, на мощеном берегу лондонского завтра, – и она готова будет возвратиться домой.

Теперь оставьте ее, пусть погуляет одна, никому в этих местах не известная. Она уже забыла о джентльмене со смешной прической, да ведь и вы приняли его всего лишь за очередного прохожего, за цветное пятно местного колорита, отвлекшее вас от поиска тех, ради кого вы сюда явились. Ну так вот, довольно мечтать, перейдите, уклоняясь от экипажей и обходя навозные кучи, поблескивающий Рубикон Риджент-стрит и отыщите этого смахивающего на клоуна мужчину.

И ни в коем случае не позволяйте ему раствориться в толпе, ибо он – человек для вас очень важный, именно он заведет вас так далеко, что вы себе этого и представить не можете.

Глава третья

Уильям Рэкхэм, обреченный на то, чтобы возглавить в будущем «Парфюмерное дело Рэкхэма», но в настоящее время надежды, на него возлагаемые, оправдывающий не вполне, уверен в том, что ему позарез нужна новая шляпа. Потому-то он так и спешит.

Потому-то и вам лучше перестать глазеть на легко покачивающийся турнюр уходящей Конфетки, на ее острые лопатки, осиную талию и пряди чуть колыхнувшихся под шляпкой оранжевых волос и поспешить нагнать Уильяма Рэкхэма.

Вы колеблетесь. Конфетка идет домой, в притон разврата, носящий странноватое имя «Дом миссис Кастауэй». А вы не прочь заглянуть в подобное место, ведь так? Зачем упускать ради преследования этого незнакомца... этого мужчины то, что там того и гляди произойдет? Оно конечно, копна его золотистых волос выглядит комично, однако в прочем он нисколько не привлекателен – особенно в сравнении с женщиной, которую вы только что узнали.

Да, но Уильям Рэкхэм обречен на то, чтобы возглавить в будущем «Парфюмерное дело Рэкхэма». «Парфюмерное дело Рэкхэма»! Если вы хотите чего-то добиться в жизни, вам не следует мешкать в обществе шлюх. Вам должно сыскать в себе силы, потребные для того, чтобы проникнуться жгучим желанием выяснить, отчего это Уильям Рэкхэм уверен в том, что ему позарез нужна новая шляпа. И вот тут я вам помогу, чем только смогу.

Старую шляпу он держит, шагая по тротуару, в руке, ибо Уильям Рэкхэм скорее выйдет простоволосым в мир украшенных шляпами мужчин, чем еще раз наденет ее хоть на минуту, – столь стыдится он немодной ее высоковатости и потертых полей. Разумеется, водружает он эту шляпу на голову или не водружает, люди посматривают на него с жалостью, как посматривали в омнибусе... неужели они мнят, будто он не замечает их самодовольных ухмылок? О боже! Возможно ли, что он пал так низко? Жизнь вступила в заговор с... но нет, он не вправе предъявлять обвинения столь всеохватные... Довольно сказать, что недоброжелательные элементы Жизни стакнулись против него, а он покамест не усматривает отчетливого пути к победе над ними.

Впрочем, в конечном счете он восторжествует; должен восторжествовать, поскольку его благополучие, верит Уильям, существенно для порядка вещей в целом. Не то чтобы он так уж заслужил благополучия большего, нежели у иных людей, нет. Правильнее сказать, что его участь есть своего рода... своего рода стержень, на коем держится очень многое, и если ему суждено пасть под ударами невзгод, вместе с ним падет нечто гораздо большее, а Жизнь на подобный риск, разумеется, не пойдет.

Уильям Рэкхэм приехал...

(Вы меня еще слушаете?)

Уильям Рэкхэм приехал в город потому, что знает – Риджент-стрит поможет ему положить, посредством приобретения новой шляпы, конец унижениям. Отсюда не следует, будто он не мог бы купить шляпу нисколько не худшую в магазине «Уайтлиз», что в Бейсуотере, и сэкономить тем самым на поездке, однако у него имеется и потаенная причина для того, чтобы приехать сюда, или даже две. Во-первых, для него нежелательно показываться в «Уайтлиз», о котором во время изысканных званных обедов, на кои он неизменно получает приглашения, многие с пренебрежением отзываются как о заведении безнадёжно вульгарном. (Тот магазин, в который направляется Рэкхэм, тоже, конечно, вульгарен, но, по крайности, там он не встретит никого из знакомых.) А во-вторых, он хочет проследить за Кларой, личной горничной его супруги.

Почему? О, все это весьма неприятно и сложно. Совсем недавно, заставив себя подсчитать, сколько денег уходит у него на домашние расходы, Уильям Рэкхэм пришел к выводу, что слуги его обкрадывают, – и дело идет не просто о какой-нибудь старой свече или лом-

тике бекона, нет, крадут они с размахом попросту возмутительным. Не приходится сомневаться – слуги пользуются болезнью жены и его нерасположением вникать в свои финансовые затруднения, однако они дьявольски ошибаются, полагая, будто он ничего не замечает. Дьявольски!

И потому, вчера под вечер, едва жена закончила растолковывать Кларе, что ей следует купить завтрашним утром в Лондоне, Уильям (который подслушивал под дверью) словно бы учуял запах корыстолюбия. Он следил за спускавшейся по лестнице Кларой, всматривался в нее сверху, с темной площадки, и думал, что почти видит, как в коренастом теле ее бурлят помыслы о присвоении хозяйских денег, бурлят, едва ли не перекипая.

– Я готова доверить Кларе жизнь, – запротестовала, впадая в характерное для нее преувеличение, Агнес, когда он с глазу на глаз поведал ей о своих подозрениях.

– Быть может, и так, – ответил он. – Однако деньги мои я доверять ей не стану.

Последовало неловкое мгновение; Агнес почти неприметно покривилась, искушаемая желанием сказать мужу, что деньги эти принадлежат не ему, а отцу его и что, если бы он исполнял пожелания отца, денег у них было бы много больше. Впрочем, приличия она все-таки соблюла, и тронутый этим Уильям вознаградил ее компромиссом. Пусть Клара и вправду займется покупками, а он, Уильям, по чистой «случайности» отправится в город вместе с ней.

Вот так и получилось, что хозяин дома и горничная его супруги вместе выехали из Ноттинг-Хилла омнибусом: о кебе «не могло идти и речи» – не потому (Рэкхэм надеялся, что слуги его поймут), что он уже не мог позволить себе кеба, но во избежание сплетен.

Пустая надежда. Слуги, натурально, уверовали и в то, что Клара встречается с хозяином, и уж тем паче в то, что он утрачивает положение в обществе. (Клара заметила также, до чего изношена и немодна его шляпа – собственно, только она и заметила, ибо всех светских знакомых своих Рэкхэм стыдливо сторонился.) Каждая перемена заведенного в доме порядка, даже самая пустячная, каждое требование касательно бережливости, сколь бы разумным оно ни было, Кларой истолковывались как новое доказательство того, что отец Уильяма Рэкхэма того и гляди раздавит его, точно слизняка, сапогом.

Она упивалась его унижением, и ей даже в голову не приходило, что если хозяин не выкрутится из затруднительного положения, то в конце концов вынужден будет отказаться и от ее услуг: проницательность Клары была направлена на иное. Она отметила, к примеру, трусливое прекращение разговоров о собственном выезде, шедших годами, но так ни во что и не вылившихся. В последнее время хозяева, видимо, пришли к безмолвному соглашению, в силу которого больше об этом баснословном явлении не упоминали. Но Клара-то помнила все! А Тилли, прибиравшаяся на нижнем этаже? Ее, уволенную, когда она забеременела, так никем и не заменили, и в результате Джейни приходится делать намного больше того, что обычно ожидается от судомойки. Рэкхэм твердит, будто это лишь временно, однако проходят месяцы и ничто не меняется. Конечно, найти для леди хорошую личную горничную вроде Клары дело нелегкое, но уж уборщиц-то на свете что твоих крыс. Рэкхэм, пожелай он раскошелиться, и часа на поиски ее не потратил бы.

В общем и целом положение сложилось попросту позорное, и Клара пользовалась им, как только могла, а именно: выражала недовольство всеми, какие ей удавалось придумать, способами, граничившими с отъявленной дерзостью.

Именно поэтому в омнибусе, на всем пути в Лондон, она хранила на лице страдальческое выражение, коего ничтожный Рэкхэм даже и не замечал, пока экипаж их не проехал под Мраморной Аркой. А заметив, решил, что служанку донимает некая боль, и подумал: быть может, *все* представительницы слабого пола чем-нибудь да больны.

«Быть может, – попытался он утешить себя, – моя бедная, недужная Агнес не такое уж и исключение из общего правила».

Уильям намеренно выехал в город пораньше, дабы оставить побольше времени на изучение – когда он вернется домой – давно отложенных в долгий ящик документов, трактующих об успехах «Парфюмерного дела Рэкхэма», и своих счетов. (Или, по крайности, на извлечение таковых из конвертов, в которых они присылались отцом.) И тогда завтра (возможно) он посетит лавандовую ферму – хотя бы ради того, чтобы его там увидели и чтобы известие об этом событии дошло до ушей старика. Вероятно, ему стоило бы также задать работникам фермы несколько толковых вопросов, – если, конечно, он сумеет таковые измыслить. Чтение документов в этом, несомненно, поможет – при условии, что оно не сведет его раньше с ума.

Желтый дом или дом призрения: и это весь выбор, какой у него остался? Неужели нет для него иного пути, как только... притворствоваться перед собственным отцом, изображать горячечную увлеченность тем, что он ненавидит? И как, во имя всего... Впрочем, не следует мысленно останавливаться на последствиях еще более сложных, не следует вдаваться в крайности, в это проклятие высокого ума. Нужды дня надлежит разрешать по одной. Купить новую шляпу. Приглядеть за Кларой. Вернуться домой и приступить к изучению деловых бумаг.

Уильям Рэкхэм вовсе не думает, что сможет освоить семейное дело всего за один день, нет, – да у него и цели куда более скромные. Если он проявит к делу хоть малый, но интерес, отец, глядишь, и увеличит немного его содержание. Да и сколько времени может отнять чтение нескольких документов? Уж наверное, половины дня для этого хватит. Хотя, конечно, как указал он когда-то в статье, напечатанной студенческим журналом Кембриджа, «и один только день, потраченный на дела, неспособные напитать душу, есть день украденный, изувеченный и брошенный в сточную канаву судьбы». Впрочем, кембриджская жизнь вечно длиться не может, о чем свидетельствует и нынешняя стрижка Уильяма Рэкхэма. Даром, что ему удалось продлить эту жизнь на несколько добавочных лет.

Вот так, легкомысленный, помаргивающий от яркого солнца, поспешает Уильям по Променаду на еще онемелых после долгой поездки ногах. Пообок от него покачивается стиснутая гангированными пальцами ненавистная шляпа; в нескольких ярдах впереди вышагивает ненавидимая служанка; а сразу за ним следует его тень. Не обвиняйтесь теперь и тоже последуйте за ним на расстоянии этой тени, ибо он одержим решимостью никогда не оглядываться назад.

Там, впереди, возвышается озаренное изнутри тысячами ламп здание, в котором Уильям положит конец всем своим горестям. Приобретение новой шляпы займет не более часа с лишком, Кларе же, если она желает себе добра, лучше потратить на исполнение данных ей поручений и того меньше времени. Войти, получить потребное и выйти, так это будет выглядеть. А в полдень – домой.

Огромный застекленный фронтон универсального магазина «Биллингтон-энд-Джой», не заслоненный толпой, сквозь которую Уильям Рэкхэм проталкивался с Агнес при последнем своем появлении здесь, открывается его взгляду во всей своей панорамической красе. Десятки зеркальных окон, огромных в сравнении со скромными витринами большинства магазинов, знаменуют его размах и современность. В каждом устроена своя, особая витрина, предлагающая публике полюбоваться (не призывая купить что-либо) обилием товаров. Товары эти искусно размещены на фоне *trompe-l'oeils*⁶, изображающих обстановку комнат тех фешенебельных домов, для коих они предназначены. Как раз в эту минуту Клара проходит мимо выставленной напоказ столовой – толстое листовое стекло отделяет ее от пышного убранства стола с его серебряными приборами, фарфором и наполненными вином бокалами. За столом, на живописном заднике убедительно рдеет почти натуральным пламенем камин,

⁶ Оптические иллюзии (фр.).

а пообок торчат из прорези в настоящей портъере две фарфоровые руки в белых манжетах поверх намека на черные рукава, удерживающие высоко в воздухе блюдо с изготовленным из папье-маше жарким.

Витрины эти столь импозантны и притягательны, что спешащий Уильям едва не валится головой вперед. Из стены выступают на уровне щиколоток крюки для привязывания собак, и Уильям цепляется за один из них ногой – как раз в тот миг, когда Клара уже входит в огромные белые двери «Биллингтон-энд-Джой», держась, согласно указаниям Уильяма, несколько впереди него. Как бы она обрадовалась, увидев падение хозяина!

Оказавшись внутри магазина, Уильям пытается отыскать ее глазами, однако Клара уже затерялась в яркой стране зеркальных чудес. Здесь, куда ни глянь, – стекло, и хрусталь, и развешанные через равные промежутки зеркала, которые размножают галактику пылающих газовым светом канделябров и люстр. Да и то, что ни стеклом, ни хрусталем никак уж не назовешь, отполировано до присущего им блеска; сверкают полы, мерцают лакированные прилавки, и даже волосы служителей светятся от макаassarского масла – ну и расточительное обилие продаваемого товара тоже отчасти ослепляет.

И заметьте, помимо множества вещей изысканных и таких, без которых обойтись невозможно, «Биллингтон-энд-Джой» торгует также магнитными щетками для волос, способными в пять минут избавить вас от нервической мигрени, гальваническими цепочками-браслетами для передачи живительных импульсов и глазурованными кружками, с коих на вас сердито взирает рельефное лицо Королевы, – однако и эти вещицы кажутся уже обретшими статус эксцентричных музейных экспонатов, выставленных здесь лишь для того, чтобы на них дивиться. И действительно, все вокруг настолько походит на выставку в Хрустальном дворце, подражанием коему и является этот магазин, что некоторых из заглянувших сюда людей пронимает благоговение, уничтожающее желание что-либо приобрести, – они попросту страшатся подпортить своей покупкой благолепный порядок товаров в витринах. А отсутствие бирок с ценами лишь усугубляет их робость, ибо вопросов эти несчастные задавать не решаются: а ну как выяснится, что все здесь им не по карману.

Поэтому продается здесь меньше того, что могло бы продаваться, но, однако ж, и развивается тоже меньше. Мелкой шпане и вору Черч-лейн «Биллингтон-энд-Джой» представляется раем – то есть местом, предназначенным не для них и им подобных. Надежды пролезть в его огромные белые двери у них не больше, чем надежды пройти сквозь игольное ушко.

Что же до боя хрусталя и стекла, то и самым хрупким витринкам удастся простаивать в целости и сохранности месяцы кряду, поскольку детей – даже из семейств с достатком – увидеть здесь случается редко, а если их сюда и приводят, то в крепкой узде. Кроме того – и это еще существеннее, – эволюция дамской моды привела к тому, что элегантные покупательницы могут теперь проходить через весь магазин, ничего по пути не порушив. И действительно, можно по чести сказать, что «Биллингтон-энд-Джой» да и иные заведения его пошиба расширились, торжествуя кончину кринолинов. Современная женщина приобрела очертания, позволяющие ей тратиться без оглядки.

Прежде чем подняться по лестнице в шляпный отдел, Уильям еще раз оглядывает магазин в поисках Клары. Однако она, и опережавшая-то его от силы на десяток шагов, исчезла, точно нырнувшая в норку мышь. Единственное из увиденного им, что обладает с ней отдаленным сходством, это чучело служанки за витринной шторой, да и от того уцелели лишь две отделенные от тела, закрепленные на металлических стойках алебастровые руки, резко обрывающиеся у локтей.

Кларе поручено (и исполнить порученное она собирается, оставаясь, пока Уильям Рэкхэм выбирает себе новую шляпу, совершенной невидимкой) приобрести для хозяйки восемнадцать ярдов охряного шелка плюс необходимую отделку – все это будет преобразо-

вано в платье, когда миссис Рэкхэм почувствует себя достаточно окрепшей, чтобы заняться выкройкой и шитьем на машинке. Задание это Кларе весьма и весьма по душе. Исполняя его, она не только испытывает трепетное предвкушение произносимого ею: «Ну-с, голубчик, мне нужно восемнадцать ярдов вот этого» – и уплаты очень немалых денег, но и не без изящества надувает хозяев, покупая вдобавок кое-что еще – предположительно, для своей госпожи. Вот в чем вся прелесть работы у Рэкхэмов: он платит, а желанья узнать, за что, не испытывает; она удовлетворяет свои нужды, но никакого понятия о том, во что это обходится, не имеет, и все их счета проваливаются в бездну, разделяющую двух супругов. А экономки-то у них и нет! И это главное удобство! Когда-то, давным-давно, экономка имелась – пузатая шотландка, к которой душа миссис Рэкхэм прилепилась на манер банного листа, – однако закончилось все слезами, а там и запретом, наложенным на любые разговоры об экономках.

«Ведь мы же способны прекрасно вести хозяйство и вдвоем с вами, не правда ли, Клара?» О да, мадам, еще как способны!

Клара уже решила вчера, обсуждая с миссис Рэкхэм покупку материала на платье («Цены в последнее время, мэм, – вы не поверите!»), прикупить кое-что и для себя. Фигуру, если уж вам так хочется знать.

Безвкусную служаночью униформу свою она ненавидит всей душой и слишком хорошо знает, что получит в ближайшее Рождество в точности тот же подарок, какой получала и во все прошлые. Каждый год все то же унижение! – семь ярдов черной, двойной ширины шерстяной ткани, два ярда льняного полотна и полосатая юбка. Именно то, что требуется для пошива новой униформы, – нет, вы только представьте. Чертов Уильям Рэкхэм с его прижимистостью – вот уж кто заслужил все, что с ним приключилось!

Весь год она надрыгается, обращая свою госпожу в красавицу, ломая ногти о застёжки ее корсетов, глупо ухмыляясь в поддельном любовании, и вот, прошло пять лет, а чего она этим достигла, чем может порадовать глаз? Тело ее раздалось в объёме, обиды исчертили лицо морщинами. В ней нет ничего, способного заставить мужчину хоть раз, не говоря уже два, взглянуть на нее. Вернее, не было до нынешнего дня. Клара с трусливо бьющимся сердцем спешит возвратиться в корсетный отдел и там, укрывшись за занавеской, запихивает, не снимая обертки, незаконную покупку в свои просторные рейтузы.

Уильям, который отчасти из боязни подобного злодеяния и настоял на том, чтобы сопровождать нынче Клару, ничем, в сущности, предотвратить его не может. Он может лишь, не марая душу разговорами о деньгах, удостовериться в том, что Клара, как с нею и было условлено, выходит из магазина с одним большим свертком в руках. Совершенная ею покража, которую с легкостью обнаружили бы и безжалостно покарали в доме, устроенном на более строгих, чем у Рэкхэмов, началах, останется незамеченной.

Сколько ни докучает ему слабое здоровье жены, Уильям так до сих пор и не понял, насколько более неосведомленной о происходящем в мире становится Агнес с каждым месяцем ее затворничества. Ему, например, даже в голову не приходит, что она способна доверить служанке оценку восемнадцати ярдов ткани. Уильяму довольно и облегчения, которое он испытывает от того, что платьев жена себе больше не заказывает, поскольку в прошлом потворство ее прихотям обходилось ему в целое состояние, да еще и потраченное впустую, если вспомнить, как мало времени проводит Агнес вне своей постели.

По счастью, в этом Агнес с ним вроде бы согласна. Заменяв своего портного механической игрушкой, она со всей возможной искусностью избегла светского бесчестия, избрав себе в оправдание тоскливость благородной бездеятельности. Томительную скуку выздоровления, говорит она, можно с приятностью развеять с помощью занятого изобретения наподобие швейной машинки (о том, что машинка позволяет еще и экономить на расходах, не упоминается). Как-никак женщина она современная, а машины есть часть современного ландшафта – так, во всяком случае, неустанно твердит отец Уильяма.

Конечно, она всего лишь храбрится, и Уильяму это известно. В самые сварливые свои минуты Агнес отнюдь не скрывает от него обиды на то, что ей пришлось отказаться от портнихи, или унижения, которое она испытывает, изображая благородную скуку, между тем как всякому ясно, что она просто-напросто вынуждена экономить на каждой безделице. Неужели ему так уж трудно совершить какой-нибудь пустяковый поступок, способный убаготворить его отца – письмо послать или что-то еще, – малость, которая вернула бы им прежнее благополучие? У них наконец появился бы собственный выезд, а она смогла бы... о нет, одергивает ее Уильям. Рэкхэм-старший – вздорный старик, которому не удалось согнуть в дугу своего первенца, вот он теперь и отыгрывается на Уильяме. Агнес полагает себя страдальцей, но подумала ли она хотя бы раз, что приходится сносить ее мужу?

На это Агнес отвечает вымученной улыбкой и словами о том, что серебристый «Зингер» и вправду представляется ей занимательной новинкой, а потому она лучше снова вернется к нему.

Готовность Агнес экономить на платьях Уильяма радует, куда меньше радует его необходимость покупать новую шляпу в «Биллингтон-энд-Джой», да еще и платить за нее на месте, как за жареные каштаны или чистку обуви, – вместо того, чтобы выбрать ее у именитого шляпника и добавить расход к счетам, оплачиваемым в конце года. Господи, да любой великосветский джентльмен навещает своего шляпника каждые несколько дней, и лишь для того, чтобы тот отгладил ему шляпу, натянув ее на болванку! Как же он докатился до такого позора? Человек, столь богатый по праву рождения, должен терпеть нужду – терпеть нужду и что ни день срамиться по мелочам! Да разве полки «Биллингтон-энд-Джой» не заставлены духами, мылом и парфюмерией Рэкхэма? Разве имя Рэкхэма не лезет в глаза отовсюду? И тем не менее он, Уильям Рэкхэм, наследник состояния Рэкхэмов, должен переминаясь с ноги на ногу у шляпных подпорок, ожидая, когда другие покупатели вернут на них шляпы, которые ему хочется примерить! Неужели Всесильный, или Божественная Первооснова, или что там уцелело после того, как Наука вырвалась из стойл Вселенной, не видит, что с ним не все ладно?

Впрочем, может, Оно и видит, но все равно попирает его.

Без четверти одиннадцать Уильям Рэкхэм и Клара ненадолго встречаются перед магазином, на улице. Клара прижимает к груди объемистый, похрустывающий сверток и передвигается с большей против обычного косностью. На голове Уильяма прочно сидит новая шляпа – старую отправили в некое потайное хранилище, место ссылки шляп, шляпок, зонтов, перчаток и тысяч иных осиротевших вещей. Куда они в конце концов отбывают оттуда? Быть может, в христианские миссии острова Борнео или в печь, раскаленную огнем? Но уж во всяком случае не на Черч-лейн, что в Сент-Джайлсе.

– Я вдруг вспомнил, – говорит Уильям, шурясь и вглядываясь в глаза служанки (ибо роста они совершенно равного), – что должен заняться одним срочным делом. В городе, то есть. Полагаю поэтому, что вам лучше вернуться назад одной.

– Как вам будет угодно, сэр.

Клара склоняет голову с достаточным смирением, однако Уильяму чудится, что он уловил в ее голосе нотку тайной насмешки, уверенности, что он лжет. (На этот-то раз Клара так вовсе не думает, она наслаждается мыслью о том, что в омнибусе, который доставит ее домой, ей не придется скрывать тайную свою покупку, которая льнет в этот миг к ее зудящим ягодицам.)

– Вы ведь его не потеряете, не так ли? – осведомляется Уильям, указывая на шелк, его щедрый дар Агнес.

– Нет, сэр, – заверяет хозяина Клара.

Вытащив из особого кармашка часы, Уильям делает вид, будто вглядывается в них, держа на раскрытой ладони, – но это лишь предлог, позволяющий отвести глаза от вызыва-

ющей у него раздражение наглой девки, которой он платит 21 фунт в год, дабы она составляла компанию его жене.

– Ну что же, ступайте, – говорит он, и Клара, ответив: «Да, сэр», уходит, перебирая ногами так, точно она с трудом удерживается от того, чтобы пукнуть. Однако Уильям этого не замечает. Собственно, уже под вечер этого же дня, увидев Клару, снующую по дому, щеголя талией, коей она прежде не обладала, он не заметит и талии.

А ведь так было не всегда. В прошлом Уильям Рэхэм принадлежал к числу людей, замечающих малые, даже мельчайшие изменения в чужих обличьях и нарядах. В лучшие его университетские годы он выглядел совершенным денди – трость с серебряной рукоятью и золотистые локоны до плеч. В ту пору для него не было ничего необычного в том, чтобы протоптаться полчаса перед цветочными вазами своей «берлоги», выбирая тот или этот цветок для той или иной бутоньерки; еще даже большее время мог он потратить на подбор шелкового шейного платка одной расцветки к жилету другой, а налюбимейшие панталоны его были темно-синими в сиреневую клетку. В одном достопамятном случае он приказал портному переместить бутоньерку, дабы отбить у некоей недисциплинированной пуговицы охоту неприличным образом выставляться из-под пальто. «На четверть дюйма вправо, не больше, но и не меньше», – сказал он тогда, и ничто не спасло бы портного от выволочки, не сделай он этого.

В те дни Уильям гордился своей способностью указывать на огрехи в их нарядах тем немногим, кто обладал вкусом, достаточным для того, чтобы понять, о чем он толкует. Ныне оскудевшие средства обратили и самого Уильяма в скопище огрехов, слишком приметных для всех, даже для слуг.

Он не без нервности прикладывает ладонь к макушке, проверяя, все ли там в порядке. Да, все, однако причина для беспокойства у него имеется более чем основательная. Всего только час назад Уильям увидел в зеркале нечто настолько шокирующее, что оно и сейчас нейдет у него из головы. Впервые с того мгновения на Риджент-стрит, когда он сорвал с себя старую шляпу, Уильям заметил анархию, поразившую его скальп.

В стародавние времена волосы были предметом его первой гордости: во все детские годы они оставались мягкими, бронзово-золотистыми, ими любовались и тетушки Уильяма, и всякого рода встречные незнакомцы. Состоя в кембриджских студентах, он носил их длинными, по плечи, зачесывая назад без масла. Уильям был тогда худощав, и они, струившиеся, ниспадая, затушевывали грушевидность его головы. А кроме того, длинные волосы символизировали Шелли, Листа, Гарибальди, Бодлера, индивидуализм – много всякого.

А вот возникшее у него несколько дней назад стремление вновь обрести безликость, укоротив свои длинные локоны, привело к результатам поистине устрашающим. Сегодня он увидел в зеркале, что учинили его волосы в знак пренебрежения к безжалостной стрижке; они порвали путы державшего их приглаженными масла и встали дыбом, открыто взбунтовавшись против своего господина. Боже милостивый, сколько же людей видело его таким – клоуном со смехотворной короной из пучков спутанной соломы! Корчась от стыда, Уильям прямо там, в шляпном отделе «Биллингтон-энд-Джой», укрыл свой кудрявый нимб под первой же шляпой, до какой сумел дотянуться. Ее-то, несмотря на множество последующих пробных примерок, он в конце концов и купил.

С той минуты Уильям успел уже, добавив еще масла, расчесать этот нимб, придавив его к голове, однако смирились ли волосы с полученным ими уроком? Кончиками пальцев Уильям нервно притрагивается к волосам, разглаживает их под полями шляпы. Густые бачки покалывают пальцы. «Мне нужно что-то вроде Мэтью Арнольда», – сказал он своему цирюльнику, а получил какого-то дикаря с Борнео. Что он наделал? Убедил себя (ну почти убедил), что новая, более безыскусная внешность поможет ему с большей легкостью всту-

пить в последнюю четверть столетия, – но, похоже, волосы его придерживались иного мнения.

Шагая в сторону Темзы, Уильям высматривает проход между домами, в котором он мог бы снова расчесать их, укрывшись от осуждающих взглядов. Для одного лишь утра он и так уж достаточно нагрешил против приличий.

И наконец глазам его открывается подходящий проулочек – узкий настолько, что он и названия-то своего не заслуживает. Уильям мгновенно проскальзывает в него. Стоя в тусклом свете между грязными стенами, всего лишь в паре шагов от Джермин-стрит, он продирает волосы гребешком с ручкой слоновой кости, стараясь не наступить при этом на кишачие червями отбросы.

Раздавшийся за спиной его голос – отвратительный, носовой – заставляет Уильяма вздрогнуть.

– Вы человек добрый, хозяин?

Он круто поворачивается. К нему ковыляет из сумрака низкорослая шлюха с мышастыми волосами – лет сорока, если не больше, – завернувшаяся, сколько он может судить, в старую скатерть. Какого дьявола делает она в этой части города, в такой близости от его дворцов и наилучших отелей?

Лишившись от омерзения дара речи, Уильям отступает к улице. Четыре торопливых шага возвращают его на солнечный свет. Под волосами, которые он только что расчесал, проступают, покалывая кожу, капельки пота, и Уильяму неведомо почему начинает казаться, что волосы того и гляди пружинисто распрямятся и шляпа полетит с его головы, как летит из бутылки пробка.

Несколько минут спустя, уже приближаясь к Трафальгарской площади, Уильям Рэхэм замечает кондитерскую. И ему приходит в голову, что неплохо бы съесть что-нибудь вкусненькое.

Конечно, если он и впрямь желает отобедать, ему надлежит отправиться в «Альбион», или в «Лондон», или в «Веллингтон», где, может быть, сидят в самую эту минуту давние его однокашники, раскуривая первую за день сигару, – то есть если они не спят еще в объятьях любовниц. Однако Уильям не в том настроении, какое потребно для посещения мест подобного рода. И в то же время он побаивается, что какой-нибудь из чопорных знакомых заметит его поедающим пирожное на Трафальгарской площади и в дальнейшем будет вечно обходить стороной.

Ах, стать бы снова беспечным студентом! Неужели всего двенадцать лет назад он позволял себе самые вопиющие выходки в компании смешливых, бесстрашных друзей и никто не мог даже на миг усомниться в высоте его положения в обществе? Разве не посещал он лишенных разделяющих классы перегородок кабаков для мастеровых, разве не напивался там до беспамятства в окружении пьяниц и беззубых старух? Разве не покупал с уличных лотков устриц и не забрасывал их по одной себе в рот? Разве не пел баритоном, более громким и сочным, чем у любого из его друзей, похабных песен и не отплясывал под них босиком на мосту Ватерлоо?

Моя милашка изящней феи,
Ее подбородок прилеплен к шее,
Ее кудряшки, как нос, красны,
От юбки несет запашком дурным...⁷

⁷ Здесь и далее перевод с англ. Виктора Лунина.

А что, он может спеть ее и сейчас!

Все, кто только есть в кондитерской, навестили уши, готовые послушать его пение. «Да, вот этот, будьте любезны», – произносит он *sotto voce*⁸. Что ж, он рискнет, да, рискнет (то есть пирожное съесть, а не спеть похабную песню), – хотя бы из ностальгии по своему прежнему, исчащему «я».

И Уильям, лелея в ладони составленное из шоколада и вишен лакомство, выходит на площадь. Ему беспокойно. Нижний этаж его тела только теперь начал откликаться на предложение, совсем недавно сделанное в проулке проституткой, а поскольку она исчезла из виду и из мыслей Уильяма, да и вообще о ней никакой речи идти не может, он с вожделением вглядывается в трех французских девочек, резвящихся среди голубей.

– *Moi aussi!*⁹ *Moi aussi!* – верещат они, ибо неподалеку замер фотограф, притворяющийся, будто он снимает не их, а что-то совсем иное. Девочки милы, милы их платья, милы движения, однако Уильям не может уделить им внимания, какого они заслуживают. Вместо того он погружается в еще не утратившие яркости воспоминания о фотографии, снятой с него неделю назад, как раз перед тем, как он обрезал локоны. Последней, иными словами, фотографии старого (молодого) Уильяма Рэкхэма.

Фотография эта уже упрятана, совершенно как порнография, в один из ящиков стоящего дома комода. Однако памятный образ ее по-прежнему ярок: на ней Уильям еще выглядит кембриджским щеголем, самоуверенным студизусом в канареечно-желтом жилете, какой и в нынешнем поколении франтов никто не осмелился бы надеть. Да и выражение, застывшее на лице Уильяма, есть тоже реликт прошлого, в том смысле, что ныне Уильям и его больше не примеряет; это выражение, которое, вопреки надеждам отца, сообщил его лицу Даунинг-колледж: выражение добродушного презрения к будничному миру.

Всего труднее было ему объяснить фотографу причину, по которой он облачился в одеяние столь устаревшее, а именно: снимок, сделанный с него, станет (как бы это выразить поточнее?)... ретроспективным историческим свидетельством, возвратом прошлого. (На деле какая-либо нужда беспокоиться на сей счет у него отсутствовала: стены фойе фотографа давно уж заплотились немного поблекшие дебютантки высшего света в воскрешенных, видевших их триумф платьях, пузатые старики, втиснувшиеся в пошитые на подтянутых юношей воинские мундиры, и множество иных не без труда воскрешенных мечтаний.)

– *Moi aussi, oh tamen!*

Здесь, на Трафальгарской площади, девятилетняя примерно девочка в белом шелковом платье получает разрешение попозировать мужчине с фотографической камерой. Горстка семян, и к ней слетается туча голубей – весьма своевременно, теперь можно и выдержку установить. Девочка восторженно взвизгивает, пробуждая в своих компаньонках зависть.

– *Et moi maintenant, moi aussi!*¹⁰

Третья девочка протестует – сейчас ее очередь, – но Уильяму уже стало скучно. Покончив с пирожным, он надевает перчатки и вновь выступает в путь к Сент-Джеймскому парку, мрачно спрашивая себя, как сможет он, если и картины столь чарующие нагоняют на него тоску, вытерпеть положение главы «Парфюмерного дела Рэкхэма»?

Проклятье Уильяма в том, что отец его не понимает: сын имеет предназначение куда более высокое! Старик, разбогатевший тем, что в течение сорока лет каждодневно с 8 утра до 8 вечера делал одно и то же, утратил естественное понимание того, какие страдания способна причинять однообразная нудная работа утонченной душе. Генри Калдер Рэкхэм

⁸ Вполголоса (*ut.*).

⁹ И меня! (*фр.*)

¹⁰ А теперь я, и меня! (*фр.*)

даже учрежденный недавно полудневный субботний выходной воспринимает как постыдную трату рабочего времени.

И нельзя ведь сказать, будто Генри Калдер Рэкхэм трудится ныне так же усердно, как в прежние времена, – теперь он правит делами компании все больше из своего кабинета. Разумеется, он по-прежнему крепок, как конь, однако, приняв в рассуждение брачные виды Уильяма, счел необходимым пойти на некоторые перемены. Более благовидный адрес; в большей мере сидячий, а стало быть, и респектабельный образ жизни; несколько предложений о помощи, обращенных к представителям аристократии, испытывавшим острую нужду в деньгах: без этих жестов со стороны Рэкхэма-старшего сын его никогда не получил бы руки Агнес Ануин. Да если б старик и сейчас еще разгуливал по лавандовой ферме в своем вязаном жакете и сапогах, не было бы даже смысла осведомляться у лорда Ануина о возможности союза Уильяма и Агнес.

Однако к началу брачных переговоров Рэкхэм-старший уже «приглядывал» за своим делом из более чем почтенного дома, стоящего, правда, в Бейсуотере, но все-таки очень близко к Кенсингтону, а сын его, Уильям, еще оставался многообещающим молодым человеком, которому, вне всяких сомнений, предназначено было стать весьма приметной фигурой в... ну, в той или иной сфере деятельности.

О, все хорошо понимали, что молодой Рэкхэм возглавит со временем «Парфюмерное дело Рэкхэма», однако бразды правления, кои сожмет рука Уильяма, останутся без малого незримыми, общество же будет видеть иные, более возвышенные достижения его. В пору ухаживания за Агнес Уильям, хоть и давно уже вышедший из университета, еще ухитрялся источать ауру надежд на несчетные свершения, живое обаяние праздного довольства. Подделка? Да как вы смеете! Уильям и поныне владеет самыми последними сведениями о новейших веяниях в зоологии, скульптуре, политике, живописи, археологии, романистике... во всем, по сути, что обсуждается наилучшими ежемесячниками. (О нет, от подписки на них он не откажется – никогда, вы слышите!)

Но как может он оставить след в любом из этих направлений человеческой деятельности (раздраженно размышляет Уильям, опускаясь на любимую скамью Сент-Джеймского парка), когда его буквально шантажом затягивают в жизнь, наполненную утомительными трудами? Как можно ожидать от него...

Однако позвольте избавить вас от потопления в потоке сознания Уильяма Рэкхэма, вернее, в этом стоялом пруду, поверхность которого вяло волнуема жалостью к себе. Деньги, только к ним все и сводится: сколько их, достаточно ли, когда поступят следующие, на что они пойдут, как их удастся сберечь – и так далее.

Голые факты таковы: Рэкхэм-старший устал от управления «Парфюмерным делом Рэкхэма», устал чертовски. От его первенца, Генри, проку, как от наследника, никакого – Генри с юных лет посвятил себя Богу. Достойный, в сущности, молодой человек, бережливый холостяк, содержание коего особых хлопот не доставляет, хотя если он и вправду собирается сделать карьеру в Церкви, то больно уж долго ее обдумывает. Ну да ладно: сойдет и младший сын, Уильям. Подобно Генри, он никаких прямых дарований покамест не проявил, однако у него дорогостоящие вкусы, изысканная жена и солидных размеров дом – и все это накрепко присосалось к груди отеческой щедрости. Суровые наставления желанного действия не возымели, и ныне Рэкхэм-старший предпринимает, медленно и неуклонно уменьшая содержание сына, попытки подстегнуть Рэкхэма-младшего, который неверными шагами подвигается к посту главы семейного дела. С каждым месяцем он урезает отпускаемые сыну суммы еще на чуть-чуть, сводя на нет тот образ жизни, привычкой к которому Уильям обзавелся.

Ему уже пришлось сократить число слуг с девяти до шести; путешествия за границу стали для него воспоминаниями прошлого; разъезды в кебе – если не роскошью, то опреде-

ленно не обыденностью. Уильям больше уж не спешит сменять поношенное или вышедшее из моды платье; мечта же о найме камердинера – а это и есть истинное мерило процветания – так подчеркнуто мечтой и остается.

Что огорчает Уильяма пуще всего, так это ненужность его лишений – особенно в рассуждении размеров семейного капитала. Когда бы отец всего лишь продал свою компанию – чоком, со всеми ее потрохами, – полученная сумма была бы столь неохватна, что ее достало бы для безбедной жизни целых поколений Рэкхэмов, – а ради чего, если не ради этого, старик и трудился столькие годы?

Стремление наживать все больше и больше денег, когда у тебя их и так предостаточно, давно внушает Уильяму, социалисту по наклонностям, устойчивое отвращение. А кроме того, продай Рэкхэм-старший компанию и вложи во что-нибудь вырученную сумму, деньги его стали бы самовоспроизводящимися, их могло бы хватить на веки вечные, и со временем к ним начали бы относиться как к «давнему капиталу». И если сентиментальная привязанность к своему делу удерживает старика от продажи, то почему, ну почему именно Уильям обязан взвалить на себя бремя управления компанией? Почему не передать его некоему способному, заслуживающему доверия человеку из тех, кто уже работает в «Парфюмерном деле Рэкхэма»?

В горестях своих Уильям обращается к политической философии собственной выделки, к системе, которую он надеется когда-нибудь привить английскому обществу. (Рэкхэмизм, так, возможно, обозначит ее история.) Это теория, которую Уильям обдумывает лет уж десять, если не дольше, хотя в недавнее время он сообщил ей новую остроту – теперь в состав ее входит устранение того, что Уильям именует «неоправданным капиталом», и замена оною тем, что он же именует «правом на состояние». Это означает, что едва лишь человек приобретает состояние, достаточное для того, чтобы обеспечить – навечно – благополучие его дома (каковой определяется как семья, состоящая из не более чем десяти чад и домочадцев), дальнейшее накопительство ему воспрещается. На рискованные вложения средств в аргентинские золотые рудники и прочее в этом роде налагается строгое вето; взамен средства вкладываются в надежные, солидные предприятия, и делается это под присмотром правительства, которое печется о том, чтобы прибыль на такие вложения была пусть и не поражающей воображение, но постоянной. А любые избыточные доходы, получаемые богатыейшими из людей, поступают в общественную казну на предмет их распределения среди разного рода горемык – нуждающихся и бездомных.

Предложение революционное, Уильям сознает это, способное ужаснуть многих, ибо выполнение его стерло бы нынешние различия между классами, уничтожило бы аристократию в теперешнем значении этого слова. И это, на взгляд Уильяма, было бы дьявольски добрым делом, поскольку он уже устал от напоминаний о том, что Даунинг-колледж¹¹ – это далеко не Корпус-Кристи¹² и что ему еще повезло попасть хотя бы в первый из них.

Ну-с, вот вы и познакомьтесь с ними: с мыслями (несколько подсухшими от частых повторений) Уильяма Рэкхэма, сидящего сейчас на своей излюбленной скамье Сент-Джеймского парка. И если вам стало совсем невтерпех от скуки, я могу лишь пообещать, что в самом скором времени вы получите распутное соитие, не говоря уж о безумии, похищении и насильственной смерти.

Пока же Рэкхэма насильственно отрывает от размышлений звук его собственного имени.

– Билл!

– Боже милостивый, это он, Билл!

¹¹ Основанный в 1800 году колледж Кембриджского университета.

¹² Основанный в 1352 году колледж Кембриджского университета.

Уильям поднимает глаза, голова его еще полна мутного тумана, отчего он способен лишь тупо взирать на внезапно явившееся ему видение – на двух его ближайших друзей, неразлучных кембриджских наперсников, на Бодли и Эшвелла.

– Ну, теперь уж недолго, Билл, – восклицает Бодли, – и самое время начать праздновать!

– Праздновать что? – спрашивает Уильям.

– Да все, Билл! Всю благословенную вакханалию Рождества! Чудотворный малютка уже поглядывает из девственного лона на ясли! Горы пудинга, окутанные парком! Галлоны порта! И оглянуться не успеешь, а тебя уложит в постель новый год!

– Тысяча восемьсот семьдесят четвертый на славу укутан и похрапывает, – ухмыляется Эшвелл, – а полный юных соков тысяча восемьсот семьдесят пятый стоит на пороге, желая, чтобы и с ним поступили подобным же образом.

(Они очень похожи, Бодли и Эшвелл, с их лишенными возраста обличьями «старых однокашников». Безупречно одетые, возбудимые и вялые сразу, гладколицые, в шляпах, превосходящих все, что сыщется в «Биллингтон-энд-Джой». Собственно говоря, похожи настолько, что Уильяму, когда он, бывало, выпивал лишнего, случалось называть их «Бэшли» и «Одвелл». Впрочем, Эшвелла отличают от Бодли несколько более редкие бакенбарды, чуть менее багровые щеки и отчасти меньшее брюшко.)

– Тысячу лет не виделись, Билл. Чем ты занимался? Не считая стрижки волос? – Бодли и Эшвелл грузно оседают рядом с Уильямом на скамью, затем наклоняются вперед, укладывая ладони и подбородки на набалдашники тростей, принимая позы гротескного внимания. Теперь они походят на двух горгулий, изваянных для одной и той же колокольни.

– Агнес нездорова, – отвечает Рэкхэм, – а тут еще проклятое отцовское дело, которое мне предстоит перенять.

Ну вот и сказал. Бодли и Эшвелл норовят соблазнить его веселым загулом – пусть знают, что он пребывает не в лучшем для этого настроении. Или хотя бы пусть соблазняют с пушим усердием.

– Будь осторожен с делом, к которому не лежит твоя душа, – предостерегает его Эшвелл. – Так можно обратиться в прескучнейшего человека, погруженного в хлопоты о... не знаю... об урожайности и приплоде.

– Этого мне опасаться не приходится, – отвечает Уильям, который именно этого и опасается.

– Не лучше ль оставить хлопоты о приплоде трепетной юной красотке? – театрально ворчит Бодли, а затем вглядывается, ожидая похвалы, в лица Рэкхэма и Эшвелла.

– Это не лучший из твоих каламбуров, Бодли, – произносит Эшвелл.

– Может быть, – фыркает Бодли. – Однако тебе случалось платить по фунту и за худшие.

– Так или иначе, Билл, – возвращается к прежней теме Эшвелл, – оставим пока в стороне порнографию – ты не должен позволять Агнес удерживать тебя в стороне от великого потока Жизни. Ты относишься к Агнес с чрезмерной заботливостью, а ведь она всего-навсего женщина... это опасно. Так недолго докатиться и до... э-э... какое тут требуется слово, Бодли?

– Любовь, Эшвелл. Сам я к ней и близко не подойду.

На лице Уильяма появляется бледная улыбка. Уговаривайте меня, старые товарищи, уговаривайте.

– Нет, серьезно, Билл, не стоит обращать затруднения Агнес в проклятие всей семьи. Знаешь, как в тех пугающих старомодных романах, в которых из каждого шкафа выскакивает по обезумевшей женщине. Пойми, ты не единственный попавший в подобное положение мужчина: нас окружают орды безумных жен – да половина женщин Лондона положительно

пребывает в бреду. Проклятье, Билл: ты же свободный человек! Что толку сидеть у себя в норе на манер престарелого барсука?

– Лондон вне Сезона и сам по себе достаточно скучен, – встревает Эшвелл. – Так лучше уж растрачивать это время со вкусом.

– И как же, – спрашивает Уильям, – растрчивали его вы?

– О, мы усердно трудились, – с энтузиазмом сообщает Эшвелл, – над попросту великолепной новой книгой – трудился по преимуществу я, – (тут Бодли громко фыркает), – Бодли лишь слегка шлифовал слог, – а называется эта книга «Действенность молитвы».

– Пришлось, знаешь ли, основательно попотеть. Мы опросили орды благочестивых верующих, добываясь от них честного ответа на вопрос – приносила ль когда-либо их молитва желаемый результат.

– Под таковым мы разумеем не расплывчатый вздор наподобие «отваги» или «уют», нет, мы разумеем осязаемый результат – новый дом, избавление матушки от глухоты, убитого молнией врага *et cetera*¹³.

– Мы были доскональны до крайности, если я вправе сказать это сам. Помимо сотен индивидуальных случаев, мы изучили и общие, шаблонные молитвы, которые годами читают на ночь тысячи людей. Ты знаешь, о чем я: избавление от лукавого, мир на Земле, обращение евреев в истинную веру и тому подобное. И пришли к отчетливому заключению – числом и настойчивостью ничего добиться тоже нельзя.

– А записав все это, мы надумали побеседовать с представителями высшего духовенства – или, по крайности, попытаться вступить с ними в переписку – и выяснить их мнение на сей счет. Нам необходимо, чтобы всякий ясно понимал: наша книга – это беспристрастное научное исследование, полностью открытое для критики со стороны ее... э-э... жертв.

– Мы намерены разбить Христа наголову, – вставляет Бодли, вгоняя свою трость в сырую землю.

– Находки у нас имеются упоительные, – сообщает Эшвелл. – Люди, помешавшиеся настолько, что любо-дорого смотреть. Мы беседовали со священником из Бата (приятно было снова заглянуть в этот город, превосходное пиво), так он, по его словам, молится о том, чтобы сгорела тамошняя пивная.

– «Или сокрушилась как-нибудь еще».

– Он полагает, что Бог сам выберет подходящее для этого время.

– И совершенно уверен, что в конечном счете молитвы его возымеют успех.

– Он возносит их вот уж три года – еженощно!

И оба в саркастическом восторге ударяют тростями о землю.

– И вы полагаете, – спрашивает Уильям, – что у вас есть хотя бы малейший шанс отыскать издателя?

Настроение его улучшилось, он почти поддался соблазну и все же считает необходимым напомнить друзьям о прискорбных реальностях нашего мира. Но Бодли и Эшвелл лишь обмениваются знающими ухмылками.

– О да. Спрос на книги, подрывающие самые основы нашего общества, ныне попросту циклопичен.

– Что относится и к романам, – говорит, многозначительно подмигивая Уильяму, Эшвелл. – Не забывай об этом, если ты все еще собираешься произвести на свет нечто по сей части.

– Но право же, Билл, – ты должен чаще показываться на люди. Мы уж сто лет как не видели тебя в наших старых пристанищах.

– Следует, знаешь ли, заботиться о сохранении своего дурного имени.

¹³ И так далее (*лат.*).

- Держать себя в форме.
- Не позволять ходу времени сбивать тебя с пути.

– Вы, собственно, о чем? – с тревогой осведомляется Уильям. Повергшая его в угнетенное состояние духа стрижка еще и обнаружила среди золотистых волос поседевшие раньше срока пряди, и теперь он чувствительно относится к любым упоминаниям о времени и возрасте.

– О созревающих девах, Уильям. Время вечно наступает им на пятки. Сам знаешь, они не навек остаются спелыми и сочными. Полгода – и пиши пропало. А ты ведь уже упустил нескольких, вошедших в легенду, Билл, – в легенду.

– Всего один пример: Люси Фицрой.

– О да – боже всесильный, да!

Двое мужчин вскакивают со скамьи, словно заслышав условленный сигнал.

– Люси Фицрой, – начинает Эшвилл в манере мюзик-холльного декламатора, – была новой девицей в доме мадам Джорджины, что на Финчли-роуд, доме, славном пристрастием к истязанию плоти. – В виде иллюстрации Эшвелл несколько раз с силой бьет себя тростью по икре. – Поникни, плоть! Восстань! Поникни!

– Полегче, Эшвилл. – И Бодли предостерегающе кладет ладонь на держащую трость руку друга. – Не забывай, хромота сообщает достойный вид одним лишь лордам.

– Ну-с, как тебе, вероятно, известно, мы с Бодли временами навещали мадам Джорджину, дабы выяснить, какого достоинства девы помавают там хлыстами. И под конец прошлого года свели знакомство с блудницей, которую Мадам представила нам как Люси Фицрой, внебрачную дочь лорда Фицроя, напивавшего ее жилы наезднической кровью.

– Это, разумеется, вздор, однако девица в него, похоже, верила! Четырнадцать лет, тугая и гладкая, как младенец, полная великолепной гордыни. Она носила костюм для верховой езды – и прекрасно носила – и даже по лестнице сходила боком, вот так, одна нога, следом другая, как будто не сходила, но спешивалась. И при этом сжимала в руке очень короткий, зловещего вида хлыст, а на щеках ее различались ярко горящие пятна румянца – подлинного, я готов в этом поклясться. Мадам Джорджина рассказывала, что всякий раз, как мужчина посылал за этой девицей, она выходила на верх лестницы и просто стояла там, поджидая его; когда же бедный дурень подбирался к ней достаточно близко – щипсх! – ударяла его хлыстом по щеке, а затем, указывая на кровать, говорила...

– Боже милостивый! – восклицает Эшвелл, ненароком бросивший взгляд в направлении, указанном поднятой Бодли тростью. – Господь всемогущий! Кто это там, как по-твоему?

Эшвелл затеняет щитком ладони глаза и пристально вглядывается в дальний конец Сент-Джеймского парка. Бодли, подступив поближе к другу, вглядывается тоже.

– Это же Генри! – упоенно восклицает он.

– Да, да, это он – и миссис Фокс!

– Разумеется.

Оба поворачиваются к Уильяму и отвечивают ему по серьезному поклону.

– Тебе придется извинить нас, Билл!

– Да, нам нужно нагнать Генри и растерзать его.

– Благословляю вас на это, – с ухмылкой отвечает Уильям.

– Он, видишь ли, сторонится нас – бежит как от чумы – с тех самых пор... э-э... как бы это выразить?..

– С тех самых пор, как к нему в постель снизлетел его личный ангел.

– Вот именно. Так или иначе, нам необходимо догнать его, пока он не ударился в бегство.

– О, с миссис Фокс на буксире ему это не удастся: она упадет замертво! Уверяю тебя, у него нет шансов на спасение.

– Будь здоров, Билли!

И с этим они, набирая великую скорость, устремляются к своей жертве. Да, эти двое мчат с такой бешеной быстротой, что, несмотря на облегающие их фраки, им приходится размахивать, дабы удержать равновесие, руками, – с полным безразличием к впечатлению, которое они могут произвести на тех, кто наблюдает за ними, – на деле они даже утрируют, собственной потехи ради, развитый ими задышливый аллюр. За спинами их остаются две длинные, влажные полосы в темно-зеленой траве – и немного ошарашенный Уильям Рэкхэм.

Манера врываться в разговор и вырываться из него всегда была присуща Бодли и Эшвеллу, и тем, кто хотел уютно чувствовать себя в их обществе, приходилось совершать такие рывки вместе с ними. Уильям смотрит им, несущимся по парку, вслед, а между тем тягость уныния вновь наваливается на его плечи. Он утратил, за отсутствием практики, дерзость и живость, потребные для таких вот шутилых бесед, для такого выставления себя напоказ. Смог ли бы он даже бежать так же быстро, как бегут друзья его? Он словно смотрит вслед собственному, стремительно пересекающему парк телу, собственной, поспешающей прочь от него молодости.

Быть может, ему надлежит скачками пуститься вдогон за ними? Нет, слишком поздно. Их уже не нагнать. Они обратились в темные, летучие фигуры на ярком горизонте. Уильям тяжело опускается на скамью, и мысли его, ненадолго взбаламученные Бодли и Эшвеллом, обретают прежнюю застойную косность.

Что огорчает Уильяма пуще всего, так это ненужность его лишений – особенно в рассуждении размеров семейного капитала. Когда бы отец всего лишь продал свою компанию...

Впрочем, это вы уже слышали. Самое для вас лучшее – минут на десять с небольшим оставить Уильяма в одиночестве. За этот срок, пока мозг Уильяма будет затягиваться мыслительной ряской, все прочее его существо начнет ощущать воздействие впечатлений нынешнего утра: предложения, полученного им в проулке от шлюхи, наблюдения за девочками-француженками на Трафальгарской площади, болтовни Бодли и Эшвелла о борделях, их назойливой заботливости о нем, сменившейся неожиданным бегством, и появлением в Сент-Джеймском парке (за последний час с небольшим) множества красивых молодых дам.

Смесь, ничего не скажешь, пьянящая. И когда Уильям вдосталь одурманится ею, поднимется со скамьи и последует за своими желаниями, он вступит на путь, который ведет в конечном счете к Конфетке.

Глава четвертая

Вам вовсе нет нужды неотрывно вглядываться, ожидая, когда Уильям зашевелится, в его пах. Почему бы вместо этого не присмотреться к некоторым из объектов его желаний? В конце концов, для того они в Сент-Джеймский парк и приходят.

Если вы питаете хоть какой-то интерес к моде, вы попали не в самый неудачный год. Одевая своих женщин, история порой позволяет себе странные выходки: по временам она избирает моделью лебедя, по временам, извращаясь, индюшку. В этом году повсеместно распространились – во всяком случае, среди тех, кто может себе их позволить, – на редкость изысканные стили женских одежд и причесок, стили, имеющие истоки в ранних семидесятых. Им предстоит долгая жизнь, за срок которой Уильям Рэкхэм успеет очень и очень состариться, устать от красоты настолько, что он проникнется равнодушием к ее увяданию.

Сильно меняться между нынешним годом и концом столетия у дам, проплывающих в этот солнечный ноябрьский день по Сент-Джеймскому парку, особой нужды не будет. Их мог бы хоть сейчас использовать для своих полотен Тиссо, эта сенсация семидесятых, однако и двадцать лет спустя они все еще будут пригодны и для Мунка (хотя кое-какие изменения он в них, возможно, и произведет). Окончательно же с ними покончит лишь Первая мировая война.

Облик этих дам определяется не только нарядами и фасонами причесок. Важна и манера держаться, осанка, выражение сдержанной рассудительности, отрешенной надменности и загадочной грусти. Даже в эти блестящие, ранние дни утверждения нового стиля женщины, скользкие, точно дриады, в своих осенних одеждах по влажным лужайкам, отзываются чем-то призрачно-жутковатым – кажется, будто они накликают преждевременный приход *fin de siècle*¹⁴. Здесь уже культивируется образ прелестного демона, полупризрака, явившегося из загробного мира, – даром, что большинство этих дам суть просто развеселые светские красавицы и ни единой демонической мысли в головах их не водится. Облекающий этих дам ореол затравленности есть всего только следствие чрезмерной тесноты корсетов. Слишком стиснутые в груди, отчего им вечно недостает кислорода, создания эти возвышенны лишь в том смысле, что дышат они так, точно уже добрались до вершины Эвереста.

Говоря по чести, некоторые из этих дам куда как удобнее чувствовали себя в кринолинах. По крайней мере, когда они были заперты в те железные клетки, потребность дам в том, чтобы к ним относились как к забалованным детям, была более очевидной, нынешнее же деланое пристрастие к *la ligne*¹⁵ и сопутствующая ему континентальная самоуверенность подразумевают наличие чувственности, дамам этим нисколько не свойственной.

В отношении нравственном время ныне стоит странноватое – и для наблюдателя его, и для наблюдаемых: мода вновь напоминает всем о существовании тела, тогда как мораль продолжает настаивать на полном о нем неведении. Подобный кирасе корсаж стискивает грудь и живот, юбка льнет к ягодицам и привольно спадает вниз, отчего сильного порыва ветра хватает, чтобы обнаружить существование ног, турнюр же лишь подчеркивает скрытый под ним круп. И однако же, ни один добродетельный мужчина не позволяет себе помышлений о плоти, а добродетельные женщины о существовании ее не ведают и вовсе. Если бы некий жовиальный дикарь забрел сейчас с варварских окраин Империи в Сент-Джеймский парк и отпустил одной из этих дам комплимент, похвалив упоительные очертания ее тела, реак-

¹⁴ Конец столетия (*фр.*).

¹⁵ Осиная талия (*фр.*).

ция дамы свелась бы, скорее всего, не к восторгу или негодованию, но к мгновенной утрате чувств.

Впрочем, для того, чтобы рухнуть в обморок, никакая помощь варваров из колоний современной даме не требуется: для любой не худощавой от природы женщины безжалостно сужающийся к талии корсаж представляет собой испытание, которое трудно оправдать даже служением красоте. И следует сказать, что весьма многие из дам, плывущих сейчас призраками по лужайкам Сент-Джеймского парка, восставали этим утром из постелей в обличье пышнотелых красавиц прежнего поколения, но затем сбрасывали просторные пеньюары ради изнурительного общения с горничными. Даже если всерьез шнуроваться им не пришлось (ныне это становится, пожалуй что, даже редкостью), все равно нужно было стянуть полоски кожи, застегнуть металлические крючки, не позволяющие привольно дышать, непоправимо сминающие грудную клетку и наделяющие даму красным носом, который приходится часто пудрить. Ходьба и та требует теперь большей искусности, чем прежде, ибо в моду вошли достигающие щиколоток башмачки на высоких каблуках.

И все же они прекрасны, эти упитанные англичанки, ставшие гибкими и художавыми, да и почему же не быть им прекрасными? То, что при взгляде на них, дышащих с таким трудом, и у других перехватывает дыхание, ведь это лишь справедливо, не правда ли?

А что же Уильям – каково теперь настроение ума его? Все эти красиво одетые женщины, скользящие (пусть и в отдалении) вокруг его парковой скамьи, – не пробудили ль они его мужественности, не привели ли в состояние готовности к встрече с женщиной совершенно раздетой? Почти.

Долгие размышления о своей финансовой униженности наконец вдохновили Уильяма на создание метафоры: он воображает себя беспокойным зверем, снующим по клетке, чьи прутья выкованы в виде серебристых символов фунта стерлингов, «£», переплетенных вот так: «`££££££££££££££££`». Ах, если бы только смог он вырваться из этой клетки!

Еще одна молодая дама проскальзывает за его спиной, на этот раз совсем близко от скамьи. Лопатки ее выпирают из атласной кирасы, талия, приводящая на ум песочные часы, почти неуследимо покачивается, конского волоса турнюр чуть подрагивает, перенимая ритм ее поступи. И фокальная точка финансовой импотенции Уильяма смещается, обращаясь в вызов не уму его, но полу. Еще до того, как атласная леди успевает сделать два десятка новых шагов, Уильям проникается уверенностью, что смог бы доказать нечто важное – насущное – относительно Жизни, всего лишь возобладав сегодня над женщиной.

И прогуливающиеся по Сент-Джеймскому парку дамы преобразуются, сами того не ведая, в совратительниц, и каждое яркое тело становится бесстыдным намеком на его социальную тень – на проститутку. А маленький, слепой, спеленатый штанами пенис никакого различия между блядью и леди не видит, не считая разве того, что блядь доступна, что при ней не состоят гневливые защитники, способные вызвать тебя на дуэль, что нет на ее стороне ни закона, ни свидетелей, ни обвинителей. И потому, как только Уильям Рэкхэм обнаруживает, что его обуревают эрекция, он немедленно решает дотащить ее до ближайшей продажной женщины.

Странно, однако ж, – он до того гордится своей новоизобретенной метафорой финансового пленения: клеткой из кованых символов фунта стерлингов, что не желает просто так взять и махнуть на нее рукой. В безнадежности его положения, в трагической несправедливости оно присутствует нечто величественное, даже облагораживающее. Связанный по рукам и ногам, отчаявшийся, Уильям обретает близкое сходство с королем Лиром, а для того, чтобы трагедия эта достигла высшей точки, ему надлежит отыскать своего Шута. И потому мозг Уильяма создает еще и более устрашающие образы его финансовой клетки: lfgrfgr , и l fgrfgr , и lfgrfgr . А похоть отвечает на них еще более живыми мечтаниями касательно сексуальных триумфов и отмищений. Она то насилует мир, принуждая его к послушанию, то в

жалком отчаянии корчится под его пятой – и каждый раз все с большей жестокостью, каждый раз все с большим раболепием.

Наконец Уильям вскакивает со скамьи в совершенной уверенности, что умерить его смятение не способно ничто – ничто, вы слышите? – кроме безоговорочного подчинения двух очень юных шлюх сразу. Более того, он отличнейшим образом знает, где можно найти двух девиц, в совершенстве отвечающих его потребностям. Он немедленно отправится в это место, и тогда уж – спасайся кто может! (В иносказательном, как вы понимаете, смысле.)

К немалому неудобству Уильяма, перераспределение крови по его телесным органам никакого воздействия на вращение Земли не оказало, и оттого он, вернувшись в центр города, обнаруживает, что в Лондоне наступил час ленча и на улицы высыпали во всей их страшной силище клерки. Голодная толпа – темное море чиновников, писцов и прочих ничтожеств – грубо теснит Уильяма с его мужественностью, грозя уволочь обоих с собой, если он попытается плыть против течения. И потому Уильям отступает к стене и ждет – в надежде, что вскорости это море расступится перед ним.

*Au contraire*¹⁶. Двери здания, к стене которого он прижался, здания, примечательного лишь медными буквами «КОМПТОН, ГЕСПЕРУС и ДИЛЛ», внезапно распахиваются, и свежий поток клерков относит Уильяма в сторону.

Это последняя соломинка: отмахнувшись от еще сохранившихся в нем укоров совести, Уильям поднимает над толпой руку и останавливает кеб. Какое значение имеет теперь то, что утром он себе в кебе отказал? Довольно скоро уже он станет богатым человеком, и все его тревожения по поводу пустячных расходов обратятся в не более чем скверные воспоминания.

– Друри-лейн, – приказывает он, вставая на приступок покачивающегося хэнсома. Уильям захлопывает за собой дверь экипажа, стучается новой шляпой о низкий потолок, и тут же резкий рывок лошади отбрасывает его на сиденье.

Не важно. Он уже на пути к Друри-лейн, где (о чем никогда не уставали напоминать ему Бодли и Эшвелл) расположены недурственные и дешевые бордели. Ну, во всяком случае, дешевые. Бодли и Эшвелл любят посещать «непотребные дома» вовсе не потому, что стеснены в средствах, просто их забавляют быстрые переходы от самых дешевых шлюх к самым дорогостоящим.

«Смешивать марочное вино с жидким пивком, – так говорит об этом Бодли, прибавляя: – В погоне за наслаждением место найдется обоим».

При нынешнем посещении Друри-лейн Уильяма интересуют только девицы из разряда «жиденькое пивко», потому что лишь их он себе позволить и может. И в особенности интересуют его две... ну, честно говоря, он с ними никогда не встречался, однако помнит, как читал о них в «Новом лондонском жуире. Путеводителе для мужчин с полезными советами начинающим». Прошла уже, кажется, пропасть времени с поры, когда Уильям регулярно заглядывал в это справочное руководство (да теперь и не упомнишь, где оно хранится – в нижнем ящике письменного стола, что стоит в его кабинете?), однако у него сохранились отчетливые воспоминания о двух «новеньких» девушках, включенных в путеводитель по причине их нежного возраста.

«Непостижимая, знаешь ли, вещь, – не раз задумчиво говаривал Эшвелл. – Нам предлагают тысячи тел, а поди-ка, сыщи по-настоящему сочное и юное – семь потов сойдет».

«Все по-настоящему юные бедны как церковные мыши, вот в чем горе-то, – отвечал ему Бодли. – Ко времени, когда они расцветают, у них уже и чесотка заводится, и передних зубов не хватает, и под волосами парша... А если тебе требуется маленькая алебастровая Афродита, приходится, хочешь не хочешь, ждать, когда она станет падшей женщиной».

¹⁶ Напротив (*фр.*).

«Стыд и срам. Но Бог надеждой нас благословил. Я вот только что прочитал в „Новом жуире“ о двух девочках с Друри-лейн...»

Уильям силится припомнить имена девочек или хотя бы имя их Мадам – пытается представить себе страницу текста из путеводителя – ничего не получается. В память его врезался лишь номер дома, состоящий из дня и месяца собственного его рождения.

Дверь борделя распаивается перед Уильямом Рэкхэмом в тот же буквально миг, как он дергает за шнурок звонка. В приемной темновато, Мадам далеко не молода. Похожая на карлицу, она сидит на софе, сцепив на лоне покрытые вычурным узором морщин ладошки. Сколько-нибудь отчетливых воспоминаний о том, как должно обращаться к ней или к любой другой представительнице ее породы, Уильям не сохранил и потому просто упоминает о «Новом лондонском жуире» и просит предоставить в его распоряжение «двух девушек – парой».

Красноватые глаза старухи, словно плавающие в медовых тонов влаге, слишком густой для слез, взирают на Уильяма с сострадательной озабоченностью. Старуха улыбается, показывая череду жемчужных зубов, однако напудренный лоб ее покрывается складками. Сложив крышей ладони, она легко постукивает ими себя по носу. Жирный серый кот решается вылезти из-за софы, но, увидев Уильяма, ретируется.

Внезапно старуха разжимает ладони и взволнованно разводит их, приподняв кверху, точно на них с небес или, по меньшей мере, с потолка само собой упало потребное решение.

– А! Две девочки! – восклицает она. – Двойняшки!

Уильям кивает. Он не помнит, были они двойняшками в то время, когда о них писал «Новый лондонский жуир», или не были; не приходится сомневаться, впрочем, что первого цвета юности обе уже лишились и это потребовало измышления новой приманки. Мадам удовлетворенно закрывает глаза, улыбается, веки ее отливают в цвет сырой копченой грундики.

– Клэр и Алиса, сэр. Мне следовало сразу понять это – такой мужчина, как вы, сэр, – вы и должны были пожелать лучших моих девочек, весьма и весьма специальных. – Выговор и склад речи Мадам отзываются чем-то иностранным, отчего трудно понять, насколько хорошее или дурное воспитание получила она когда-то. – Я прослежу, чтобы они подготовились к встрече с вами.

Мадам поднимается с софы, почти не став от этого выше, но потянув за собой многие ярды темного волнистого шелка, и словно бы собирается сразу проводить его наверх. Впрочем, тут же и наступает театральная пауза, Мадам потупляется, якобы пристыженная словами, которые ей приходится произнести:

– Возможно, сэр, чтобы не беспокоить вас после?.. – И она снова поднимает на Уильяма наполненные полупрозрачной влагой глаза.

– Разумеется, – произносит Уильям и полных пять секунд вглядывается в ее отвратительную улыбку, прежде чем спросить: – И... какова же цена, Мадам?

– Ах да, прошу прощения. Десять шиллингов, если вас не затруднит.

Мадам с поклоном принимает от Уильяма монеты, затем дергает за один из трех тонких, висящих над перилами лестницы шнуров.

– Всего пара мгновений, сэр, большего им не потребуется. Прошу вас, присядьте в одно из *chaise-longues*¹⁷ – и не стесняйтесь, курите.

Стало быть, вот какого пошиба этот бордель, думает Уильям Рэкхэм. Впрочем, отступить поздно, к тому же ему необходима сатисфакция – и не в одном только смысле.

¹⁷ Покойное кресло (*фр.*).

И для того лишь, чтобы иметь возможность смотреть на тлеющий кончик сигары, а не на мерзкую физиономию Мадам, Уильям усаживается в *chaise* и закуривает, ожидая, когда удалится его предместник. Нечего и сомневаться, на задах дома имеется еще одна лестница, по которой уйдет этот джентльмен, а затем грязные простыни заменят чистыми, а затем... Уильям разочарованно посасывает сигару, ощущая себя человеком, купившим билет на жалкое представление, где рукава фокусника пухнут от укрытых в них приспособлений, а из-под пола воняет кроликами.

Однако, пока он предается мрачным думам, позвольте рассказать вам о Клэр и Алисе. Они – девицы из борделя в самом истинном и низком значении этих слов: то есть стоило им еще невинными прибыть в Лондон, как их обратила в падшие создания Мадам, которая, прибегнув к испытанной стратагеме, познакомилась с ними на вокзале железной дороги и предложила приютить обеих на ночь в пугающей, неведомой им столице, а после отняла у девушек деньги и одежду. Оставшиеся без гроша, беспомощные, они завязли в ее доме вместе с другими девицами, одураченными таким же манером или проданными Мадам их родителями либо опекунами. С тех пор они так здесь и работают, получая за это новые платья в обтяжку и питание два раза в день, не способные покинуть дом, поскольку заднюю его лестницу охраняет придурковатый мужлан, а переднюю – Мадам, не способные также и проведать, за какую цену, большую или малую, предоставляются их услуги.

И наконец для Уильяма наступает время подняться наверх. Он входит в комнату Клэр и Алисы, маленькую, квадратную, со стенами, задрапированными длинными красными занавесами, которые стекают на грязноватые деревянные плинтусы. Единственное окно укрыто такой же занавесой, отчего комната освещается не столько солнцем, сколько свечами, сообщаящими ей желтушный оттенок, наполняющими чрезмерным теплом. На истертом до нитки персидском ковре там и сям лежат расплюснутые бархатные подушки, над большой рококошной кроватью красуется забранная в пышную раму фотография голой женщины, танцующей вокруг комнатного подобия майского дерева. Клэр и Алиса, одетые в простые белые сорочки, рядом сидят на кровати, уложив на колени красивые ладошки.

– Добро пожаловать, сэр, – слаженно произносят они.

Слаженно или не слаженно, ясно, однако, что никакие они не двойняшки. Говоря педантически, они даже не девочки, в чем Уильям и убеждается, стянув с Алисы сорочку. Грудь ее больше уже не выступают над диафрагмой вперед, но плоско покоятся на ней. Розовые закраины безволосого влагиалища подернуты предательскими тенями, а губы Алисы – уже не бутончики, но розы в полном цвету.

Хуже того, каждое ее движение отдает заурадной шлюхой. Чуть-чуть щенячьей любознательности – это было бы очаровательно, ее же отработанная покорность валящегося на спину дрессированного лабрадора способна лишь вогнать мужчину в уныние. Проклятье! Неужели и за деньги невозможно получить ничего воистину стоящего? Неужели за все обещанное необходимо платить царскую цену? Неужели единственная цель современного мира состоит в том, чтобы разрушать идеалы и вскармливать цинизм?

И когда в восковой жаре комнаты Алиса обвиняет его своим телом, Уильяма вдруг охватывает желание бежать из этого дома, махнув рукой на зря потраченные деньги, – впрочем, уговорить эрекцию составить ему компанию не удастся. И потому он, за неимением лучшего, стягивает сорочку и с Клэр – и обнаруживает, что та моложе Алисы, что грудь ее конусовидна и увенчана мелко-рубчатыми, лиловато-розовыми сосками.

Ободренный этим наблюдением, Уильям приступает к подручному делу с пылом – с пылким желанием изгнать свои горести и разочарования. Он должен найти ответ, понять, как избавиться от страданий, для этого нужно всего лишь пробиться сквозь препоны плоти. И он совокупляется с девушками, неистово и яро, переставая по временам сознавать, что делает,

подобно обуянному бешенством воину, который забывает порой о том, с кем сражается. Но эти-то мгновения и оказываются для него самыми лучшими.

Впрочем, если оставить в стороне такие выходы в запредельность, довольства он не испытывает. Девицы ему попались плохонькие: они и движутся не так, как ему нужно, не те у них формы, не те размеры, не та согласованность; эти шлюхи плющатся под ним, когда он требует, чтобы они держали его вес, пошатываются, когда велит им стоять прочно, морщатся и подрагивают, но не издают, черт бы их побрал, ни звука. И большую часть времени Уильяму кажется, что только он в этой комнате и есть – наедине со своим дыханием, с немного нелепым шелестом подушки, отбрасываемой его ногой по ковру, с безрадостно мелодичным звоном кроватных пружин, с комичным «кха-кха» его аллергического кашля.

Вину за это Уильям целиком возлагает на Клэр и Алису. Разве в прошлом не проводил он с проститутками время самое пленительное и радостное? Особенно в Париже. Ах, Париж! Вот где обитает племя женщин, умеющих ублажить мужчину! И Уильям, грузно наваливаясь на двух сумрачных английских девиц, лежащих, притиснувшись грудью к груди, невольно предается воспоминаниям. О том, в частности, дне, в который он, оставив Бодли, Эшвелла и прочих бражничать в «Тупичке», решил отправиться в одиночку на рю Сент-Аквин. По странной игре случая, бог ведает как (нализался он тогда до одурения), путь Уильяма завершился в комнате, наполненной на редкость дружелюбными шлюхами. (А есть ли на свете что-нибудь более упоительное, чем смех юных хмельных женщин?) Так или иначе, Уильям, вдохновленный их шумной вульгарностью, придумал забавную эротическую игру. Девушки сидели вокруг него на корточках, широко раздвинув ноги, а он, пребывавший в центре круга, бросал, спокойно и метко прицеливаясь, монеты в их щелки. Правило было такое: если монета застревала, девушке дозволялось оставить ее себе.

Годы, прошедшие после той замечательной ночи, не замутили ни картин ее, ни звуков: он и сейчас словно слышит раздававшиеся вокруг него экзотические смешки и восклицания: *«Ici, monsieur! Ici!»*¹⁸ Ах! подумать только, в самый этот миг те девушки, быть может, валяются без всякого дела на рю Сен-Аквин, а он надрывается здесь, в сотнях миль от них, силясь выжать хоть унцию энтузиазма из скучных английских подделок.

– Постарайтесь сделать для меня все самое лучшее, – понукает он Клэр и Алису, разделяя их прижатые одно к другому тела и замечая на липких торсах каждой красноватые отпечатки ребер товарки. Он вертит обеих, вертит и вертит, словно в надежде сыскать отверстие, до сей поры не замеченное прежними их гостями. Вожделение его становится почти лунатическим; голосом, в котором он сам едва узнает свой собственный, Уильям требует все больших непотребств, и девушки подчиняются ему, точно вымыслы его же тягучего сна.

И стало быть, он почти уж не сознает, что говорит, когда, сжав запястья Алисы, отдает ей приказ, исполнение коего преобразило столь многие жизни.

Девушка качает головой:

– Я такого не делаю, сэр. Простите.

Уильям выпускает ее запястья, одно, потом другое. Алиса заправляет рукой, которая первой получила свободу, прядь волос за ухо. Уильям взмахом пальца возвращает ее обратно на щеку.

– Что значит, ты такого не делаешь? – Он переводит взгляд с Алисы на Клэр, которая, поняв, что испытание завершилось, уже успела украдкой накинуть на плечи ночную рубашку.

– Я тоже такого не делаю, сэр.

Лишившийся от негодования слов, Уильям упирается кулаками в свои голые колени. Кровь, отхлынув снизу, заливают краснотой его шею и щеки.

¹⁸ «Сюда, месье, сюда!» (фр.)

– Мы бы сделали, коли б могли, сэр, – говорит Алиса, снова присаживаясь рядом с Клэр на кровать. – Да только мы не можем.

Уильям, точно во сне, тянется за штанами.

– Странно, – произносит он, – что вы провели границу здесь, а не... ну, не где-то еще.

– Мне так жаль, сэр, – отвечает женщина постарше (ибо таковой она с очевидностью и является). – И Клэр тоже, я знаю. Понимаете, это совсем никак не относится к вам, сэр. Честное слово, мы ни для кого такого не делаем. Просто нам это так неприятно, нас бы стошнило, сэр, и какое ж вам было б от этого удовольствие?

– Да, но я вовсе не стал бы винить вас за это, о нет, – настаивает уловивший проблеск надежды Уильям. – Да оно и не важно. А после вам делать совсем ничего не придется, только это, и можете, если хотите, закрыть глаза.

Лица девушек некрасиво кривятся от смущения.

– Прошу вас, сэр, – с мольбой произносит Алиса, – не заставляйте нас, мы просто не можем этого, вот и все, и нам очень жаль, что мы так вас обидели. Все, что мы можем, сэр, это назвать вам имя – имя девушки, которая сделает все, о чем вы попросите.

Рассерженно одевающийся Уильям занимается в этот миг поисками запропавшейся куда-то подвязки, и оттого ему кажется, что он неправильно расслышал Алису.

– Как-как?

– Я могу сказать вам, кто это сделает, сэр.

– И кто же? – Он чопорно садится, готовый дать выход гневу в ответ на очередное вранье потаскухи. – Какая-нибудь сгнившая от сифилиса карга из Бишопсгейта?

Алиса конфузится, и, похоже, искренне:

– О *нет*, сэр! Первоклассная девушка и работает в таком хорошем доме – на Силвер-стрит, сэр, совсем рядышком с Променадом. Ее Мадам, миссис Кастауэй, говорит, что она лучшая девушка дома. Она родная дочь Мадам, сэр, а зовут ее Конфеткой.

Уильям уже полностью оделся и овладел собой: теперь он похож на филантропа либо пастора, пришедшего сюда, чтобы понудить этих девушек на поиски лучшей жизни.

– Если... если это девушка высшего класса, – резонно осведомляется он, – почему же она соглашается... соглашается делать такое?

– Нет вообще *ничего такого*, чего Конфетка не делает, сэр. *Ничего*. Всем известно, сэр, если у кого особые вкусы, которых обычная девушка удовлетворить не умеет, пусть идет к Конфетке.

Уильям фыркает, выражая угрюмое недоверие, но, сказать по правде, имя девушки произвело на него впечатление.

– Ну хорошо, – устало улыбается он. – Не сомневаюсь, я буду чрезвычайно благодарен тебе за этот совет.

– О, надеюсь, сэр, так и случится, – отвечает Алиса.

Одинокое стоящий в смрадном проулке за борделем Уильям стискивает кулаки. Он зол не на Клэр с Алисой, нет, они уже прощены и наполовину забыты, отправлены, точно ненужный хлам, на темный чердак, куда Уильям больше никогда не заглянет. А вот разочарование осталось с ним.

«Я не должен мириться с отказами», – произносит он вслух... ну почти вслух. Слова громко звучат в его голове, повисают на кончике языка, удерживаемые лишь опасением: если он громкогласно объявит: «Я не должен мириться с отказами» – в проулке, выходящем на Друри-лейн, это может привлечь к нему насмешливое внимание грубиянов-прохожих.

Уильям с ослепительной ясностью сознает: нужно отправиться напрямик на Силвер-стрит и потребовать Конфетку. Он в городе, она в городе, время самое подходящее.

Можно даже на кеб не тратиться: доехать омнибусом до Нью-Оксфорд-стрит, пересесть на другой, идущий до Риджент-стрит, – и он почти у цели!

Рэкхэм трогается с места, поспешая на Нью-Оксфорд-стрит, и – как если б вселенную поразила, нет, напугала абсолютная мощь его решимости – почти сразу появляется омнибус, в который он забирается, даже не сбавив шага.

«Миссис Кастауэй. Конфетку. Подать сюда Конфетку – и никаких отговорок».

Однако, пока он сидит в омнибусе, вглядываясь сквозь крапчатые от сажи окна в движущуюся панораму почтенной улицы, решимость его ослабевает. Начать с того, что оплата проезда напомнила Уильяму, какие немалые деньги он уже отдал за новую шляпу (не говоря о расходе помельче – на Алису и... как же ее звали, вторую-то?). И потом, откуда ему знать, сколько может стоить девушка вроде Конфетки? Выбор «домов» на примыкающих к Голден-Сквер улицах богат, одни из них пышны, другие убоги. А вдруг эта девица потребует больше того, что есть у него с собой?

Уильям вглядывается в сидящих напротив него пассажиров – в дремлющих старых ископаемых и расфуфыренных матрон – и отмечает, насколько ярче и реальнее выглядят они в сравнении с размазанным миром, плывущим за оконными стеклами. Есть ли у него, в сущности, какой-либо выбор, или он должен остаться в этом омнибусе, пассажиром среди пассажиров, пока кони не донесут его до самого Ноттинг-Хилла?

И действительно, не пора ли возвращаться домой? Его ожидает там дело решительно неотложное, обязательства, заслуживающие внимания много большего, нежели скрытый уголек похоти, распалившийся в глубине его существа. Эта Конфетка, кем бы и чем она ни была, может лишь усугубить бедность Уильяма, между тем как несколько часов, достойным образом проведенных им в кабинете, способны спасти его от краха.

Погруженный в размышления, он незряче смотрит прямо перед собой и вдруг замечает отвечающую ему взглядом на взгляд вдовицу с красновато-лиловым лицом. «Какой невоспитанный джентльмен!» – похоже, думает она. Пристыженный ее порицанием, Уильям понуро свешивает голову и стоически не поднимается с места, даже когда омнибус, погромыхивая, минует Риджент-Серксу. Довольно на сегодня сумасбродств, достоинство свое он уже утвердил. И Уильям, откинувшись на спинку сиденья, закрывает глаза и до конца пути погружается в дремоту.

«Угол Чепстоу-Виллас!» – переливисто извещает кондуктор. Уильям, вздрогнув, возвращается к бдению. Мир позеленел, дома проредились. Перед ним дремлет в сиянии после-полуденного солнца Ноттинг-Хилл. Лондон скрылся из глаз. Помаргивая и пошатываясь, Уильям сходит с омнибуса по пятам за леди, которой не знает. Собственно говоря, он, втянутый в кильватерный след ее юбки в черно-терракотовую полосу, едва в эту леди не врежется. В обстоятельствах более благоприятных он мог бы, пожалуй, найти ее соблазнительной, однако дом слишком близок, а Уильям все еще вожделеет Конфетку.

– Прошу прощения, мадам, – произносит он, обходя подвигающуюся черепаший шаг леди.

Леди отвечает ему взглядом гневным – таким, точно он дурно с ней обошелся, однако Уильям полагает, что второе извинение будет излишним. Должен же существовать какой-то предел для допускаемой терпеливым мужчиной почти неуследимой скорости, с которой ползают женщины.

Уильям идет вдоль длинной, богато изукрашенной ограды парка, личным ключом от которого он, один из немногих, владеет. Где теперь этот ключ, он не помнит; ныне Уильям больше уж не обращает внимания на бледные цветы, вечнозеленые растения и мраморные фонтаны, которые столь чарующе играют за коваными прутьями ограды. О, разумеется, в самом начале, когда Агнес еще пребывала в добром здравии, он нередко прогуливался с ней

по этому парку, дабы показать супруге, до чего же хорош, несмотря ни на что, Ноттинг-Хилл, однако сейчас...

Уильям замедляет шаг, поскольку красивое здание, которое виднеется впереди, это дом Рэкхэма – его собственный, если так можно выразиться, дом, – где Уильяма ждет весьма непростая жена, ждут неблагодарные слуги, ждет грома неудобочитаемых документов, от коих (как это оскорбительно!) зависит все его будущее. И Уильям, тяжело вздохнув, направляется к дому.

Еще не успев вступить в свои владения, он натывается на препятствие, ибо перед калиткой парадных ворот сидит пес – не очень, надо признать, большой, – напряженно и бдительно выпрямившийся, словно взявшийся по собственной воле исполнять должность привратника. Пока Уильям приближается, пес виляет хвостом и кивает. Дворняга, разумеется. Все порядочные собаки сидят по домам.

– Убирайся! – рявкает Уильям, однако пес не двигается с места.

– *Убирайся!* – снова рявкает Уильям, но животное эта не то упряма, не то сбилась с толку, не то попросту глупа. Да и кто может знать, что творится в собачьем мозгу? (Ну, вообще-то говоря, Уильям, еще обучаясь в Кембридже, опубликовал монографию «Барбосы и балбесы: описание различий». Впрочем, часть этой книги написал Бодли.) Уильям приоткрывает калитку и торопливо проскальзывает в нее, успев попутно отшвырнуть пса в сторону ударом этой большой, висящей на петлях металлической решетки.

Получив такой отпор, не допущенный внутрь пес оскорбляется. Он бросается на калитку, скребет когтями ее кованые кольца и громко лает в спину Уильяму, поднимающемуся по дорожке к своей парадной двери.

Эти последние несколько шагов возвращения домой изнуряют его пуще, чем весь остальной путь. Лужайка по обе стороны от дорожки не подстригалась уже несколько месяцев. Проезжая дорога поместья, ведущая к каретному сараю, в котором нет кареты, и к конюшне, в которой нет лошадей, лишь напоминает Уильяму о сизифовых трудах, ожидающих его впереди.

И все это время без устали гавкает пес.

Входной двери надлежит открываться после первого же звонка дверного колокольчика – особенно если это дверь твоего дома. Заветы подобного рода следовало бы, черт возьми, татуировать на больших пальцах прислуги, дабы она крепче их помнила. И тем не менее, лишь когда Уильям в третий раз поднимает руку, чтобы дернуть за шнурок колокольчика, в проеме двери появляется наконец личико Летти.

– Добрый день, мистер Рэкхэм, – лучезарно улыбается она.

Уильям проскальзывает мимо, подавляя желание выбрать ее, пока она не успела пожаловаться, оправдывая промедление, на тягостность ее новых обязанностей. (Впрочем, от Летти подобных жалоб никто покамест не слышал, и Уильяму следовало бы питать к ней признательность за ее овечью покладистость, а не путать таковую с брюзгливой снисходительностью Клары.)

Пока Рэкхэм устало тащится к лестнице, улыбка Летти гаснет: она в который раз не угодила хозяину. Он так хвалил ее, когда Тилли отказали от места, однако с того времени... Летти прикусывает губу и, стараясь произвести по возможности меньший шум, закрывает дверь.

В сущности говоря, как бы она ни усердствовала, порадовать Уильяма ей все равно не удастся. Новое положение Летти обратило ее из человеческого существа, пусть и принадлежащего к низшему разряду, в ходячее, дышащее больное место. От того обстоятельства, что до изгнания Тилли в доме имелась и верхняя горничная, и прислуга внизу, а теперь на все про все осталась одна только Летти, деться попросту некуда. И это, как хорошо сознает Рэк-

хэм, социальная арифметика, понять которую способен даже ребенок, – и какой же в таком случае вывод следует сделать ему из веселых улыбочек этой служанки? А вот какой: либо она глупее ребенка, либо попросту притворяется.

Разговаривая с Летти, Уильям всякий раз вспоминает слова ободрения, с которыми он обратился к ней, когда объяснял, на какую ногу будет отныне поставлен дом, – вспоминает, как настаивал на том, что ей привалило редкостное счастье, «повышение» с добавкой целого фунта к жалованью, тем паче что «эта греховодница Тилли» не делала ничего такого, с чем Летти не могла бы управиться лучше ее. И в конце концов, разве не легче стало теперь вести дом Рэкхэмов – теперь, когда хозяина в нем застаешь редко, а хозяйка покидает постель еще реже? (Экая дичь! Однако Летти, похоже, все сказанное им приняла за чистую монету – и до чего же Уильям, хоть он и испытал облегчение, презирает ее за это!)

Итак: *вот* по какой причине Уильям не требует объяснений нерасторопности, с которой Летти откликнулась на звон дверного колокольчика.

(А *вам* все-таки хочется их получить, верно? Нет, она не дремала, не сплетничала, не крала из буфетной еду. Дело попросту в том, что, когда звон колокольчика доносится до служанки, занятой чисткой камина, ей приходится вымыть руки, расправить закатанные рукава и только потом сбежать по двум лестничным маршам, а с таким количеством дел меньше чем за две минуты не справишься.)

Впрочем, если вдуматься, наш Рэкхэм человек не такой уж и нерассудительный. В глубине своей сокрушенной души он отличнейшим образом сознает, что требовать от слуг проворства можно лишь в доме, который забит ими по самые стропила, отчего и заняться каждому из них особенно нечем. Летти, если учесть все обстоятельства, с работой справляется хорошо и, по крайней мере, всегда улыбается хозяину.

Пожалуй, когда дела пойдут на лад, он оставит ее в доме.

А тем временем он почти уж привык к тому, что расторопности ожидать от прислуги не приходится. В последнее время Уильям даже взял на себя выполнение разного рода лакейских обязанностей – он сам раздвигает шторы, открывает окно, добавляет в камин дрова. В трудную пору жизни каждому надлежит вносить свою посильную лепту.

Вот и сейчас Уильям подкармливает огонь в камине курительной. Он, собственно, вызвал для этого Клару, однако и та являться на зов не спешит, а Уильяму необходимо побыстрее согреться. И он бросает в пламя вязанку хвороста. Дело, в сущности, вовсе не хитрое. Настолько, собственно говоря, нехитрое, что остается только дивиться – почему треклятые слуги не исполняют его, черт их совсем побери, почаще?

Появившаяся наконец-то Клара застает его сидящим в излюбленном покойном кресле, утомленно откинув голову на покрывающую подголовье кресла салфеточку и успокаивая расхолодившиеся нервы сигарой. Руки Клары с наигранной скромностью сложены на новой, двадцати дюймов в обхвате талии, а вид у нее такой, точно ей очень и очень есть что скрывать.

– Да, сэр? – Тон Клары холоден и несколько надменен. Она уже отрепетировала находчивый ответ на строгое: «Откуда у вас эта талия?» – несколько ненатуральную историю о никогда не существовавшей на свете племяннице.

Однако Уильям просто спрашивает: «Как нынче миссис Рэкхэм?» – и отводит взгляд в сторону.

Клара сцепляет руки за спиной, точно школьница, вознамерившаяся продекламировать стишок.

– Ничего необычного, сэр. Читала книгу. Потом журнал. Немного вышивала. Один раз попросила принести ей чашку какао. В остальном же она пребывает в совершенном здравии.

– В совершенном здравии... – Уильям приподнимает брови, глядя в общем направлении книжных полок, с которых кто-то без особого усердия стер пыль. Чего уж тут удивляться

словам Агнес о том, что она доверяет Кларе свою жизнь. Эта парочка, вступившая во враждебный всем прочим женский сговор, соорудила теорию, согласно которой вина за упадок дома Рэкхэмов лежит не на его хозяйке – ибо разве она не аристократка, пребывающая в совершенном здравии? – но единственно на ее безвольном, страшащемся предназначенной ему участи муже. О нет, в маленькой, идеальной женщине с верхнего этажа никогда и ничего неподобающего не отмечалось, а между тем жестокий, никчемный муж настоятельно требует каждодневных отчетов о ее поведении. Уильям словно видит сейчас Агнес, вносящую свою малую лепту в поддержание этой лжи, видит ее сидящей в постели – миниатюрное личико изображает невинность, она читает «Великие мысли в простом изложении для юных леди» или иную какую-то книгу того же рода, пока он, корень всех зол, просиживает здесь свое засаленное кресло.

– Что-нибудь еще? – кисло спрашивает Уильям.

– Она говорит, сэр, что доктора нынче видеть не желает.

Уильям отстригает кончик новой сигары, щелчком пальца отправляет его в камин:

– Доктор Керлью придет сегодня с обычным его визитом.

– Очень хорошо, сэр. А вы, сэр, бесхребетный дурак, и это единственная причина болезни вашей жены.

Впрочем, нет. На самом деле последней фразы Клара не произнесла. Во всяком случае, вслух.

Время, оставшееся до обеда, Уильям коротает за чтением книги. Почему бы и нет? Не может же он приступить к разбору документов компании Рэкхэма, когда его того и гляди позовут в столовую, не так ли?

Книга, им выбранная, называется «Подвиги закаленного путешественника, или Вокруг света за восемьдесят соитий». Когда Летти входит в курительную, чтобы зажечь в ней огонь, Уильям не делает попытки спрятать или даже прикрыть книгу. Летти и собственное-то имя едва способна написать, а уж сложные слова наподобие «мясистые ядра» или «вздыбленный член» для нее и вовсе тайна за семью печатями.

Вы видите их, Уильяма и Летти, оказавшихся вместе в курительной, и гадаете, не ожидает ли вас сцена из моралистической драмы, повести Сэмюэля Ричардсона о растлении и гибели, ибо Летти – служанка, лишенная возможности и защищаться, и обратиться за помощью к закону, – в комнате она со своим господином одна, а тот читает книгу, способную распалить хоть кого. Тем не менее, покончив со своим делом, она покидает курительную нимало не пострадавшей, ибо для погруженного в чтение Уильяма она в этот миг – лишь приспособление, посредством которого зажигаются лампы, не более живое, чем провода и выключатели ваших светильников.

Уильям же продолжает чтение с безразличием, которое часто подделывают вникающие в порнографические картинки мужчины. Мысленным взором он усматривает в себе истинный портрет восседающей в кресле шаловливой искушенности, и все-таки в нем бьется пламя маленького костра, обращающее слова, по которым скользит бесстрастный взгляд Уильяма, в дымящийся трут, слепленный из кусков человеческих тел.

– Кушать подано, сэр, – извещает его служанка, и Уильям, закрыв книгу, прижимает ее к лону, отчасти для того, чтобы приласкать себя, отчасти, чтобы пригасить разгулявшуюся похоть.

– Сейчас.

Сидя в конце длинного, изготовленного из красного дерева обеденного стола, Уильям смакует первый кусочек одного из тех превосходных блюд, на которые столь горазда его Стряпуха (ах, надолго ли их еще хватит?). Она подлинное сокровище, единственная в доме

женщина, в чьей великой ценности сомнений с самого первого дня, в который Уильям нанял ее, не возникало ни разу. Уведомить ее о том, что в дальнейшем филей придется готовить пореже, ему будет трудно. В особенности оттого, что, по чести говоря, сообщать такие новости обязана хозяйка дома.

Уильям бросает взгляд вдоль стола, вдоль мерцающего, устланного белой тканью пути, который ведет к другому его концу, пустующему. Как обычно, на том конце разложены для миссис Рэкхэм – на случай, если она сможет сойти к столу, – столовые приборы, расставлены бокалы и поблескивающие тарелки. На кухне еще сохраняется для нее немалая часть теплой и сочной куриной тушки. Уильям удовольствовался одним лишь бедрышком и ножкой.

Вскоре после обеда в доме Рэкхэма появляется доктор Керлью. Уильям, снова устроившийся в курительной, смотрит на свои карманные часы, желая измерить время, которое пройдет между звоном колокольчика и звуками, указывающими, что доктора впустили в дом.

«Лучше, – думает он. – Лучше».

Далее слышится скрип лестничных перил – доктор Керлью поднимается в комнату Агнес. А затем из вечера словно вырезается скальпелем безмолвная четверть часа.

Следом доктор заведенным еженедельным порядком навещает в курительной Уильяма. Он направляется прямоком к определенному креслу, зная, что оно здесь самое твердое и упругое. Вялость в любом ее обличье доктору ненавистна.

Необычайно высокий, но без костлявости, доктор производит впечатление внушительное, – кажется, что тело его увеличилось с ходом времени в размерах, дабы вместить накопившийся опыт. Длинное, крепколобое лицо доктора, темные глаза, аккуратно подстриженные голова, борода и усы, строгая и притом броская манера одеваться сообщают его облику аристократичность большую, нежели та, какой может похвастаться Рэкхэм.

К тому же он весьма знающ – на визитной карточке доктора за именем его следует множество аббревиатур. Вот вам только один пример: он может за десять минут вскрыть на предмет анатомического исследования беременную крольчиху и может, если потребуется, с наименьшим успехом зашить ее. Среди терапевтов, по крайней мере, он пользуется славой знатока женских болезней.

Задумчиво попыхивая одной из сигар Уильяма, доктор несколько минут высказывается как раз на эту тему – применительно к жене хозяина дома. Воздух курительной наполнен табачным дымом и спиртными парами, и потому вас вполне можно простить за то, что вы утрачиваете нить рассуждений достойного доктора. Советую, однако ж, не пропустить мимо ушей вывод, к которому он приходит:

– Я готов признать, что сейчас она пребывает в ясном сознании и большими неприятностями вам не грозит. Подозреваю, что улучшение это есть следствие времени месяца. Но я совершенно уверен: нам ни в коем случае не следует убаюкивать себя надеждой на то, что нового рецидива не будет. Напротив, я ожидаю его в самом скором будущем. С каждым моим визитом я все более отчетливо вижу, какие усилия приходится ей прилагать, чтобы держать себя в строгих рамках. Тут как со рвотой, в конце концов она накапливается в таких количествах, что удержать ее в себе становится уже невозможно. Положение опасное. Для всех. – Керлью выдерживает паузу, желая, чтобы Уильям проникся серьезностью дальнейших его слов. – И должен подчеркнуть, мой дорогой Рэкхэм, что вы по-прежнему выказываете безошибочно узнаваемые признаки душевного перенапряжения.

Уильям усмехается:

– Возможно, доктор, я просто пытаюсь выдерживать общий дух нашей семьи.

Керлью нетерпеливо хмурится, снимает одну ногу с другой. Он знает хозяина дома так хорошо, что может позволить себе не чиниться с ним.

– Это не шутки, друг мой, – говорит он, наклоняясь к Уильяму. – Уж вы-то должны понимать, что душевные расстройства мужчины никакого отношения к натуре его не имеют. Каждому человеку положены свои пределы. И когда страдания становятся непереносимыми, безумие наносит удар – и заметьте, я сказал «удар», поскольку нередко все происходит вдруг и необратимо. У вас нет матки, которую можно удалить, если положение станет нештучным, – ради бога, не забывайте об этом.

Уильям возводит глаза к потолку, изыскивая способ прервать неприятный ему разговор.

– Не думаю, что дальнейшее присутствие жены в доме способно прямо сейчас довести меня до безумия, доктор. Возможно, замеченное вами перенапряжение – это всего лишь... усталость.

– Мой дорогой Рэкхэм, – говорит доктор, словно различив за отважной ложью Уильяма пугающую правду. – Я понимаю – разумеется, понимаю, – что отправка Агнес в приют душевнобольных чревата для вас страданиями и муками совести. Но поверьте мне: я видел немало мужей, которым приходилось решаться на этот мучительный шаг. И решившись, они испытывали облегчение, которого никакими словами не опишешь.

– Ну, надо полагать, слова у них все-таки находились, – сардонически замечает Уильям. – Как-то же они вам о нем рассказали.

Доктор Керлью неодобрительно щурится. Эти господа с литературными претензиями слишком умны себе же во вред – падки до казуистики, но неспособны разглядеть то, что происходит под самым их носом.

– Обдумайте то, что я вам сказал, – говорит он, поднимаясь из кресла.

– О, разумеется, разумеется, – заверяет его Уильям и тоже встает. Так и не придя ни к какому соглашению, они пожимают друг другу руки, при этом Уильям стискивает пальцы Керлью как только может крепко, желая показать, что человек он вовсе не слабый.

Но довольно об этом. Сколько же может Уильям разочаровывать тех, кто за ним наблюдает? Не такой уж он и бесхарактерный, как полагают все они! И Уильям, верный принятому им прежде решению, наконец поднимается по лестнице в свой кабинет, где лежат, ожидая его, документы компании «Парфюмерное дело Рэкхэма». Пришло время взять быка за рога.

Усевшись за письменный стол, Уильям один за другим берет желтой бумаги конверты за украшенные печатями уголки и вытряхивает из них содержимое. И пока он вглядывается в образовавшиеся перед ним кучки бумаг, у него вызревает план: он будет брать документы один за другим, не соблюдая никакого порядка, и просматривать их так быстро, как только получится. Все, что ему требуется, это туманное понимание того, на чем держится дело. Неопределенное представление все же лучше, чем никакого. Вязнуть в подробностях – занятие пагубное; самое правильное – прочесть все, пусть даже половины и не поняв, ухватить самую суть. В школе он справлялся с задачами и посложнее, не так ли?

Уильям берет из ближайшей к нему кипы верхний документ и приступает к чтению. Настроение у него самое скверное, он ждет и не может дождаться, когда эта бумажка начнет изъясняться удовлетворительно. Какое, однако, пугающее обилие слов... Кто бы мог подумать, что старик знает их столько? И многие к тому же написаны с ошибками – как это неприятно! Однако хуже всего другое: возможно ли, чтобы такое обилие имен существительных вызывало в воображении так мало картин? Возможно ли, чтобы такое обилие глаголов навредило на мысль о столь немногих заслуживающих совершения действиях? Это превосходит всякое разумение. Однако Уильям не сдаётся.

Миновав десяток строк, дойдя до середины одиннадцатой, глаза Уильяма натываются на интересное слово «сочность», вновь обращающее его мысли к женщине с Силвер-стрит,

к Конфетке, к тому, как она, быть может, ахнет, услышав, что ему требуется. Да пусть ее ахает, лишь бы сделала! В конце концов, что она...

Однако он отвлекся. Глубоко вздохнув, Уильям вновь обращается к началу документа, на сей раз мысленно прочитывая каждое слово вслух.

Обароты упали с прошлого года на 15 %. Многие не руш. в основе своей, но осып. Заказано у Копли 4 гросса. Наил. хватило на 60 из 80 акров.

?Купить у Копли еще наил.? Доброе имя Рэкхэма. Ясно будет по первым галлонам. Сушильне нужна новая крыша —? В субботу после полудня если рабочие согласятся. Слух о праныре из тред-юниона.

Цена навоза выросла на 2 %.

Дойдя до этого места, Уильям выронил лист, и тот упал между его колен на пол. Этот свод нечистых стратагем, эта интимная близость к навозу — ему их не вынести, он должен освободиться от них.

И все-таки выхода у него нет. Отец сказал, что если он не хочет возглавить империю, то волен искать себе другую работу — или же поразить всех и всякого неожиданным успехом в одном из тех «джентльменских» занятий, о которых он так много рассуждает.

Уязвленный этим воспоминанием, Уильям внутренне препоясывается для новой попытки взять документы Рэкхэма штурмом. Быть может, дело не в содержании их, а в загадочных отцовских сокращениях. И если уж бумаги твои должны заполняться бессвязными каракулями, так нельзя ли хотя бы писать чернилами черными, а не бледно-синими и блекло-коричневыми? Или порядочные чернила обошлись бы старому скопидому на девять пенсов за галлон дороже?

Уильям роется в бумагах и, добравшись до самого низа, обнаруживает нечто, представляющее ему документом более основательным: солидно переплетенную брошюру. К его изумлению, документ этот оказывается «Новым лондонским жуиром. Путеводителем для мужчин с полезными советами начинающим». Так вот где он скрывался!

Уложив его на колени, Уильям переворачивает «Путеводитель», раскрывает его. В конвертике на задней обложке еще сохранилась полудюжина презервативов из коровьих кишок. Они уже пересохли, бедняжки, и походят ныне на плоские засушенные листья или цветки. А ведь в лучшую его пору, во Франции, они составляли предмет ежедневной необходимости. Проститутки настаивали на их использовании — дружески, но непреклонно. *«Mieux pour vous, mieux pour vous»*¹⁹. Ах эти женщины, эти времена! Как далеко, как давно.

Уильям листает страницы. Он пропускает раздел «Свиные ножки» (уличные девушки), перепархивает через «Окорочка» (самые дешевые бордели). Последний раздел, «Филейчики», трактует о заведениях, кои ему не по карману, — от гостя в них ожидают, что он, помимо прочего, будет заказывать наилучшего качества вина. По счастью, «Дом миссис Кастауэй» значится в разделе «Вырезка (для умеренных транжир)».

Заведение сей Достойной Леди отличается порядочным Выбором Прелестниц — мы говорим о мисс Лестер, мисс Хаулетт и мисс Конфетке. Всех этих Дам можно заставить в их доме сразу после полудня; а начиная с шести часов вечера они имеют обыкновение навещать «Камелек» — скромное, но веселое пристанище Ночных Гуляк — и всегда готовы покинуть его по взаимному соглашению с любым достойным Кавалером.

Мисс Лестер рост имеет средний и обладает...

Махнув рукой на мисс Лестер, Уильям переходит сразу к:

Мы можем предполагать, что «Конфетка» — это не то имя, какое наша третья Леди получила при крещении, однако ныне она с гордостью носит его, если, конечно, не отыскивается мужчина, желающий перекрестить ее заново. Она — истовая Поборница

¹⁹ «И нам спокойней, и вам спокойней» (фр.).

любых известных наслаждений. Единственная ее цель состоит в том, чтобы избавить взыскательного Знатока от стеснения и сколь возможно Превзойти все его ожидания. Ее украшают огненно-рыжие волосы, спадающие, когда она распускает их, почти до талии; карие, редкостной проникновенности очи и пусть не лишнее угловатости, но достаточно грациозное тело. Особенно совершенна она в Искусстве ведения Беседы, что вне всяких сомнений способно сделать ее достойной спутницей любого Истинного Джентльмена. Единственным же изъяном этой Леди, который, впрочем, представляется Некоторым пикантным достоинством, является то, что Перси ее величиною едва превосходят детские. Она запросит с вас 15 шиллингов, а за гинею сотворит с вами истинные Чудеса.

Уильям нащупывает в кармане жилета часы, достает их, укладывает на ладонь. Долгое время он вглядывается в них, затем смыкает теплые пальцы, укрывая тикающий золотой хронометр в кулаке.

– Пора все же начать, – говорит он себе.

И тем не менее часом позже Летти, встревоженная громким, непонятно кем издаваемым, нарушающим спокойствие ночи храпом, входит на цыпочках в кабинет и обнаруживает Уильяма заснувшим в кресле.

– Мистер Рэкхэм? – тихо-тихо шепчет она. – Мистер Рэкхэм?

Он храпит, свесив по сторонам кресла большие бледные кисти рук, золотистые волосы его взлохмачены и спутаны, как у уличного сорванца. Летти, не понимая, как ей поступить, на цыпочках удаляется. Видать, хозяин нынче перетрутился.

Глава пятая

На следующий вечер Уильям выходит на Силвер-стрит из кеба, готовый перешагнуть порог своей судьбы и предъявить права на то, что сокрыто за ним. Именно в этот миг и начинаются его мытарства.

— Дак я этих местов, почитай, и не знаю, — говорит кебмен, когда Уильям спрашивает, где тут дом миссис Кастауэй. — Небось на задуг всех этих домищ.

И кебмен широко поводит кнутом вдоль улицы, оживленной, заполненной людьми самого разного разбора, но лишенной и огромных плакатов, извещающих о местонахождении «Дома миссис Кастауэй», и мужчин, обремененных рекламными щитами с указанием: «К Конфетке — туда». Уильям, намереваясь выразить недовольство, поворачивается к кебмену и обнаруживает, что подлец, получивший плату большую им заслуженной, уже укатил.

Проклятье! Неужели и за деньги невозможно получить ничего воистину стоящего? Неужели за все обещанное необходимо платить царскую... Впрочем, нет, эти мысли уже приходили Уильяму в голову. Где-то совсем рядом его ожидает Конфетка, осталось только выяснить — где?

Силвер-стрит кишит лоточниками, торговцами вразнос и любознательными пешеходами, уклонившимися от Променада к востоку. Уильям прикладывает ладонь ко лбу, дабы определить наиболее верное направление поисков, однако выбрать оное не успевает, поскольку к нему сразу же прицепляется продающий сигары малец.

— Самые лучшие сигары, сэр, два пенни штука, настоящие кубинки, считайте задаром отдаю.

Уильям опускает взгляд — едва ли не себе под ноги — на полдюжины жалкого вида сигар, зажатых в грязных пальцах мальчишки. Вероятность того, что они и вправду контрабандой доставлены с Кубы, а не извлечены из похищенного неким мазуриком портсигара, мала до крайности.

— Сигары мне не нужны. Однако я дам тебе два пенни, если ты скажешь, где тут «Дом миссис Кастауэй».

Обветренное лицо мальчишки кривится от разочарования, порожденного тем, что этих-то прибыльных сведений он и не имеет. Два пенса за здорово живешь, за пустячное указание! И он, собираясь соврать, открывает рот.

— Ладно, ладно, — произносит Уильям. В обществе малых детей и особенно тех, которые чего-то хотят от него, ему всегда становилось не по себе. — Вот тебе пенни.

Он вручает мальчишке монету.

— Благослови вас Бог, сэр.

Растревоженный этой встречей, Уильям, поколебавшись, надумывает обратиться с вопросом к дымящему трубкой прохожему, однако не набирается потребной для этого храбрости и только поеживается. Невозможно же спрашивать каждого, кто проходит мимо, как пройти в публичный дом, — что подумают о нем эти люди? Будь он, как прежде, студентом Кембриджа, будь он сейчас во Франции, будь он беззаботным холостяком, Уильям выкрикнул бы этот вопрос во весь голос, так, чтобы его услышали все, и даже не покраснел бы нисколько. Каким бесстрашным был он тогда! И посмотрите, что сделали с ним нужда и невзгоды супружества! Он торопливо идет по панели, обшаривая — в поисках указаний — взглядом освещенные фонарями фронтоны домов. «Новый лондонский» точного адреса миссис Кастауэй не сообщил, либо полагая, что его должен знать всякий достаточно умудренный человек, либо считая Силвер-стрит невзрачной улочкой, на которой заведение столь недюжинное, как «Дом миссис Кастауэй», блистает подобно перлу на цепочке. А оно вовсе и не блистает.

Уильям замечает в дверном проеме женщину, смахивающую, по его представлениям, на шлюху, – даром, что на руках она держит ребенка.

– Не знаете ли, где здесь дом миссис Кастауэй? – спрашивает у нее Уильям, опасливо озираясь по сторонам.

– Отродясь о такой не слышала, сэр.

Уильям отходит от женщины прежде, чем та успевает сказать что-либо еще, останавливается под фонарем, чтобы взглянуть на часы. Почти шесть: да! он знает, что ему делать, – он пойдет в «Камелек», авось Конфетка, по имеющемуся у нее «обыкновению», окажется там. А не окажется, так, верно, найдется в этом заведении кто-нибудь, знающий, как отыскать миссис Кастауэй. Спокойно, Уильям, здравый рассудок способен разрешить любую проблему.

Он направляется напрямик к ближайшему пабу, вглядывается в вывеску. Не то. Уильям идет дальше – к следующему уличному углу со следующим пабом. Снова не то. Тут он совершает ошибку: останавливается, чтобы почесать в затылке, и немедленно привлекает внимание уличного торговца с пухлым мешком на спине, развеселого старого проходимца, чей обтянутый шерстяной перчаткой кулак щетинится карандашами.

– Отменные карандашики, сэр! – восклицает торговец; рот его наполнен большими, как у осла, зубами, столь черными по краям, что он мог бы в минуты досуга марать бумагу и ими. – Остаются наточенными в семь раз дольше обычных.

– Нет, спасибо, – отвечает Уильям. – Но я дам вам шесть пенсов, если вы скажете мне, как пройти в «Камелек».

– В «Камелек»? – откликается бродячий негодьянт, одновременно и ухмыляясь, и хмурясь. – Слышал о таком, сэр, а как же, слышал.

Он сыпает карандаши в карман пальто и вытаскивает из мешка поблескивающий оловянный поднос, мерцающий овал, похожий на маленький щит римского гладиатора, и поворачивает его так и этак, норовя поймать отражение уличного фонаря.

– Покамест я роюсь в памяти, сэр, может, взглянете на этот чайный подносик, он несколько не хуже серебряного.

– Мне не нужен чайный поднос, – говорит Уильям. – Тем более сделанный из...

– Ну так мамочке вашей сгодится, сэр. Подумайте, как загорятся у ней глаза, когда она эту штуку увидит.

– Нет у меня никакой мамочки, – раздраженно отвечает Уильям.

– Мамочка, сэр, она у всякого есть, – ухмыляется негодьянт, словно желая просветить блаженного дурня, не знающего, откуда берутся дети.

Уильям немеет от возмущения – мало того, что этот урод полагает, будто он имеет дело с человеком, способным заинтересоваться содержимым его паршивого мешка, ему еще и сведения о семье Уильяма подавай!

– Давайте так, – ухмыляется старый прохвост, – вы купите у меня карманную расческу. Из лучшего металла Британии.

– Расческа у меня есть, – говорит Уильям и ощущает себя униженным, увидев, как торговец в ответ на это удивленно возводит брови. – Чего у меня нет, – рычит он, чувствуя, как под непокорными волосами его в череп словно впиваются иголки, – так это достоверных сведений о том, как найти «Камелек».

– Так я все еще думаю, сэр, все еще думаю, – заверяет его старый мерзавец, запихивая подносик в мешок и до самой подмышки окуная туда же искательную руку.

А это еще что такое? Благие Небеса, начинается дождь! Большие тяжелые капли валятся с неба, ударяя в плечи Уильямова пальто так, что брызги летят ему на подбородок и в уши, – и он вдруг понимает, что, спеша к заветной цели, оставил в кебе почти еще новый

*parapluie*²⁰, который кебмен, разумеется, не преминет продать, как только выдастся у него свободная минута. И в душе Уильяма мгновенно воцаряется мрак отчаяния: это Рок, Господня воля – дождь, потерянный зонт, враждебное безразличие незнакомой улицы, издевки чужих людей, упрямая жестокость родного отца, мерзкая боль в плече – оттого, что он провел половину ночи спящим в кресле...

(Человек воистину современный, Уильям Рэкхэм являет собою то, что можно назвать суеверным христианским атеистом, а именно, верует в Бога, который, быть может, и не отвечает больше за восходы солнца, сохранность Королевы или подачу хлеба насущного, но все же, когда что-то идет вкривь и вкось, первым оказывается на подозрении.)

К Уильяму приближается еще один привлеченный запахом неосуществленных желаний уличный продавец.

– «Камелек»! – восклицает он, отпихивая локтем старого негодяя. На этом, новом, обвислая серая куртка и вельветовые штаны, скорбную главу его венчает обмахившийся котелок. – Дозвольте помочь вам, сэр!

Уильям бросает взгляд на его товар: собачьи ошейники, целая дюжина их застегнута на его потертом сером рукаве. Проклятье, неужели для того, чтобы узнать дорогу, необходимо купить собачий ошейник?

Однако...

– Вам вон туда, сэр, – говорит продавец. – Значит, пройдете всю Силвер-стрит, а там увидите пивоварню «Лев», это на Нью-стрит. Потом повернете... – он поочередно сжимает кулаки, вспоминая, где левый, а где правый, и ошейники соскальзывают к его узловатому запястью, – направо и попадете на Хасбэнд-стрит. Вот там оно и есть.

– Благодарю вас, друг мой, – говорит Уильям, протягивая ему шестипенсовик.

Продавец ошейников прикасается к котелку и отходит, однако невезучий его коллега, откопавший наконец в мешке нечто не очень крупное, остается на месте.

– Вы похожи на делового джентльмена, сэр, – стрекочет он, – может, желаете дневничок на каждый день приобрести? На тысяча восемьсот семьдесят пятый год, сэр, который налетает на нас, что твой паровоз. Назади у него календарик, сэр, и ленточка золотая, за место закладки, в общем, чего от дневничка ни требуется, все тут в наличии, сэр.

Уильям, словно не слыша его, удаляется по Силвер-стрит.

– А вот отменные ножнички, сэр, хоть самого себя на кусочки режьте! – кричит вслед ему негодяй.

Наглые эти слова, ударив в спину Уильяма, спадают с нее, точно капли дождя. Теперь его уже ничем не проймешь. Уильям, вступивший наконец на правильный путь, воспрянул духом. Мир в конце-то концов снизошел до дружеской услуги. Свет становится ярче, Уильям слышит музыку, обращаемую ветерком в невнятный мелодический перезвон. С одной стороны до него доносятся крики уличных торговцев, с другой – обрывки оживленных разговоров. Он видит в пронизанной газовым светом мороси промельки подобранных спешащими женщинами юбок, он обоняет ароматы жаркого, вина и даже духов. Растворяются и закрываются, растворяются и закрываются двери, и из каждой летят всплески музыки, вспышки оранжево-желтых празднеств, муть табачного дыма. Теперь он найдет дорогу, он не сомневается в этом: Бог сжалился над ним. Вчера Уильяма Рэкхэма унизили две шлюшки с Друри-лейн – сегодня он вырвет победу из когтей поражения.

Да, но что, если и Конфетка откажет ему?

«Убью» – это первое, что приходит Уильяму в голову.

И его немедля пронизывает стыд. Какая подлая, недостойная мысль! Неужели стрекало страданий довело его до такой низости? До помыслов об убийстве? По природе своей он

²⁰ Зонт (фр.).

человек мягкий, сострадательный: если эта девушка, Конфетка, ответит отказом, значит так тому и быть.

Но он-то что будет делать, если она откажет? Что он может? Где найти женщину, которая совершит то, что ему требуется? О том, чтобы бродить по улицам Сент-Джайлса, нечего и думать – какой-нибудь громила непременно проломит ему там голову. Нечего думать и о том, чтобы слоняться после наступления темноты по парку, в котором стареющие дриады практикуют гнуснейшие непотребства – и распространяют гнуснейшие болезни. Нет, ему требуется повиновение женщины, отвечающей его положению в обществе, требуется обстановка, исполненная уюта и вкуса, – хотя бы этому унижение, которому подвергся он на Дружи-лейн, его научило.

Уильям сворачивает за угол, на Нью-стрит, и с радостью обнаруживает пивоварню «Лев» – там, где, как ему было сказано, она и должна стоять. Мысленно он уже создал собственную Конфетку, заблаговременно, до встречи с настоящей: воображение рисует Уильяму ее огромные глаза, немного испуганные, но готовые покориться. Он низводит этот образ на уровень своего пениса, и тот набухает от предвкушений.

Хасбэнд-стрит, когда Уильям добирается до нее, оказывается улочкой сомнительной, нездоровой, но, по крайности, веселой. Или ему так кажется. Здесь все улыбаются, девки хихикают, и даже беззубая старая нищенка осклабляется, размалывая деснами замусоленное яблоко.

А вот и «Камелек». Но не слишком ли далеко он зашел? Не повернуть ли ему, коль скоро еще можно, назад? И пока расстояние, которое отделяет его учащенно задышавшую грудь от глянцевиной, освещенной оранжевыми, висящими на кованых чугунных пиках фонарями вывески харчевни, сокращается, он говорит себе, что не стоит принимать никакого решения, не заглянув внутрь «Камелька».

– *В глубоких, глубоких морях!* – запекает вдруг чей-то голос в пугающей близости от левого уха Уильяма. – *Вдали от родимого дома!*

Повернувшись на голос, Уильям видит невесть откуда взявшегося продавца нот, распевającego во все горло:

– *Несчастный плывет моряк! Среди пенных валов и грома!* Ваша миссус играет на пианино, сэр?

Уильям отмахивается от него рукой в перчатке, однако этого малого так просто не шуганешь, он преграждает Уильяму путь, выставя перед собой фанерный поднос с нотами, точно пышный декольтированный бюст.

– Не играет, стало быть?

– И уже не один год, – отвечает Уильям, раздраженный тем, что ему в такую минуту напоминают об Агнес.

– Ну ничего, этот мотивчик возвратит ей вкус к музыке, сэр, – заверяет его продавец нот и тут же возобновляет пение:

Защити, Господь, мою маму!
Разорвется сердце ее,
Когда узнает, что в море глубоко
Потеряла дитя свое.

– Здорово, а, сэр? Самая что ни на есть новая песенка, сэр. Называется «Моряк с утонувшего корабля».

Уильям торопливо устремляется к своей цели, однако назойливый малый ковыляет бок о бок с ним. Уже у самых дверей «Камелька» Уильям, смерив его гневным взглядом, говорит:

– Новая? Чушь! Это же «Нет сокровища большего мамы», просто слова другие.

– Да нет же, сэр, – возражает продавец и сует едва ли не в лицо Уильяма нотный листок, должным образом разрисованный изображениями кораблей. – Совсем другой мотив. Принесете ноты домой, сами увидите.

– Не желаю я нести их домой, – отвечает Уильям. – Я желаю войти в «Камелек», причем без вас, сэр, и послушать музыку там – и кстати сказать, бесплатно.

Услышав это, продавец театрально отступает в сторону, отвешивает Уильяму поклон и ухмыляется. Однако потерпевшим поражение он себя не признает.

– Коли услышите там мотивчик, который вам приглянется, сэр, только свистните: у меня он *наверняка* найдется.

И с этим продавец улетучивается, полный решимости выжать, практикуя незаменимое свое ремесло, сколь можно больше из следующего часа, следующего года, следующих десяти столетий.

Уильям Рэхэм смыкает пальцы на затейливо изукрашенной медной дверной ручке «Камелька» и, набрав побольше воздуха в грудь, отворяет дверь. Запах хорошего пива сразу же ударяет ему в нос, гомон добродушных голосов – в уши, тепло, излучаемое свечами люстр и – да, представьте – горящим камином, покалывает, словно иголочками, застывшее лицо. И – вот так сюрприз! Здешние посетители вовсе не какие-то потрепанные личности! О нет, кое-кто из них одет даже не без изыска. Этот паб способен порадовать и человека самого разборчивого – хорошо сохраняемый секрет, упрятанный в самую гущу бедности, место встреч посвященных в него людей. Посетители, многие из которых очевиднейшим образом живут не на Хасбэнд-стрит, на миг оборачиваются, чтобы взглянуть на Уильяма, и снова возвращаются к своим беседам. Все они веселы, но не пьяны, это место не из тех, завсегдатаи коего пьют в одиночку, ожидая, когда спиртное проймет их. Уильям облегченно вздыхает, снимает шляпу и присоединяется к обществу людей своего круга.

– *Туда сползаются бродяги*, – приветствует его высокий мужской голос, – *в отрепье грязном на телах...*

Певец возвышается на узенькой сцене в дальнем конце зала, почти не видной за дымным скоплением столиков и завсегдатаев. К строгому вечернему костюму его добавлен красный, грубой вязки шарф, изображающий шейный платок рабочего. С видом самым что ни на есть жалостным он поет под затейливый аккомпанемент фортепиано:

Мешки с соломой в углу
Для нищих, рвущихся к теплу.
Там четверо их на полу
В той лондонской ночлежке.

Сквозь пение и гомон доносится звон упавшего на пол стакана, а следом взрыв смеха и взволнованный лай собаки. Одетаая соответственно ее званию барменша, горестно покачивая головой, выскакивает из-за стойки.

Бар «Камелька» просто-напросто радует глаз: полногрудые женщины ловко управляют в нем с бутылками и пивными насосами, оборчатые наряды их отражаются в висящем на стене за ними огромном зеркале. Над головами женщин в беспорядке поднимаются почти до потолка десятки афишек, эстампов и плакатов, на все лады восхваляющих разного рода эли, стауты и портеры.

Искать, где сесть, Уильяму не приходится: улыбчивая официантка манит его к себе и усаживает за столик, за которым остается место еще для двоих, самое малое, клиентов, – по-видимому, в одиночку здесь пить не принято. Уильям, тоже улыбаясь, называет нужный ему напиток, и официантка, спеша выполнить заказ, упархивает.

Очень милое место, думает Рэхэм, на миг забывая, зачем он сюда пришел. Правда, здесь жарковато! И Уильям, вслушиваясь в наполовину заглушаемые смехом фиоритуры певца и суматошливое рубато пианино, предпринимает необходимые меры – снимает перчатки, расстегивает пальто, приглаживает волосы. Столик его расположен рядом с чугунной колонной, к которой прикреплено следующее уведомление: «УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ НЕ КЛАСТЬ СИГАРЫ НА СТОЛ И НЕ ПРИКУРИВАТЬ ОТ ЛЮСТР, НО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ТОГО УСТАНОВЛЕННЫМИ ГАЗОВЫМИ ЛАМПАМИ». Курить Уильяму не хочется, и тем не менее от него исходит подобие дыма: начинает парить сырая одежда. Кожу Уильяма щиплет пот, большие уши его – он чувствует это – покраснели. И какая благодарность охватывает Уильяма, когда официантка, спеша, приносит ему большой стакан пива! Она, благослови Господь ее душу, явно поняла, до чего ему хочется пить!

– Превосходно! – восклицает он, перекрывая голосом пение, а затем оглядывается, вытягивая шею, по сторонам, пытаясь понять, отчего оно стало более громким: или теноров тут больше, чем ему показалось? Но нет, это завсегдатаи «Камелька» подхватили песню.

– *Воя, ругаясь безобразно*, – проникновенно подпевают они между глотками пива, —

С похабной шуткой, песней грязной,
Они томительно и праздно
Проводят ночь в ночлежке.

Вы, человек, впервые, подобно Уильяму, попавший в «Камелек», верно, удивитесь: как могут эти гуляки петь о таких ужасах столь веселыми голосами? Смотрите, они притопывают ногами, кивают в такт рассказу об участи бедняков, но неужели ничего больше этот рассказ в них не затрагивает? Затрагивает, конечно! Все они благоговейно склоняются перед алтарем сострадания! Но что они могут сделать? Здесь, в «Камельке», винить за горести нищих некого (за исключением, может быть, Бога в бесконечной мудрости Его). Бедность, положенная на хорошую музыку, занимает почетное место среди прочих злосчастий, о которых слагаются песни: военных поражений, кораблекрушений, разбитых сердец – да и самой Смерти.

Уильям не без некоторой нервности вглядывается в женскую клиентуру «Камелька». Женщин здесь много, но все они, похоже, заняты; возможно, и Конфетка – одна из них: червячок, доставшийся ранней пташке. (Или все обстоит как раз наоборот?) Он оглядывает их вторично, стараясь оценить сквозь пелену табачного дыма и иные помехи, телосложение каждой. Нет, ни одно из увиденных им тел не подходит под описание Конфетки, даже если принять в соображение, что «Новый жуир» мог слегка и приврать.

Уильям предпочитает верить, что Конфетка сюда еще не пришла. И хорошо: уши у него уже не горят, а ко времени, когда ему присплет пора произвести на девушку хорошее впечатление, они (с божьего соизволения) успеют и побледнеть. Он отпивает пива, которое настолько приходится ему по вкусу, что Уильям выливает его в горло и сразу заказывает второй стакан. У официантки красивое тело; хочется верить, что и у Конфетки, когда он разделет ее, оно окажется хотя бы в половину таким же приятным.

– Спасибо, спасибо. – Он подмигивает, однако официантка уже отходит, чтобы обслужить кого-то еще. *Così fan tutte*²¹, а? Уильям откидывается на спинку стула, вслушиваясь в слова следующей запетой тенором песни.

²¹ «Так поступают все женщины» (*ut.*) – название оперы Моцарта.

Фазанов когда-нибудь буду я есть,
Пить вино из прекрасного сада,
И глотать поросенка с фруктом во рту
И с шампуром, торчащим из зада.

Завсегдатаи «Камелька» довольно пофыркивают – это одна из их любимых смачных песенок, ноты которых продают торговцы Семи Углов.

«И пудинг будет такой, что лакеям
Нести неостанет сил.
А пока я пью портер и ем пирожки...
Мой корабль еще не приплыл.

– *Да, корабль еще не приплыл*, – подхватывают завсегдатаи, —
Он опаздывает пока.

Мой корабль еще не приплыл,
Но прибудет наверняка.
Когда б он приплыл, я б, признаться, не скрыл
От людей своего смешка.
Но корабль еще, но корабль еще,
Мой корабль еще не приплыл!

Уильям усмехается. Неплохо, совсем неплохо! Почему он никогда раньше не слышал о «Камельке»? Интересно, знаком ли он Бодли и Эшвеллу? Если нет, как он его им опишет?

Что ж... «Камелек», разумеется, стоит несколькими ступеньками ниже заведения высшего класса, – намного ниже. И все-таки он гораздо лучше кой-каких жалких дыр, в которые его затаскивали Бодли с Эшвеллом. («Вот оно, то местечко, Билл, я почти уверен!» – «Почти?» – «Ну, для полной уверенности мне придется лечь на пол и оглядеть потолок».) В «Камельке» же ничего слишком вульгарного не замечается: никаких тебе оловянных кружек, все сплошь хорошее стекло, да и пиво здесь легкое, пенистое. Полы не деревянные, плиточные, поддельный мрамор отсутствует. И самое главное, он, в отличие от прибежищ простонародья, работает не круглые сутки, но скромно закрывается в полночь. Что более чем устраивает Уильяма: не придется слишком долго дожидаться его желанной Золушки.

Жена моя Милли заменит имя
И назовется Октавией.
И мы, пусть не скоро, заживем без раздора
В славном домике где-то в Белгравии.
Мы станцуем, споем, мы друзей созовем,
Будет каждый из них мне мил.
А пока мы вдвоем в развалюхе живем.
Мой корабль еще не приплыл.

Тут надлежит вступить хору, и завсегдатаи вступают – с немалым чувством. Уильям же, не желая привлекать к себе внимание, просто мычит. (Ах, разве не пел он прежде похабных песен баритоном, более громким и сочным, чем... Впрочем, простите, это вы уже слышали...)

Когда песня заканчивается, Уильям аплодирует вместе со всеми. Состав клиентов заведения то и дело меняется, одни встают, чтобы уйти, другие только-только входят. Склонившись над пивным стаканом, Уильям старается не упустить из виду ни одной юбки, надеясь первым углядеть девушку с «кариками, редкостной проникновенности очами». И тут выясняется, что он недооценивает проникновенность собственных очей, ибо едва его взгляд коротко задерживается на троице лишенных кавалеров молодых женщин, как они, все три, поднимаются на ноги.

Он пытается отвести глаза, но поздно: женщины уже надвигаются на него фалангой из тафты и кружев. Они улыбаются – демонстрируя некоторый преизбыток зубов. Собственно, в них избыточно все: слишком много волос выбивается из-под слишком вычурных шляпок, слишком много пудры на щеках, слишком много бантов на платьях, да и вокруг розовых ручек, коими они держатся друг за дружку, закручиваются чрезмерно свободные сизые манжеты.

– Добрый вечер, сэр, вы позволите нам присесть?

Отказать им, как он отказал продавцу нот, Уильям не может: не позволяют законы учтивости – или законы анатомии. Он улыбается, кивает, переносит новую шляпу себе на колени – из опасения, что на нее сядут. Одна из девиц тут же занимает освободившийся стул, двум другим приходится стесниться на том, что остался свободным.

– Большая честь для нас, сэр.

Вообще говоря, девушки они даже хорошенькие, хотя Уильям предпочел бы, чтобы они не были разодеты как для оперной ложи и чтобы совокупное благоухание их ударило в нос не столь резко. Сидящие в такой близости одна от другой, они пахнут совершенно как заполненная доверху корзинка цветочницы влажным днем. Уж не Рэкхэм ли произвел эти ароматы? – гадает Уильям. Если так, отцу придется отвечать не за одну только скаредность.

И все же, напоминает он себе, эти девицы красивее большей части прочих – налитые, точно персики, чистенькие – вероятно, они и стоят дороже Конфетки. Просто их... много-вато, вот и все, для столь маленького заведения.

– Вы слишком красивы, чтобы сидеть в одиночестве, сэр.

– Вы из тех мужчин, которым всенепременно следует иметь при себе хорошенькую женщину – а то и трех.

Третья девица лишь фыркает, неспособная превзойти подружек остроумием.

Уильям избегает встречаться с ними глазами, боясь обнаружить там надменность, дерзость зависимых существ, норовящих отнять у своего хозяина власть. Конфетка так себя не поведет, верно? Да уж лучше бы не повела.

– Вы льстите мне, леди, – говорит Уильям. Он смотрит в сторону, надеясь отыскать путь к спасению.

Та из гулящих, что сидит к нему ближе прочих, склоняется к Уильяму, так что ее надутый ротик оказывается совсем недалеко от его губ, и громким шепотом спрашивает:

– Вы ожидаете друга, мужчину, верно?

– Нет, – отвечает Уильям и нервно приглаживает волосы. Может, это вихры сообщают ему сходство с содомитом? Не следовало ль оставить их длинными? Или их лучше укоротить посильнее? Господи, неужто унижения его прекратятся лишь после того, как он обреется наголо?

– Я ожидаю девушку по имени Конфетка.

Вся троица шлюх мгновенно изображает немую картину обид и разочарований: «А я вам не гожа, миленький?», «Вы разбили мне сердце, сэр!» – и тому подобное.

Рэкхэм ничем им не отвечает, он продолжает смотреть на дверь, надеясь, что ему удастся дать прочим посетителям «Камелька» ясно понять – эти женщины к нему никакого

отношения не имеют. Однако, чем дальше он от них отклоняется, тем ближе они придвигаются к нему.

– Конфетка, значит?

– Вы настоящий ценитель, сэр.

От одного из ближних столиков доносится взрыв грубого гогота, заставляющий Уильяма сморщиться. Тенор пока отдыхает, и что же – главной потехой стало теперь для «Камелька» унижение злополучного Рэххэма? Он окидывает взглядом толпу завсегдатаев, отыскивает смеющихся – те сидят спиной к нему. Их просто развеселила какая-то шутка.

– Так что же вам тогда нравится? – легко, словно осведомляясь, что он предпочитает к чаю, спрашивает одна из девиц. – Ну же, сэр, уж мне-то вы сказать можете, хоть загадками говорите, я пойму.

– А зачем? – отзывается ближайшая к нему. – Я по глазам вижу, чего он хочет.

Заинтригованные подружки поворачиваются к ней. Она выдерживает театральную паузу, а затем не без бахвальства сообщает:

– Это... у меня такой дар. Тайный.

Все трое разражаются хохотом, неприлично разинув рты, – несколько мгновений, и веселье их подходит к границе истерики.

– Так *чего же* он хочет-то? – удается наконец выдать одной, но бьющейся в конвульсиях смеха прорицательнице трудно справиться со словами.

– Гурм... Гугрум... Гум. – Она утирает глаза. – Охх! Какая ты гадкая, гадкая девочка! Разве можно об этом спрашивать? Секрет есть секрет, правильно, сэр?

Уильям поеживается, у него опять начинают гореть уши.

– Право же, – бормочет он. – Не понимаю, что тут смешного.

– Верно, совершенно верно, – произносит она и, к наслаждению ее товарок, молча показывает, как она заглядывает в сокровенный уголок Уильямовой души и в карикатурном ужасе отшатывается от увиденного там.

– О *нет*, сэр, – изумленно вздыхает она и прикрывает пухлыми пальчиками рот, – может, вам и вправду лучше дожждаться Конфетки.

– Не обращайтесь на нее внимания, сэр, – говорит одна из двух других женщин. – Вечно у нее глупости на уме. Так вот, миленький, может, позвольте *мне* попробовать?

И женщина кончиками пальцев поглаживает себя по горлу:

– Знаете, я ведь не второго сорта товар предлагаю. Я ничем не хуже любой из девушек Кастауэй.

Уильям снова бросает истомленный взгляд на дверь. Если он сейчас вскочит на ноги и выбежит из «Камелька», не разразятся ли все мужчины и женщины, какие здесь есть, издевательским гиканьем?

– Ну ладно, – произносит одна из девушек и складывает на столике руки, помещая поверх предплечий грудь (насколько то позволяет ее туго стянутый по моде лиф). – Ладно, лучше расскажите нам о себе, сэр.

Лицо ее вдруг утрачивает шаловливое выражение, становясь едва ли не почтительным.

– Давайте я догадаюсь, – говорит другая, самая робкая из трех. – Вы писатель.

Это без всякой задней мысли выбранное слово производит на Уильяма впечатление не то удара в лицо, не то ласки. И что ему остается, как не перевести взгляд на девушку и не спросить якобы изумленно:

– Да?

– Уверена, это такая скучная жизнь, – высказывается прорицательница.

Теперь все три говорят серьезно – они задели его гордость и хотят искупить свою вину.

– Да, я пишу, – уточняет Уильям, – для самых лучших ежемесячных изданий. Я критик – и романист.

– О боже! А как называются ваши книги?

Уильям на выбор называет одну из тех книг, которые он собирается – когда-нибудь – написать.

– «Ниспровержение мамоны», – говорит он.

Две девицы ухмыляются, третья выпячивает на рыбий манер губы, безмолвно проверяя, удастся ли ей повторить название столь экзотическое. Ни одной из них и в голову не приходит сообщить ему о том, что в «Камельке» критики и будущие романисты просто кишат кишмя.

– Моя фамилия Хант, – импровизирует Уильям. – Джордж У. Хант.

Внутренне он – шарлатан, существо, доведенное издевательствами отца до необходимости передвигаться на четвереньках, – корчится от стыда. *Ступай домой, почитай о ценах на навоз!* – такой приказ звучит в его ушах, однако Уильям топит его в большом глотке эля.

Самая образованная из трех блудниц задумчиво сужает глаза, словно смущенная некой загадкой.

– И при этом мистеру Ханту нужна Конфетка, – произносит она. – Конфетка и никто больше. Так чего же, чего может хотеть... мистер Хант? Мmmm?

Подружка ее тут же отвечает:

– Он хочет поговорить с ней про книжки.

– О господи.

– Выходит, среди критиков у Джорджа друзей нет, так?

– Как это грустно.

Осажденный со всех сторон Рэкхэм стоически улыбается. Ему кажется, что вот уже долгое время никто больше в «Камелек» не заходит.

– А хорошая нынче стоит погода, – ни с того ни с сего замечает наименее образованная из этих трех. – В ноябре было намного хуже.

– Ну, это если тебе по душе снег с дождем, – отвечает одна из двух других, неторопливо сбирая подол платья в складки и сооружая из них подобие саржевого сугроба.

– Не забывайте, у нашего мистера Ханта особые вкусы.

– Вы уже подготовились к Рождеству, сэр?

– Любите разворачивать подарки пораньше? – Розовые пальчики двусмысленно стягивают с груди шаль, и Уильям снова переводит взгляд на дверь.

– Может, она сегодня и не придет, – говорит та из трех девиц, которой присущи повадки наиболее вызывающие. – Конфетка.

– Чшшш, не надо над ним подсмеиваться.

– Взяли бы вы лучше меня, миленький. Я тоже в литературе кое-чего смыслю. Всех великих писателей знаю. Ко мне даже Чарльз Диккенс заглядывал.

– Да разве он не помер?

– У меня он был преживехонький, дорогая.

– Он уж лет пять как перекинулся. Невежда ты, вот ты кто.

– Говорю тебе, он самый и заходил. Я же не сказала, что на прошлой неделе. – И она жалостно шмыгает носом. – Я тогда совсем еще малышкой была.

Подруги ее фыркают. А затем, словно по внятному всем трем сигналу, принимают серьезный вид и придвигаются к Рэкхэму, искусительно склоняя головки. Теперь они выглядят точь-в-точь как вчерашние «двойняшки» – с добавлением третьей несъедобной порции сладкого.

– Берите всех трех, а заплатите как за одну, – произносит, облизывая губы, прорицательница. – Как вам это?

– Эмм... – мямлит Рэкхэм, – весьма соблазнительно, разумеется. Но, видите ли...

И как раз в этот миг дверь «Камелька» отворяется, пропуская женщину – одну. Вместе с ней в зал врывается дуновение свежего воздуха, шум дующего снаружи буйного ветра, обрываемый закрывшейся дверью, точно крик прижатой ко рту ладонью. Пелена табачного дыма мгновенно расслаивается, смешивается с запахом дождя.

Женщина одета во все черное – нет, в темно-зеленое. В зеленое, потемневшее под ливнем. Плечи ее мокры, ткань лифа липнет к сильно выступающим ключицам, тонкие руки оплетены пятнистой хлореллой. Шляпка поблескивает, окропленная еще не впитанной ею водой, как и свисающая с нее тонкая серая вуалька. Пышные волосы, которые кажутся сейчас не огненно-рыжими, но черновато-оранжевыми, как оставленные дотлевать угли, растрепались; с локонов, выбившихся из прически, стекают капли дождя.

На миг женщина сердито встряхивается, совсем как собака, но сразу же овладевает собой. Она поворачивается лицом к бару, здоровается с хозяином – приветствие это тонет в гуле разговоров, – затем поднимает руки к вуали. Острые лопатки ее, которых не замечает никто, только Рэхэм, сходятся, когда она открывает лицо, под мокрой тканью. По всей спине женщины тянется подтек влаги, похожий на язык или на острие стрелы, указующее на ее юбку.

– Кто это? – спрашивает Уильям.

Три блудницы шепчут почти единогласно:

– Это она и есть, миленький.

– Ну-ка, мистер Хант. Молвите ваше критическое слово.

Конфетка поворачивается к залу «Камелька», оглядывает его в поисках свободного места. Самая смелая из шлюх, прорицательница, встает, машет рукой, подзывая ее к столику Уильяма.

– Конфетка, дорогуша! Сюда! Познакомься... это мистер Хант.

Конфетка тут же направляется к ним, словно для того сюда и пришла. Ей, верно, следовало бы поздороваться с прорицательницей, однако на приветствие этой девицы она не отвечает и смотрит лишь на Рэхэма. Приблизясь почти на расстояние вытянутой руки, она спокойно окидывает Уильяма взглядом карих, как и было обещано «Новым жуиrom», глаз, которые кажутся золотистыми – по крайней мере, сейчас, в заливающем «Камелек» свете.

– Добрый вечер, мистер Хант. – Голос у нее не так чтобы женственный, скорее хрипловатый, однако лишенный грубости, отличающей девиц ее пошиба. – Я не хотела бы помешать вашей беседе с друзьями.

– А мы уже и уходим, – говорит прорицательница, вставая. Товарки ее, точно вздернутые за веревочки, поднимаются тоже. – Он тут тебя дождался.

И вся троица, подобрав тафтяные юбки, удаляется.

Можете не глядеть им вслед, это особы ничего не значащие (сколько же их, таких, существует на свете!) и пользы от них вам никакой больше не будет. Уильям вглядывается в женщину, ради которой пришел сюда, и никак не может решить, отличается ли ее лицо досадным несовершенством (слишком широкий рот, слишком далеко поставленные друг от друга глаза, сухая кожа, веснушки) или никогда еще не виданной им красотой. Впрочем, с каждой пролетающей секундой он подходит к решению все ближе.

Вняв его просьбе, Конфетка садится с ним рядом, юбки ее шуршат и поскрипывают, торс пахнет свежим дождем и свежим потом, словно она бежала – чего приличная женщина никогда и ни за что себе не позволила бы. Однако румянец на щеках ее дьявольски привлекателен и ароматы она источает божественные. Несколько прядей, выбившихся из искусно уложенной челки, покачиваются над глазами Конфетки. Томным движением затянутой в перчатку ладони она отводит их в сторону, к пушистым окончаниям бровей. И улыбается, разделяя с Уильямом удрученное понимание того, что у надежд наших, когда то, что мы задумали, исполняется вкось и вкривь, неизменно обнаруживаются свои пределы.

В теперешнем ее виде она с настоящей леди определенно не схожа, однако во всех иных отношениях словно светится подлинным благородством. Да, но присущим – кому? Она могла бы оказаться дочерью свергнутого внезапным мятежом иноземного государя, которую провезли под проливным дождем сквозь полночный лес, – она скакала по нему на коне, высоко держа голову, царственная, хоть к лицу ее и липли пряди волос, скакала, распрямив плечи, на которые израненные слуги спешили накинуть подшитую мехом мантию... (Вы уж потерпите, если сможете, Уильяма, пока он потворствует своим пустячным причудам. Он, видите ли, зачитывался в начале шестидесятых, когда ему полагалось вникать в бедствия хеттов, цветистыми французскими романами.)

От Конфетки начинает валить парок, едва приметный нимб испарений образуется вокруг ее шляпки и локонов. Она чуть клонит голову набок, словно спрашивая: «И что же дальше?» Шея ее, замечает Уильям, слишком длинна, чтобы укрыться за высоким воротом лифа. У нее мужское адамово яблоко. Да, он уже принял решение: эта женщина прекраснее всех, когда-либо виденных им.

К изумлению Уильяма, ее манера держаться наполняет его робостью, она выглядит леди настолько, что трудно вообразить, как сможет он обратиться к ней с пятнающим ее предложением. И долгое, гибкое тело Конфетки при всей его соблазнительности лишь все усложняет, поскольку наряд ее выглядит второй ее кожей, лишенной швов и, следовательно, неудаляемой.

Затруднение это он облекает в следующие слова:

– Не знаю, достоин ли я подобной чести.

Конфетка чуть наклоняется к нему и негромко, словно делясь впечатлением о только что вошедшем в зал общем знакомом, говорит:

– Не беспокойтесь, сэр. Ваш выбор верен. Я сделаю все, о чем вы попросите.

Простой обмен фразами среди гомона переполненного питейного заведения, однако произносился ли когда-либо брачный обет более недвусмысленный?

Официантка приносит Конфетке заказанный ею напиток.

Бесцветный, прозрачный, почти без пузырьков, пивом он быть не может. А если это джин, вечная улада гулящих дев, то почему же Уильям не различает его запаха? Возможно ли, чтобы это была... вода?

– Как мне вас называть? – спрашивает Уильям, укладывая подбородок на сцепленные ладони, как делал, когда еще был студентом. – Должно же у вас быть какое-то имя, отличное от...

Она улыбается. Губы ее на редкость сухи, похожи на белую древесную кору. Почему же они представляются Уильяму скорее прекрасными, чем уродливыми? Это выше его разума.

– Конфетка – это и есть мое имя, мистер Хант. Или вы предпочитаете обращаться ко мне как-то иначе?

– Нет-нет, – заверяет ее Уильям. – Пусть будет Конфетка.

– В конце концов, что в имени? – роняет она и приподнимает одну пушистую бровь.

Уж не Шекспира ль она цитирует? Совпадение, конечно, но как же сладок ее запах!

Тенор «Камелька» запекает снова. Уильям чувствует, каким все более теплым и дружелюбным становится это место; свет кажется более золотистым, тени становятся густо-коричневыми, и все сидящие в зале лучезарно улыбаются своим собеседникам. Дверь теперь отворяется чаще, и каждый из входящих в нее выглядит изысканнее своего предшественника. Шум, сопровождающий появление этих людей, звуки бесед и пение, едва сквозь них слышное, становятся громкими настолько, что Уильяму и Конфетке приходится, разговаривая, наклоняться поближе друг к другу.

Глядя в ее глаза, такие большие и чистые, что он видит в них отражение собственного лица, Уильям Рэкхэм вновь открывает для себя ускользающую радость существования в качестве Уильяма Рэкхэма. Существует неуловимая, как блуждающий огонек, питаемая спиртным, хрупкая совокупность повадок, которую Уильям почитает своим истинным «я», совершенно отличным от тошнотворной телесной туши, каждое утро видимой им в зеркале. Зеркало лгать не может – и все-таки лжет, лжет! Оно не способно отразить подобные язычкам пламени предначертания, запертые в тайниках его разочарованной души. Ибо Уильяму предстояло стать Китсом, Бульвер-Литтоном, а то и Чаттертоном, а он вместо этого преобразается, по крайней мере наружно, в копию своего отца. И сколь же редко выпадают мгновения, в которые ему удастся излить на зачарованных слушателей блеск тех посулов, коими так богата была его юность.

Они с Конфеткой беседуют, и Рэкхэм словно оживает. В последние несколько лет он был мертвецом – мертвецом! Только теперь он может признаться себе, что тайлся в подполье, испуганно прятался от всего, что достойно внимания, намеренно избегал сколько-нибудь незаурядного общества. Любого, собственно говоря, общества, каким он мог соблазниться, в какое мог быть призван, – избегал потому, что... ну хорошо, скажем об этом так: потому что дерзновенные посулы златовласой юности столь легко осмеять, взирая на человека с седеющими висками и вызревающим понемногу тройным подбородком. Долгое уже время Уильям довольствовался лишь внутренними монологами, фантазиями, рождавшимися на парковой скамье или в уборной, которая укрывала его от чужих смешков и зевков.

Общество же Конфетки есть нечто совсем иное: Уильям вслушивается в произносимые им слова и с облегчением обнаруживает, что голос его еще способен творить чудеса. Овитый нежной пеленой поднимающегося от ее одежды парка Рэкхэм витийствует – гладко, чарующе, толково, с остроумием и подлинным чувством. Он словно видит себя со стороны – со светящимся молодостью лицом, с гладкими, ниспадающими, как у Суинберна, волосами.

Что до Конфетки, она нимало не подводит его – она безупречно почтительна, ласково доброжелательна, внимательна и льстива. Возможно даже, думает Уильям, что он нравится ей. Смех Конфетки непритворен, и уж конечно, искры в ее глазах – подобные тем, какие он зажигал некогда в глазах Агнес, – подделать невозможно.

К удивлению и совершенному удовлетворению Уильяма, разговор их в конце концов и *вправду* обращается к книгам – как и предрекали совсем недавно три лукавые шлюшки. Боже мой, эта девушка – настоящее чудо! Она обладает поразительным знанием литературы; единственное, чего ей недостает, это латыни, греческого да еще от рождения свойственного мужчине чутья на большое и малое. Если же говорить о полном числе страниц, она, похоже, прочла их почти столько же, сколько он (хотя некоторые, что, впрочем, неизбежно, принадлежали к вздорной писанине, производимой для представительниц и представительницами ее пола – к романам о застенчивых гувернантках и тому подобном). И все же она хорошо знакома со многими высоко ценимыми им авторами – она обожает Свифта! Его любимого Свифта! Для большинства женщин – в том числе, увы, и для Агнес – Свифт это не более чем название пастилок от кашля или птички, чучелки коей служат украшениями их шляпок. А Конфетка... Конфетка способна даже выговорить слово «гуингнмы» – и боже, какой чарующей становится при этом складка ее губ! А Смоллетт! Она читала «Перегрину Пикля», и не просто читала – она способна судить о нем с пониманием, не меньшим того, какое было присуще в ее годы Уильяму. (А каковы они, ее годы? Нет, об этом он спросить не решается.)

– Не может быть! – сдержанно протестует она, когда Уильям признается, что все еще не прочел «Город страшной ночи» Джеймса Томсона – даже сейчас, спустя целый год после публикации этой поэмы. – Вы, должно быть, ужасно заняты, мистер Хант, если так долго отказываете себе в этом удовольствии!

Рэкхэм силится припомнить соответствующие критические отзывы.

– Сын моряка, не так ли? – решается спросить он.

– Сирота, сирота, – восторженно, как будто лучше этого ничего не бывает на свете, сообщает она. – Стал учителем в армейском сиротском приюте. Но поэма его просто чудо, мистер Хант!

– Я определенно постараюсь найти время... нет, я найду время, чтобы ее прочитать, – обещает он, однако Конфетка склоняется к его уху, дабы избавить его от этих хлопот.

– *Глаза огня*, – горловым гортанным шепотом, достаточно громким, впрочем, чтобы перекрыть звуки песни и разговоров вокруг, —

С желаньем гладным вперились в меня;
Из пасти Смерти, полнясь смрадным зноем,
Неслось дыханье, хриплое и злое;
Клыки и когти, хладные персты
Тянулись из древесной темноты;
А я все шел, дитя суровых бед,
Где нет надежды, там и страха нет²².

И Конфетка, задохнувшись от охвативших ее чувств, потупляет взгляд.

– Поэзия слишком сумрачная, – замечает Уильям, – чтобы годиться в избранницы столь прекрасной юной женщины.

Конфетка печально улыбается.

– Жизнь порою бывает сумрачной, – говорит она. – В особенности когда тебе не удастся найти достойного собеседника – подобного вам, сэр.

Уильяма так и подмывает сказать ей, что, на его взгляд, «Новый лондонский жуир» и близко не подошел к настоящей оценке ее совершенств, однако на это он не решается. Взамен они говорят и говорят об Истине и Красоте, о сочинениях Шекспира, о том, существует ли в наши дни осмысленное различие между шляпкой и просто маленькой шляпой.

– Вот смотрите, – произносит Конфетка и обеими руками надвигает свою шляпку на лоб. – Это шляпа! А теперь... – Конфетка сдвигает ее назад, – теперь это шляпка!

– Волшебство, – улыбается Уильям. И действительно – волшебство.

Произведенная Конфеткой демонстрация нелепости моды приводит ее волосы в еще больший, чем прежде, беспорядок. Густая челка, теперь уже просохшая, спадает, высвободившись, ей на лоб, заслоняет глаза. Уильям, наполовину с отвращением, наполовину с обожанием, смотрит, как она, до последних пределов выпятив нижнюю губу, дует снизу вверх на волосы. Золотисто-рыжие пряди вспархивают над челом Конфетки, и вновь открывшиеся взорам Уильяма глаза девушки почти потрясают его тем, как далеко они расставлены, *совершенством* того, как далеко они расставлены.

– Я чувствую себя словно на первом свидании, – говорит он, полагая, что эти слова заставят ее рассмеяться.

Однако она отвечает с полной серьезностью:

– Ах, мистер Хант, как лестно мне знать, что я порождаю в вас подобное ощущение.

Последнее слово на миг повисает в продымленном воздухе, напоминая Уильяму, зачем он сюда пришел и почему искал именно Конфетку. Он снова представляет себе то долгожданное – *все еще* долгожданное, черт побери, – ощущение, которое так жаждет получить от женщины. Но может ли он *попросить* ее о подобной услуге? Уильям вспоминает слова Конфетки о том, что она сделает все, все, о чем он попросит; заново смакует серьезность этого ее уверения...

²² Перевод Сергея Ильина.

– Быть может, – решается сказать он, – вам пора отвести меня к себе и... познакомиться с вашей семьей?

Она тут же кивает, медленно, полузакрыв глаза. Эта женщина понимает, когда от нее требуется простое, безмолвное согласие.

Да и в любом случае близится время закрытия «Камелька». Рэкхэм мог бы догадаться об этом и не глядя на часы, поскольку грудь стоящего на сцене певца вздымается, переполненная чувствами, общими для еще оставшихся здесь хмельных завсегдатаев. Завсегдатаи, это налившееся пивом братство, голоса почти в унисон с выводимыми им руладами, – пока официантки изымают из их ослабевших пальцев пустые стаканы, – старую песню, воодушевляющую бессмыслицу, почти повсеместно (если считать повсеместность не выходящей за пределы Англии) исполняемую при закрытии пивных:

Древесина дуба – наши суда,
Море – наша основа.
В нас пробудилась гордость.
Твердость, ребята, твердость.
Мы будем биться и побеждать снова и снова!²³

– Будьте добры, леди и джентльмены, допивайте!

Уильям с Конфеткой поднимаются со стульев; руки и ноги их слегка онемели – слишком долгим был разговор. Рэкхэм обнаруживает, что гениталии его погрузились в спячку; впрочем, легкое гальваническое покалывание между ног убедительно свидетельствует о том, что онемение это пройдет достаточно быстро. Как бы там ни было, он более не томится безумным желанием свершить подвиги сладострастия: он все еще не выяснил, читала ль Конфетка Флобера...

Она поворачивается лицом к выходу. Пока длился вечер, пропитавшая одежду Конфетки дождевая вода испарилась, и теперь ткань ее выглядит более светлой по тону – зеленой и бледно-серой. Однако от долгого сидения юбка Конфетки обзавелась анархическими складками, грубыми треугольниками, указующими на скрытый под нею зад, и Рэкхэма, знающего, что она об этом не ведает, одолевает странное желание избавить ее от этой беды, кликнуть Летти, чтобы та отгладила юбки Конфетки, привела их в совершенный порядок, прежде чем он снимет их раз и навсегда. Ощущая неловкость от охватившей его нежности, он идет за Конфеткой по «Камельку» между пустыми столами и никем не занятыми стульями. Когда же отсюда успело уйти такое множество людей? А он ничего и не заметил. И много ли он выпил? Конфетка, прямая, как копье, не произнося ни слова, движется к выходу. Он спешит нагнать ее и набирает полную грудь воздуха, который она впускает, открывая дверь, в зал.

Снаружи, на улицах, дождь уже прекратился. Горят газовые фонари, мостовые посверкивают, уличные торговцы в большинстве своем разошлись по домам. Там и сям неторопливо прохаживаются под желтым светом женщины – не такие красивые, как Конфетка, недовольные, банальные, никому не понадобившиеся.

– Нам далеко? – спрашивает Уильям, когда оба они сворачивают к Силвер-стрит.

– О нет, – отвечает Конфетка, идущая на два шага впереди него, почти по-матерински заведя за спину руку, укрытые кожей перчатки пальцы ее покачиваются в пустом воздухе, словно ожидая, что Уильям, точно ребенок, ухватится за них. – Близко, совсем близко.

²³ Перевод Виктора Лунина.

Глава шестая

Всего только трех слов, если они произносятся правильным человеком и в правильный миг, бывает довольно, чтобы любовная страсть расцвела с чудотворным проворством, выпростав ярко-красную головку свою из-под раздавшейся в стороны крайней плоти. И этими тремя волшебными словами вовсе не обязаны быть «Я люблю вас». Для мисс Конфетки и Джорджа У. Ханта, выступивших на темные, мокрые после ливня улицы и идущих бок о бок под газовыми фонарями и пересохшим пустым небом, три волшебных слова оказались такими: «Смотрите под ноги».

Их произносит Конфетка; на миг она берет своего спутника за ладонь и тянет его к себе – от подрагивающей на мостовой лужи густой блевотины. (Лужа, скорее всего, бурая, однако газовый свет сообщает ей желтоватый оттенок.) Сознание Уильяма впитывает все сразу: рвотину, едва различимую в отбрасываемой им протяженной тени; его ступни, робкие, едва ли не запинаящиеся о край Конфеткиной юбки; мягкий рывок ее руки; негромкий гомон чьих-то голосов неподалеку; трезвящую после хмельного тепла «Камелька» прохладу воздуха; и эти три слова: «Смотрите под ноги».

Произнесенные не Конфеткой, а кем-то еще, они стали бы словами предостережения, если не угрозы. Изойдя же из нежного горла Конфетки, слова эти, промодулированные ее гортанью, языком и устами, не содержат в себе ни того ни другого. Они суть приглашение к осмотрительности, негромкий зов пленительных обаяний, способных оградить мужчину от любых неурядиц, нежная просьба покрепче держаться за женщину, которой ведом путь. Уильям отнимает у нее свою руку, опасаясь того, что даже в столь поздний и малоправдоподобный час ему может повстречаться кто-то из благоприличных знакомых. И однако же, высвободившуюся, укрытую перчаткой ладонь его покалывает словно иголочками – это отзвук рукопожатия Конфетки, сильного, как у исполненного уверенности в себе молодого мужчины.

Смотрите под ноги. Слова эти все еще отдаются эхом в его голове. Голос Конфетки... хриловатый, да... но такой музыкальный, это трио восходящих нот, *do re fa*, несовершенное, но упоительное арпеджио женского дыхания, ария, сыгранная на *flûte d'amour*²⁴. Как же должен звучать этот голос в крещендо страсти?

Теперь Конфетка продвигается быстрее, скользит по темным камням мостовой с поспешностью, какую сам он бережет для светлого времени дня. Должно быть, ноги ее совершают под юбкой шаги прискорбно неженственные – иначе как бы могла она держаться с ним вровень? Да, разумеется, он, быть может, не самый рослый из мужчин, однако ноги у него уж верно не короче обычных – на самом-то деле, если допустить в это уравнение недомыслия из низших слоев общества, ноги Уильяма, может, еще и окажутся подлиннее средних. Но что это за звуки? Он... уж не пытит ли он? Боже Всесильный, ему нельзя пыть. Все дело в выпитом им пиве и усталости, донимавшей его в последнее время, она ведь накапливается, верно? И в миг, когда Конфетка жестом почти неприметным предлагает ему последовать за нею в темный, узкий тупик, он оборачивается, чтобы глотнуть напоследок воздуху посвежее, и набирает его полную грудь, стараясь поймать второе дыхание.

Может быть, женщина так спешит из боязни, что он утратит терпение или не пожелает углубляться вслед за ней в темный, неведомой протяженности проход, ведущий бог весть куда? Однако Уильяму доводилось входить в веселые дома из проулков, таких же темных и узких, как этот; в свое время он спускался по каменным ступеням в лестничные колодцы до того уж глубокие, что начинал гадать, не расположен ли будуар его любовницы прямо в

²⁴ Букв. «флейта любви» (*фр.*) – старинная разновидность флейты.

одной из огромных канализационных труб Базалгетта?²⁵ О нет, его нельзя назвать чрезмерным привередой, да и клаустрофобией он не страдает, просто Уильям, что лишь естественно, отдает предпочтение борделям посветлее и повеселее (а кто может сказать о себе иное?). Однако он столь околдован Конфеткой, что, говоря по чести, с готовностью вошел бы за нею в зловоннейшую из клоак.

Или не вошел бы? Уж не лишился ли он рассудка? Ведь эта женщина не более чем...

– Сюда.

Уильям поспешает за ней, за ее словами, так, точно они – пахучий след. О боже, голос у нее как у ангела! Изысканный шепот, ведущий его сквозь мрак. Он пошел бы за этим шепотом, даже если бы к нему ничего более не прилагалось. А ведь она состоит не из одного только шепота, она – женщина высокого ума! Он еще не встречал человека хотя бы отдаленно схожего с нею, если, конечно, не считать его самого. Подобно ему, она считает, что Теннисон в последнее время сдал; подобно ему, полагает, что трансатлантические кабели и динамит изменят мир куда основательнее, чем Шлиманово открытие Трои, несмотря на весь поднятый вокруг него шум. А какой рот, какая шея! «Я сделаю все, о чем вы попросите», – вот что она ему обещала.

– Ну вот, мы и пришли, – говорит вдруг она.

«Пришли», но куда? Уильям озирается по сторонам, пытается сориентироваться. Где же Силвер-стрит? Или адрес миссис Кастауэй – очередной обман «Нового жуира»? Впрочем, нет: разве не свет Силвер-стрит обливает дальнюю сторону этого скромного георгианского дома? Значит, перед ним всего только черный ход, так? Дом выглядит совсем неплохо – массивный, без каких-либо признаков обветшания, хотя в темноте ничего толком не скажешь. Нет, но очертания дома строги и симметричны, насколько позволяет судить облегающий их свет фонарей Силвер-стрит, которая тянется за домом, – свет, создающий вокруг его щипцов и кровли газовый ореол, подобный... какое тут требуется слово? авроре? ауре? Одно из них есть заурядный спиритический вздор, другое описывает научное явление, однако какое?... аур-авр-аур... Обманчиво легкое пиво «Камелька» лишило мозг Уильяма голоса, обратило его мысли в жалких заик.

– Домой, – слышит он голос Конфетки.

Замысловатый стук в дверь – секретный сигнал – позволяет Конфетке и ее спутнику проникнуть в тускло освещенный вестибюль дома миссис Кастауэй. Уильям ожидает увидеть здесь долдона, держащегося изнутри за дверную ручку, плотоядно ослабленного, заросшего щетиной хама наподобие того, что выпустил его на Друри-лейн из задней двери, однако он ошибается. Перед ним стоит мальчик – такой маленький, что Уильяму приходится опустить взгляд на добрых восемнадцать дюймов, – синеглазый и невинный на вид, ни дать ни взять подпасок с рождественской картинки.

– Привет, Кристофер, – говорит Конфетка.

– Прошу в гостиную, сэр, – чопорно и отчетливо произносит свою реплику мальчик, бросая на Конфетку по-детски заговорщицкий взгляд.

Заинтригованный, Уильям позволяет ребенку возглавить проход по темному, но оклеенному богатыми обоями вестибюлю к приоткрытой двери, из-за которой тянет теплом и светом. Достигнув ее, дитя скрывается в этом свете.

– Это не ваш? – спрашивает у Конфетки Уильям.

– Разумеется, нет, – отвечает она, якобы скандализованная, возводя брови и изгибая в улыбке губы. – Я старая дева.

²⁵ Сэр Джон Уильям Базалгетт (1819–1891) – выдающийся инженер-строитель Викторианской эпохи, создатель канализационной системы Лондона.

В тусклоте вестибюля свет, льющийся из двери, к которой они приближаются, падает на лицо Конфетки, странно очерчивая ее шероховатые, шелушащиеся губы тонами чистой белизны. Уильяму хочется ощутить эти губы смыкающимися на дышле его естества. Впрочем, еще пуще ему хочется опорожнить мочевой пузырь – нет, не в рот ее, куда-нибудь еще, – а потом завалиться спать.

И когда он входит в гостиную, ему начинает казаться, что он, собственно говоря, уже и спит. В дальнем ее углу сидит затылком к нему смутная женская фигура, над прической которой вьется дымок. Виолончель, невидимая и печальная, робко наигрывает что-то, а после смолкает, астматически скрипнув смычковыми жилами. Стены выкрашены поверху, под потолочными планками, в пламенно-персиковый цвет и тесно усеяны миниатюрами в рамках; нижняя же их часть оклеена обоями, на которых густо переплетаются земляничины, тернии и красные розы. А в самой середине гостиной, прямо под пышной бронзовой люстрой, восседает миссис Кастауэй.

Женщина старая – или плохо сохранившаяся, или и то и другое сразу, – одетая так, точно ей приспела охота выйти из дома (шляпка и прочее), а делать этого миссис Кастауэй явно не собирается, она сидит за узеньким письменным столом, отгороженная им, точно судья от публики, собравшейся в зале суда. Стол усыпан клочками бумаги, нарезанными из печатных изданий. Держа в руке большие портновские ножницы, старуха, точно кожуру с яблока, срезает с одного из них почти бесплотную длинную полоску, которая соскальзывает с костяшек ее рук и опадает, подрагивая, ей на колени. Впрочем, подняв взгляд на гостя, она из уважения к нему прерывает это занятие, выпутывает пальцы из ножничных колец и откладывает поблескивающий металлический инструмент в сторону.

С головы и до пят старуха обтянута тканью одного только цвета, багряного, – подобного наряду Уильям ни на одной англичанке в жизни своей не видел. Да и губы ее тоже окрашены в этот тон, вместе с сотнями окружающих их мелких морщинок; и поэтому, когда она приветственно улыбается Уильяму, впечатление получается малоприятное – как от мохнатой красной гусеницы, отвечающей на некий раздражитель.

Поначалу Уильям решает, что перед ним умалишенная сумасшедшая – рехнувшаяся старая ведьма, тычущая всем и вся в нос своим положением женщины из квартала «красных фонарей»; однако затем он улавливает в ней определенное достоинство, самообладание и склоняется к мысли, что наряд ее – хорошо продуманная шутка. Что ж, она не первая из встреченных им Мадам, склонных к лукавой иронии. Так или иначе (замечает теперь Уильям), багряность ее облачения смягчается одним спорящим с нею оттенком – вуальки, приколотой сзади к шляпке Мадам. Вуалька окрашена точно в тот же цвет, что и эмблема «Парфюмерного дела Рэкхэма» – в цвет дымчато-красной розы.

– Добро пожаловать в дом миссис Кастауэй, сэр, – произносит старуха; белые зубы ее кажутся вращающимися за кошенилью губ зубцами шестеренки. – Миссис Кастауэй – это я, а вон там – мои девочки.

Она неопределенно поводит рукою вокруг себя, однако Уильяму пока что не удается оторвать взгляд от нее.

– Комната наверху обойдется вам в пять шиллингов, ну а о цене того, что и как долго будет там происходить, договаривайтесь с Конфеткой. Если желаете, вам подадут туда хорошее вино – это еще два шиллинга.

– Ну что же, вино так вино, – говорит Уильям. Видит Бог, он выпил уже предостаточно, однако не хочет показаться Мадам скрягой. Шагнув к ней, чтобы расплатиться, и тут же споткнувшись (какой идиот поместил край ковра именно там, куда человеку волей-неволей приходится ставить ногу?), он оглядывает тело старухи с большей, чем прежде, аналитической пристальностью: старая уродина, решает Уильям. А он пришел сюда не для того, чтобы любоваться уродством.

Освободившись от ведьмовских чар миссис Кастауэй, Уильям получает возможность повнимательнее оглядеть гостиную. Производимое ею головокружительное впечатление отнюдь не объясняется, спешит он уверить себя, его опьянением: гостиная действительно отзывает гротеском. Обрамленные картинки ее, как он теперь обнаруживает, изображают, все до единой, Марию Магдалину – это пестрое собрание полунагих, полуодетых ее разновидностей, раскаявшихся и нераскаявшихся, одни созданы благочестивыми христианами, другие суть издевательские карикатуры характера прямо порнографического. Десятки повторений одного и того же выражения грустной безмятежности, отречения от плоти во всей греховности ее, полной капитуляции перед Богом, делающим ненужными всех прочих мужчин. Мария Магдалина полноцветная – с католических картинок размером в игральную карту; Мария Магдалина черно-белая – из протестантских газет; Мария Магдалина с нимбом и без; Мария Магдалина большая, как фронтиспис грошового журнальчика; Мария Магдалина крошечная, как медальонная миниатюра. Выбор не хуже, чем в «Биллингтон-энд-Джой»!

В кресле у очага сидит, продолжая манкировать всеми и вся, молодая особа, с которой Уильяму еще предстоит свести знакомство, узнать, что зовут ее Эми Хаулетт. Женщина она плотненькая, угрюмая, с темными миндалевидными глазами, черными как смоль волосами и фигуркой, несколько схожей... ну, если правду сказать, схожей с фигуркой Агнес, упакованной в элегантное, но строгое платье – черно-бело-серебристое. Теперь он уже видит ее лицо, эта женщина, с ума можно сойти, курит сигарету, да еще и без мундштука, и если она сознает, что – по крайности, в Англии – свой детородный орган мужчине случается увидеть во рту женщины чаще, чем сигарету, то ничем этого знания не выдает. Нет, она, нахмурясь, затягивается, не отрывая глаз от зажатого в ее пальцах сооруженного из рисовой бумаги и табака цилиндрика со светящимся кончиком. А затем с безразличным вызовом оглядывает Уильяма сквозь облако дыма, словно говоря: «Ну и что?»

Впав в замешательство, Уильям отводит взгляд к камину и замечает полированную шейку виолончели, выставившуюся над подголовьем обращенного к огню покойного кресла. Выставляется над нею и женская шейка тоже, увенчанная головкой с тонкими, как паутина, мышастыми волосами.

– Играйте, мисс Лестер, играйте, – произносит миссис Кастауэй. – Уверена, этот джентльмен не чурается изящных искусств.

Головка мисс Лестер поворачивается, она бросает в сторону Уильяма взгляд поверх спинки кресла; щека ее прижимается к салфетке подголовья, лоб наморщен, глаза глубоко утопают в глазницах. Однако, поняв, что определение точного места, которое занимает Уильям, потребует от нее слишком серьезных усилий, мисс Лестер снова отворачивается к огню. Пискливые стенания виолончели возобновляются.

И как раз когда Уильям начинает гадать, что сделают эти странные люди с его бесчувственным телом, если оно сейчас замертво рухнет на пол, он с немалым облегчением ощущает ладонь Конфетки, проскальзывающую в его ладонь. Конфетка чуть сжимает пальцы Уильяма, приглашая его последовать за нею.

Поднимаясь по лестнице, Уильям обнаруживает, что уши его горят, а лоб покусывают капельки пота. Мочевой пузырь с каждым шагом разнимается болью все более сильной, Уильяма пошатывает, глаза его застилают туман, который приходится разгонять, моргая. Время, отведенное ему для подвигов плоти, определенно истекает.

– Моя комната – первая наверху, – шепчет идущая бок о бок с ним Конфетка. Она освещает дорогу свечой, держась по-военному прямо, и рука ее сжимает восковой дротик, ничуть не подрагивая. Стихающее пение виолончели овивает ритм их шагов мерной мелодией.

Уильям, оглянувшись, дабы удостовериться, что Мадам не услышит его, бормочет:

– Странная штучка, эта ваша миссис Кастауэй.

Он напрочь забыл услышанные на Друри-лейн слова «двойняшек» о том, что миссис Кастауэй приходится Конфетке матерью, – впрочем, если б ему напомнили о них, Уильям, скорее всего, отмахнулся бы от этого уверения, как от выдуманной глупыми девками белиберды.

– О да, весьма, – с улыбкой соглашается Конфетка и, обметая юбкой последние ступеньки, вступает на площадку лестницы. – Попробуйте представить ее себе как своего рода Януса в красной тафте, а эту дверь как... ну, скажем, как ту, в которую вы страстно стремитесь войти.

Конфетка распахивает ее и кивком предлагает Уильяму переступить порог.

Он, смаргивая пот и покачиваясь, переступает. Если бы только он мог ненадолго выключить эту женщину, как некий механизм, и получить возможность ополоснуть лицо, провести гребешком по волосам, опорожнить пузырь. По счастью, комната Конфетки светла и воздушна и лишена запаха воска, от которого Уильяма так мутило на Друри-лейн. Потолки ее выше, чем в большинстве помещений верхнего этажа, освещена она не свечами, но газом, и хотя камин разожжен, в комнате присутствует благословенное веяние свежести, морозного воздуха, которым тянет неведомо откуда.

Войдя, он сразу сбрасывает сюртук и жилет и направляется к кровати, грандиозному, да еще и искусственно расширенному сооружению, куда более приемистому, чем его собственная (то есть та, в которой он спит дома, – не брачное ложе, оставшееся в комнате, которая обратилась с ходом лет в личную спальню Агнес). Над кроватью Конфетки возносится зеленого шелка балдахин – укрытие, в коем не побрезговал бы расположиться и король. Ниспадающие драпри балдахина немного расходятся, хоть их и стягивают золотые шнуры, а понизу это ложе обтянуто роскошной плетеной тканью оттенка (увы) несоответственного... как бы его назвать?... мятного. Прискорбно. Уильям оглядывается на Конфетку, которая неподвижно стоит у двери, не решаясь снять перчатки, ожидая его одобрения или строгого осуждения. Он улыбается, давая понять, что беспокоиться не о чем, что ему до этой мятной ткани не может быть никакого дела. Она есть просто отрывок вкуса, досадный временный штрих, вне всяких сомнений вынужденный – «дому» приходится экономить. И даже в этом оказывается явленным родство его и Конфетки душ: господи, да довольно вспомнить об унижении, которое испытал бы он, повстречавшись с ней несколькими днями раньше, когда на голове его еще сидела та шляпа!

– Вам все здесь по вкусу, мистер Хант?

– Скоро будет все, – ухмыляется, многозначительно прищуриваясь, он.

Уильям прилегает на матрас, проверяя локтем его упругость и мягкость. И полминуты спустя он уже спит как убитый.

Вообще говоря, заснуть в спальне проститутки – это вещь либо невозможная, либо непозволительная – если, конечно, вы сами не проститутка. В былые дни Рэкхэма, если с ним случалось такое, не обинуясь, расталкивали и доводили до оргазма, а если не получалось, то до задних дверей борделя, из которых и выдворяли в холод ночи, направляя к собственной его кровати, в каком бы удалении она ни стояла.

Теперь же Рэкхэм спит.

Конфетка не ложится с ним рядом. Она сидит за приоконным секретером, полностью одетая (перчатки, впрочем, сняты), и что-то пишет. Растрескавшиеся, шелушащиеся пальцы ее крепко держат перо. Страницы большой тетради, не лишенной сходства с бухгалтерской книгой, постепенно покрываются строками – с долгими паузами, выдерживаемыми между некоторыми словами.

Рэкхэм похрапывает.

Перед самым рассветом Рэххэм просыпается. Он лежит, раскинувшись, на спине, голова его покоится не на подушке, но на мягком покрывале неразобранной постели. Изогнув шею, откинув голову назад, он взглядывает на изголовье кровати. И с испугом видит уставившегося на него мужчину – глаза безумны, волосы всклокочены, – мужчина ползет к нему по покрывалам, ему не терпится (это ясно) вновь приступить к совершению неких гнусных непотребств.

Уильям резко садится, незнакомец тоже. Загадка разрешается: изголовьем кровати служит большое зеркало.

Полог балдахина задернут полностью, заслоняя Уильяма. И слава богу: к ужасу и стыду своему, он обнаруживает, что брюки его пропитаны мочой. Впрочем, пробудило его не это – не истечение из пузыря *per se*²⁶, которое и произошло-то, скорее всего, не один час назад, но способный привести в исступление зуд в клейко-влажном паху. Уильям снова взглядывается в зеркало, мысленно прикидывая понесенный им ущерб. Рвать его, похоже, не рвало, да и сейчас не подташнивает. Голова болит вовсе не так сильно, как он ожидал (похоже, пиво «Камелька» во вред ему не пошло – а может быть, он все еще пьян... Какой теперь час? И какого черта его не выставили отсюда?). Волосы опять разнуздались, стоят на голове торчком, точно шерсть на жирном баране. Он лезет в карман за гребнем, однако нащупывает лишь мятые складки мокрых подштанников.

Боже всесильный, как же он теперь из этого выпутается?

Уильям подползает к изножью кровати, принимает к щелке между половинками полога. Прямо перед ним стоит чугунная тренога, в кольцо ее покоится ведро со льдом. Из ведерка высовывается горлышко непочатой бутылки вина с возвращенной в него пробкой, из которой так и торчит штопор. На полу – не дотянешься – валяется жилет с его часами. Уильям различает даже серебряную цепочку, истекающую из слегка раздувшегося часового кармашка. (Происходи все во Франции, признается себе Уильям, он бы этой цепочки уже не увидел.)

Но где же Конфетка? Уильям задерживает дыхание, вслушивается. Однако слышит, если не считать непонятного скрипа, лишь шорохи, долетающие из камина, звуки, с которыми опадают, утратив опору, куски наполовину сгоревшего угля да совсем уж дотлевшие угольки.

Сквозь щелку в пологе различается только одна стена. По счастью, именно та, в которой прорезано окно, способное доставить ценные сведения о времени суток. Стекла окна почти сплошь затянуты изморозью, толстым слоем изморози, какой всего лишь за час нарасти не смог бы. Небо за ними черно, темно-сине – или же кажется таким по контрасту со светлым нутром спальни. Оконные шторы почти неприметно подрагивают: несмотря на мороз, Конфетка оставила окно чуть приоткрытым. Да, но где же она? Уильям вытягивает шею, утыкается носом в ткань полога, принимает глазом к щели.

Комната Конфетки... непритязательна. Стены выкрашены в безыскусный телесно-розовый цвет, прямую противоположность рококошным излишествам гостиной внизу. Несколько маленьких, обрамленных, поблеклых от времени гравюр развешаны по ним через стратегические интервалы. Меблировка скромна и состоит из свежеебитой кушетки, двух не вполне парных кресел и (Уильям сильнее вытягивает шею) секретера с перьями, чернильницей и... (он моргает, не способный поверить глазам) сидящей за ним Конфетки, ссутулившейся, погруженной в раздумья.

– Э-э... прошу прощения, – извещает о своем пробуждении Уильям.

Конфетка поднимает на него взгляд, откладывает перо, улыбается – обезоруживающей, приветливой улыбкой. Она смертельно устала, это он видит сразу.

– С добрым утром, мистер Хант, – говорит она.

²⁶ Само по себе (лат.).

– О господи... – вздыхает Уильям и смущенно проводит ладонями по волосам. – Какой... какой теперь час?

Конфетка бросает взгляд на невидимые ему часы. Волосы ее, вдруг замечает Уильям, попросту великолепны, пышная корона золотисто-оранжевых прядей: пока он спал, Конфетка не поленилась расчесать их и заколоть.

– Половина шестого. – Она шутливо выпячивает губы. – Если внизу еще не спят, ваша доблесть произведет там сильное впечатление.

Уильям клонится вперед, намереваясь слезть с кровати, но, покраснев, застывает.

– Я... даже не знаю, как вам об этом сказать. Я... со мной... я самым прискорбным, самым постыдным образом... э-э, не совладал с собой.

– О, я знаю, – будничным тоном отвечает она и встает. – Не беспокойтесь, я все улажу.

Она подходит к камину, на решетке которого стоит над угольями тихо побулькивающий чайник. Переливает сверкающую струю кипятка в большую фаянсовую посудину, которая, судя по звуку, уже наполовину полна, и переносит ее к кровати. Кожа на руках Конфетки, замечает Уильям, суха и надтреснута, точно отслоившаяся кора, и все-таки пальцы ее являют совершенство формы. Микеланджеловские пальцы, окольцованные экзотической болезнью.

– Прошу вас, мистер Хант, снимите с себя все мокрое, – говорит Конфетка, опускаясь на колени, так что юбка ложится, расстилаясь вокруг нее. Посудина почти до краев наполнена мыльной водой, и морская губка, покачиваясь, плавает в ней, похожая на очищенную картофелину. Как видно, Конфетка к этой минуте готовилась.

– Право же, мисс Конфетка, – мямлит Уильям. – Это уже чересчур... Не могу же я ожидать от вас...

Конфетка поднимает на него взгляд наполовину прикрытых веками глаз, неторопливо покачивает головой, надувает, изображая мольбу, губы: «тишшш».

Соединенными усилиями им удастся стянуть с него панталоны и подштанники. В каком-то дюйме от носа Конфетки взвизгивает резкий смрад застоялой мочи, однако она не отпрядывает. Глядя на ее немигающие глаза, безмятежное чело, загадочную полуулыбку, можно подумать, что обоняет она не вонь, но аромат духов.

– Ложитесь, мистер Хант, – напевно произносит Конфетка. – Скоро мы все приведем в порядок.

С великой нежностью она оmyвает его, изумленно откинувшегося на постель. Одного прикосновения ее шероховатого кулака оказывается довольно, чтобы заставить Уильяма, чьи чресла она увлажняет тычками теплой мыльной губки, раздвинуть ноги пошире. Увидев воспаленные складки кожи, Конфетка сочувственно хмурится.

– Бедный малыш, – мурлычет она.

Покрывала и простыни под ним наволгли, Конфетка слегка подталкивает Уильяма, и он отползает, извиваясь всем телом, в сторону. Затем, запеленав, точно в варежку, ладонь в чесаную хлопковую тряпицу, она досуха вытирает его. От внимания Конфетки не ускользает ничто, даже щекотная впадинка пупка. Мягкой хлопковой ладонью она нежно сжимает пенис Уильяма и крохотными шажками подвигается вдоль него, как если бы одна лишь длина этого орудия требовала немалых стараний.

– Право же, мисс Конфетка, – вновь протестует он; впрочем, слов для продолжения у него не находится.

– «Мисс» вовсе не требуется, – поправляет она Уильяма и отбрасывает тряпицу. – Просто Конфетка.

И она опускает лицо на ставший благоуханным живот Уильяма, целует его в пупок. Когда кулак Конфетки протискивается, нежно ввинчиваясь, между его припудренными ягодицами, у Рэкхэма перенимает дыхание. Миг спустя она укладывается щекой на его бедро, волосы ее рассыпаются по животу Уильяма и тайное тайных всего его пола погружается в ее

рот. Завладев им, Конфетка просто лежит, не посасывая, не полизывая; тихо лежит, словно сторожа свою добычу. И все продолжает разминать анус Уильяма, поглаживая другой ладонью живот. Член Уильяма затвердевает на ее языке, и когда он плотно притискивается к нёбу, Конфетка начинает посасывать его, безмятежно, почти бездумно, как может посасывать большой свой палец ребенок.

– Нет, – стонет Уильям, но, разумеется, в виду он имеет совсем иное.

Минута проходит за минутой, Конфетка лежит на бедре Уильяма, выдаивая его, исподволь просовывая средний палец в задний проход, все глубже, глубже, минуя сфинктер. И когда Уильям приближается к самому краю, Конфетка, почувствовав, как он сжимает этот палец, тут же стискивает член губами, и струя теплой кашицы ударяет ей в горло. Конфетка натужно сглатывает, сосет, сглатывает снова, медленно извлекает палец, продолжая сосать, сосать, пока не убеждается, что высасывать больше нечего.

Чуть погодя эти двое обсуждают размер вознаграждения.

Близится восход, над Сохо разливается тусклое зарево. По Силвер-стрит уже выступают, позвякивая упряжью, вбивая копыта в мостовую, первые лошади. Газовое освещение спальни приобретает оттенок отчасти нереальный, столь характерный для искусственного света, на который уже покушается его естественная подмена. Тонкий парок встает над мужской одеждой, наброшенной на каминную решетку.

Владелец этих штанов и владелица этой решетки погружены в учтивые пререкания о стоимости взятых *in toto*²⁷ ночных выделений. Склонный к щедрости Рэххэм высказывает опасение, что сон его обошелся Конфетке слишком дорого.

– Сон необходим мужчине, – возражает Конфетка. – Да и жестоко было бы обрекать вас в таком состоянии на блуждания по улицам. А кроме того, ожидая вашего пробуждения, я провела время с немалой для себя пользой.

– А вы его ожидали?

– Конечно ожидала. Вы незаурядный человек, мистер Хант.

– Незаурядный? – Уильям не знает, верить ли ему ушам.

Она улыбается, показывая жемчужно-белые зубы. Теперь уста ее красны и уже не сухи.

– Очень незаурядный.

– И все-таки я считаю, что должен оплатить вам то время, которое провалялся здесь, как пьяный осел. И мою постыдную... невоздержанность. Пусть даже и не намеренную.

– Как пожелаете, – любезно соглашается она.

Впрочем, Рэххэм и не способен разделить прошедшую ночь на обособленные события, разложить их по полочкам и тем самым удешевить. Вместо этого он неловко выуживает из кошелька несколько монет, тяжелых монет, ценность коих намного превосходит суммы, какие когда-либо доставались обитателям – ну, скажем, Черч-лейн.

– Я... этого довольно? – осведомляется он, пересыпая серебро в ладонь Конфетки.

– Точка в точку, – смыкая пальцы, отвечает она. – С учетом и небольшой приплаты за... – (она подмигивает), – сон.

Снаружи грузчики втаскивают в заднюю дверь магазина нечто громоздкое. Усталые мужские голоса скандируют: «Раз, два, ставим!», за этим следует глухой удар, сопровождаемый лязгом цепей. Голый по пояс (снизу) Уильям подходит к окну, пытается взглянуть в происходящее сквозь замутненные изморозью стекла, но ничего различить не может.

– Знаете, – задумчиво сообщает он, – я ведь так и не видел вас обнаженной.

– В следующий раз, – обещает Конфетка.

Он понимает, что пора отправляться домой, но до чего же не хочется ему уходить. Да и брюки, должно быть, еще не просохли. И чтобы выиграть несколько минут, Уильям при-

²⁷ В целом, полностью (*лат.*).

нимается разглядывать висящие на стенах гравюры, обходя их с важной неспешностью – такой, будто он присутствует сейчас на выставке Королевской академии. Все это – порнография, изображения джентльменов восемнадцатого столетия (дедов его отца, так сказать), с большим удовольствием употребляющих потаскух тех времен. Мужчины выглядят на них благостными остолопами, краснолицыми и толстыми; женщины тоже пухлы, у них рафаэлевские груди, рукава в буфах и овечьи физиономии. На этих гравюрах фаллосы, вдвое большие, чем у него, вторгаются в ненатурально распяленные влагалища, и все-таки эротичности в картинках не больше, чем в иллюстрациях к Библии. По мнению Рэкхэма, картинки эти (какое тут требуется слово?)... *невыразительны*.

– Они вам не нравятся, верно? – раздается близ его плеча хрипловатый голос Конфетки.

– Не очень. По-моему, они второсортны.

– О, вы вне всяких сомнений правы, – говорит Конфетка, обнимая его рукою за талию. – Они провисели здесь целую вечность. Они безвкусны. Собственно, я знаю слово, которое определяет их полностью: невыразительные.

Уильям ошеломленно всматривается в нее. Неужели и мысли его так же голы перед ней, как ноги и гениталии?

– Я заменю их чем-нибудь получше, – мечтательно обещает она. – Если, конечно, наступит время, когда я смогу себе это позволить.

И она отворачивается, словно обескураженная зияющей пропастью, которая отделяет ее от возможности приобретения порнографических картинок наивысшего качества.

Внезапно в сознании Рэкхэма возникает образ куда более яркий – воспоминание об этой женщине, какой он увидел ее, проснувшись: о Конфетке, в половине шестого утра сидевшей, ссутулясь, за секретером и что-то писавшей. И сердце Уильяма ущемляется сознанием ее бедности – чем, собственно говоря, могла она заниматься? Исполнением какого-то каторжного труда, но какого? Существует ли такое явление, как секретарская сделщина? Уильям никогда о ней не читал (а она безусловно заслуживает статьи в одном из ежемесячников, чего-нибудь вроде «Возмутительное безобразие, творимое в самом сердце нашего прекрасного города!»), но по какой же еще причине стала бы женщина корпеть среди ночи над толстой тетрадью? Или ей не удастся зарабатывать в качестве... в качестве проститутки деньги, достаточные, чтобы сводить концы с концами? Быть может, ей недоплачивают, быть может, мужчины в большинстве своем отвергают ее по причине малости ее груди, нездоровой кожи и мужского склада ума. Ну, им же хуже, думает Рэкхэм. *Honi soit qui mal y pense!*²⁸

Ощущаемое Уильямом сострадание к Конфетке он нипочем не смог бы испытать ни к «двойняшкам» с Друри-лейн, ни уж тем более к потаскухам, которые липнут к нему на темных улочках, к этим созданиям, неотделимым, совершенно как крысы, от грязи, их окружающей. Ведь к крысам сердце ни у кого не лежит. А вот увидеть, как Конфетка – умная, красивая юная женщина, которая разделяет с ним невысокое мнение о Мэтью Арнолде, да и вообще имеет с Уильямом много общего, – поздней ночью надрывается над заляпанной чернильными кляксами бухгалтерской книгой, значит проникнуться угрызениями совести. Уж если для человека его темперамента возня с документами «Парфюмерного дела Рэкхэма» оказывается жестокой в ее нудности работой, то как же должна страдать, переписывая такого рода бумаги, едва вышедшая из отроческого возраста женщина, до краев наполненная надеждами и жизнью? И как же трудна сама Жизнь для тех, кто достоин лучшего!

– Мне пора уходить, – говорит Уильям, касаясь ладонью ее щеки. – Однако прежде я... я мог бы дать вам еще кое-что.

– О? – Она возводит брови и поднимает руку, чтобы взять его за ладонь.

– На кровати.

²⁸ «Да будет стыдно тому, кто дурно об этом подумает!» (*фр.*) – девиз ордена Подвязки.

Объяснение это или приказ, реакцию Конфетки оно не изменяет; Конфетка забирается на кровать – в башмачках и прочем – и встает на колени. Уильям влезает следом за ней, набирает полные пригоршни мягких юбок, закидывает зеленые шелка ей на спину. Набитый конским волосом турнюр ложится нелепым большим горбом, таким объемистым, что он заслоняет ее отражение в изголовье.

– Я не вижу вашего лица, – говорит Уильям.

И пока он стягивает с нее панталончики, Конфетка поднимает голову повыше, напрягаясь так, точно ее призвали к совершению Ламаркова подвига эволюции, – нижняя челюсть подрагивает, рот приоткрыт от натуги. Уильям видит все это поверх нагромождения скомканных тканей – и это, и многое иное, отражаемое зеркалом.

Влагалище ее узко и на удивление сухо. Да, похоже, и все тело девушки нуждается в более существенной смазке; возможно, столу ее недостает жирных блюд либо основных питательных веществ. Странно, но когда Конфетка держала его во рту, казалось, будто она лишена зубов, теперь же, пока Уильям входит в нее, неподатливые складочки внутренней плоти словно покусывают нежное наверхие его члена. И все-таки он продирается сквозь эти тернии, раз или два поморщась от боли, упорствуя, пока два органа, его и ее, не прилаживаются друг к другу идеальным образом, и тогда он мгновенно извергает семя, точно вытолкнутое неким поршнем.

Несколько минут спустя, уже натянув горячие, влажноватые брюки, Уильям вручает Конфетке еще одну монету, и в этот миг на него вдруг накатывает страх, что больше он ее не увидит. (Собственно, страх небеспричинный: разве не знал он в Париже предпочитавшую грубое обращение девку, которая пообещала ему «*À demain!*»²⁹, а наутро от нее и следа не осталось?)

– Вы будете здесь завтра? – спрашивает он.

Лоб Конфетки идет морщинами, как если б Уильям всего лишь возобновил прервавшийся в «Камельке» разговор о Смерти, Роке и Душе.

– На все воля божья, – чуть улыбаясь, отвечает она.

Уильям уже стоит на пороге ее комнаты, медля, сознавая, что если он задержится здесь еще ненадолго, то поставит себя в нелепое положение.

– Что ж, мистер Хант, до свидания. – Она целует его в щеку, губы ее сухи, как бумага, дыхание душисто, как ароматическое мыло.

– Да... я... но... но я должен сказать вам... это имя, Джордж Хант. Оно... стыдно признаться... выдуманно. Ложь во спасение. Я не хотел, чтобы те пронырливые девицы из «Камелька» стали чрезмерно докучливыми.

– Мужчине следует оберегать свое имя, – соглашается Конфетка.

– Осмотрительность есть добродетель, неоднократно поруганная, – сообщает Уильям.

– Вам нет нужды открывать мне что-либо.

– Уильям, – тут же выпаливает он. – Мое имя – Уильям.

Она кивает, с приличествующим случаю безмолвием принимая его доверие.

– Однако, – продолжает он, – я был бы безгранично признателен вам, если бы вы согласились, находясь со мной на людях, называть меня мистером Хантом.

Конфетка приоткрывает рот, собираясь что-то сказать, но заслоняет его тылом ладони, подавляя зевоту. «Пожалуйста, простите меня, я страшно хочу спать», – с мольбой говорят ее глаза, однако она снова кивает:

– Как вам будет угодно.

– Но называйте меня Уильямом – здесь.

– Уильям, – повторяет она. – Уильям.

²⁹ «Завтра!» (фр.)

Рэкхэм улыбается, довольство еще озаряет его лицо, когда каких-то шестьдесят секунд спустя он уже стоит на улице, один, ставший на две гиней беднее, и лошади всхрапывают слева от него, и снежинки покусывают ему лицо. Стылый ветер извещает Уильяма о том, что штанам его не помешало бы провести у огня еще какое-то время; смрад фекалий под ногами напоминает, как легко истребляется сладкий запах женщины.

Разумеется, не в первый раз Уильяма Рэкхэма спокойно и споро выставляют на улицу, едва лишь заканчивается его свидание с проституткой. Но уж определенно впервые он достигает этого мгновения совершенно удовлетворенным, не сожалеющим ни о едином из потраченных пенни, ни о едином пережитом мгновении. Боже, какая ночь! Все сложилось не так, как он навоображал, и, однако же, все затмило его мечты! Кто бы в такое поверил? Ему хочется рассказать кому-нибудь эту волнующую повесть, хочется помчаться домой и... Впрочем, нет, пожалуй, не стоит.

Снегопад слабеет, стихает и вдруг кончается, однако узкую улочку продувает насквозь, и Уильям начинает дрожать. И все же ему не хочется покидать место, в котором он пережил приключение столь замечательное, ведь не может же все завершиться так вдруг! Уильям оборачивается, смотрит на тыльную стену дома миссис Кастауэй, гадая, какое из окон принадлежит Конфетке. В самой середине здания ярко горит окно, за которым различается некое движение, чей-то силуэт. Впрочем, это не Конфетка – ребенок, продвигающийся медленно и с запинками, горбясь под тяжестью груза, который он тащит вверх по невидимой отсюда лестнице.

– Извините, хозяин, – раздается за спиной Уильяма чей-то голос.

Уильям, подпрыгнув от неожиданности, оборачивается, дабы выяснить, кто посмел вторгнуться в его грезы.

Перед ним стоит грязная старая карга с ржавым ведром в руке, темное лицо ее напоминает изъеденную Темзой деревяшку, помертвевшие волосы неотличимы от изношенной шали, их накрывающей, спина согнута, точно ржавый серп, обернутый в сальное тряпье. Свободная рука старухи свисает, всего лишь на дюйм-другой не достигая земли, шишковатые пальцы стиснуты вблизи брючных обшлагов Уильяма, словно в надежде коснуться их.

– Извините, хозяин, – повторяет она дряхлым, бесполом голосом, исходящим, как кажется, из гнойника, укрытого ее заляпанной нечистотами одеждой. Смердит она отвратительно. Уильям отступает в сторону.

И сразу же старуха приближается, переваливаясь, к тому самому месту, на котором он стоял, или дьявольски близко к нему. Почернелой клешней она подбирает с земли большой ком собачьего дерьма, вертит его в руке – осторожно, чтобы не раскрошился, – и отправляет в ведро, уже на четверть заполненное мерзостью того же рода, предназначенной для кожевенного завода в Бермондси, где ее используют при выделке сафьяна и лайки. Рэкхэм вглядывается в нее, и старуха, ошибкой приняв читающееся в его глазах неверие за жалость, начинает гадать, не позволит ли эта утренняя удача прибавить что-либо к восьми пенсам, кои она рассчитывает получить за ведро «шакши».

– Полпенни на хлебушек, а, хозяин?

Гальванизированный отвращением, Уильям выкапывает из кошелька и швыряет ей монету. Старухе достает ума не хватать его за ладонь в перчатке, не целовать ее. Взамен она, словно исполняя его желание, растворяется в первых лучах солнца.

Кто-то стучится в дверь спальни. Конфетка открывает ее, соорудив на лице наилучшее из «безмятежных» своих выражений – на случай, если это мистер Хант, Уильям, Прекрасный Принц, как бы его ни звали, вернулся за позабытой подвязкой или просто для того, чтобы потискать ее грудь. «Мне вдруг пришло в голову, что я так и не видел ваших грудей».

Но нет, это не мистер Хант.

– Уже на ногах, Кристофер?

Мальчик стоит, заволакиваемый паром, который поднимается над принесенной им бадьей свежевскипяченной воды. Одет он лишь наполовину, густые светлые волосы встрепаны, в уголках глаз еще сохранились капли прозрачной влаги.

– Я у тебя свет увидел, – говорит он.

Милый мальчуган всегда предвосхищает нужды Конфетки, подобные нынешней. А может быть, просто старается отлынуть от другой грязной работы по дому.

– Ты что же, не спал?

– Эми разбудила. – Он шмыгает носом, разминает мелкие розовые пальцы, пытаясь восстановить в них ток крови. Тусклый железный обод бадьи достает ему до колен, а длина ее окружности, прикидывает Конфетка, равна его росту.

– Так рано? Зачем же она тебя подняла?

– Да она ни фига и не поднимала. Просто кричала во сне.

– Правда? – Обычно Эми избавляется от своего последнего гостя гораздо раньше Конфетки и не вылезает из постели до следующего полудня. – Я никогда ее криков не слышала.

– Дак она ж тихо кричит, – отвечает, насупясь, Кристофер. – Просто я близко лежу. Вроде как у самого рта.

– Правда? – Послушав утренние разговоры Эми, трудно поверить, что она станет терпеть присутствие сына в своей постели. – А я думала, ты у себя в чуланчике спишь.

– Ну да. А как Эми закончит, перебираюсь к ней. Она, когда спит, не против. Ей тогда все по фигуре.

– Ей тогда все *безразлично*, Кристофер.

– Ну, дак а я чего говорю?

Конфетка вздыхает, поднимает бадью и вносит ее в комнату, старательно показывая всем телом, до чего тяжела эта ноша. Маленький герой! Она почти уж решилась сойти в котельную, хоть час был и неурочный, ибо ко времени, когда Уильям – мистер Хант – Император Зассыха – наконец удалился, в доме не осталось ни малейших признаков жизни. Уже выволокла из укрытия в гардеробе сидячую ванну и всякого рода необходимые принадлежности и как раз пыталась заставить себя спуститься за водой, когда в ее дверь постучал Кристофер.

– Я, право же, очень тебе благодарна, – говорит она, переливая содержимое бадьи в ванну.

– Дак я для того тут и верчусь, – пожимает плечами мальчик. – На жизнь-то зарабатывать надо.

Оглянувшись на Кристофера, еще стоящего на площадке, Конфетка отмечает явственные свидетельства его борьбы с бадьей, которую он, дабы избавиться от необходимости подниматься наверх еще раз, проволоком наполненной до краев по столь многим ступенькам лестницы. На предплечьях мальчика отпечатались багровые полумесяцы, босые ступни и обшлага штанов мокры, от них еще поднимается парок расплесканной им горячей воды.

– Ты у нас глава дома, – хвалит она Кристофера, забыв, что лесть он воспринимает как обиду. Раздраженно дернувшись, мальчик отворачивается и убегает вниз.

«Стыд и срам», – думает она, хотя, с другой стороны, время, в течение которого женщине удастся удерживать в голове все потребности и предпочтения мужчин, не бесконечно. И сейчас, в смутном свете зари, Конфетка готова себя простить.

Она раздевается – впервые за тридцать три часа. Зеленое платье ее попахивает дымом сигар, пивом и потом. Корсет весь в пятнах от краски лифа, который явно не следует подставлять под дождь. Лифчик попахивает, панталончики все в слизи, выплеснутой упоенным мужчиной. Она сваливает одежду в кучу и голой вступает в ванну. Сначала ее длинные ноги, потом исцарапанные ягодицы и, наконец, грудь, о чьей недоразвитости несущие околесицу

свиньи, что подвизаются в пакостных изданиях вроде «Нового лондонского жуира», упомянуть не забывают никогда, – все это опускается в пузырящуюся воду.

За окном все громче звучат гоготки, болтовня и оглушительный лязг, сопровождающие радения возчиков; заснуть будет, пожалуй, трудно – впрочем, ей, скорее всего, удастся впасть в забытие, когда наступит временное затишье, неизменно наступающее между приготовлениями лавок к новому дню и появлением покупателей. Сознание ее уже размывается по краям; главное, не задремать в ванне. Теперь Конфетка ощущает такую усталость, что даже не может припомнить, исполнила она свой профилактический ритуал или не исполнила.

Тяжелые пряди волос выпутываются из рассыпающейся прически, падая на мокрую спину, роняя булавки в воду, когда Конфетка оборачивается, чтобы посмотреть, вспомнила она о нем или забыла. Посудина с противозачаточным раствором стоит там, где Конфетка ее оставила, – да, теперь она припоминает, все было сделано заведенным порядком. И слава богу. Не то чтобы Конфетка помнит, как вводила в себя спринцовку, однако вот она – лежит, мокрая (снабженная не тряпкой, как у Каролины, а настоящей морской губкой), рядом с посудинкой.

Сколько сотен раз выполняла Конфетка этот обряд? Сколько истрепала губок и ватных тампонов? Сколько раз готовила этот ведьмин настой, с рассеянной точностью отмеряя его составляющие? Да, разумеется, в пору Черч-лейн рецепт его был немного иным; теперь Конфетка добавляет к квасцам и цинковому купоросу щепотку *sal eratus*, пищевой соды. Однако, по существу, это все то же зелье, над коим, налив его в тазик, она почти еженощно приседает на корточки с тех пор, как у нее, шестнадцатилетней, начались месячные.

Из волос вываливается главная булавка, длинные, отпущенные до пояса, они норовят ниспасть в тепловатую воду. Конфетка, дрожа, поднимается и стоит, подбоченясь, над пеной. И наконец-то ей удается извергнуть пустяковый, но причиняющий боль, не вытекший раньше остаток мочи. Желтоватые капли опадают в мыльную пену, выписывая на ее белой поверхности темную несуразицу. Но одни ли писи вытекают сейчас из нее? Не осталось ли там чего-то еще? Временами Конфетка, шагая по улице через целые полчаса после омовения, вдруг ощущает, как на ее белье выплескивается, марая его, поток семени. Что могло быть на уме у Бога, или у Сил Природы, или кто там, предположительно, оберегает Вселенную от распада, когда они столь затруднили внутреннее очищение? Чем, если говорить об общем порядке вещей, так уж драгоценно сотворение еще одного напыщенного человечка, отчего ему дозволено мертвой хваткой вцепиться в твое нутро?

– Да проклянет Господь и Господа, – шепчет она, напрягая и расслабляя тазовые мышцы, – и все немыслимо грязное творение Его.

И словно в ответ на струйку, излитую ею в ванну, замерзшее окно испускает барабанную дробь, за которой следует ласковый натиск дождя, потопляющего гам, создаваемый лошадьми и людьми. Конфетка выступает из ванны, отирается свежим белым полотенцем, а тем временем изморозь потрескивает на стекле, обретая млечный оттенок, смываясь, открывая в светлеющем небе силуэты кровель. Огонь в камине погас, полумертвая от усталости Конфетка, дрожа от холода, натягивает на себя через голову ночную сорочку. Ладно, терпение, проявленное ею с – как его там? с Называйте-Меня-Уильямом – вознаграждено с избытком: столько денег она могла получить, лишь приняв трех мужчин кряду. И не забывайте, алчность ей вовсе не свойственна – она с удовольствием обошлась бы и без финального перепиха.

И вот Конфетка, приволакивая ноги, направляется – да, да, да – к кровати.

Покряхтывая, она откидывает обвислые покрывала. В зеркале отражается сердитая юная женщина, готовая убить всех и вся, если они посмеют встать на ее пути. Решительно всхрапнув, она ухватывается за края изгаженных простыней, пытается стянуть их с матраса, однако силы уже покинули ее. И потому Конфетка, обреченно ссутулясь, гасит свет, запол-

зает в оставшийся сухим угол постели, к самому зеркалу, натягивает на себя одеяло и испускает тонкий стон облегчения.

Несколько секунд она еще лежит без сна, прислушиваясь к шуму дождя. А потом закрывает глаза и дух ее, как обычно, отлетает от тела, устремляясь в темноты неведомого, не сознавая, что на этот раз он летит в отличном от былых направлении. Внизу на земле остаются грязная ванна и волглая постель, запертые в ветшающем доме, который стоит среди других ветшающих домов огромного, головоломного города. Поутру он будет с нетерпением дожидаться возможности вновь поглотить ее. Однако существует реальность порядка высшего: реальность снов. И в этих снах о полете прежняя жизнь Конфетки уже подошла, подобно книжной главе, к концу.

Часть 2. Дом греха

Глава седьмая

Переодевшийся в чистое платье наследник «Парфюмерного дела Рэкхэма» стоит с легкой от недостатка сна головой посреди своей гостиной и смотрит на дождь, гадая, не есть ли то, что он сейчас ощущает, любовь. Он промок до костей, доставивший его домой кебмен взял с него непомерную плату, никто его здесь не ждал – он вынужден был четырежды дернуть за шнур звонка, ванны ему пришлось дожидаться сто лет, а теперь приходится дожидаться и завтрака, но все это не имеет значения. Там, далеко, думает он, живет женщина всей его жизни.

Он посильнее дергает за шнурок, и шторы расходятся шире – так широко, как могут. Однако проливной дождь, последовавший за ним из города до самого Ноттинг-Хилла, оставил от солнечного света лишь малую малость; сквозь французские окна просачивается только слабая бледнота, оседающая в освещенной лампами гостиной подобием пыли. Половина десятого, а лампы все еще горят! Ах, но и это не имеет значения. Дождь прекрасен – так, как только может быть прекрасен дождь! И подумай, сколько грязи смоет он с улиц! И подумай еще: всего в нескольких милях к юго-востоку отсюда живет под этим же небом, а ныне, по всем вероятностям, лежит, прикрывшись одеялом, в постели греховный ангел, носящий имя Конфетка. И внутри у нее, на обложке ее лона, светится, как серебро, его семя.

Уильям вставляет в губы сигарету, затягивается, поднося ее к открытому пламени, мысленно подтверждая себе самому решение, которое принял, едва покинув дом миссис Кастауэй: Конфетка должна целиком принадлежать ему одному. Пустое мечтание? Ничуть. Он должен лишь разбогатеть, а богатство, огромное богатство, только и ждет, когда Уильям предъявит на него права.

Облачко дыма по его сторону стекла; панорама дождя по другую. Воображение рисует Уильяму столицу, видимую с большой высоты, – вся она скреплена и спутана не только сетью дождя, но и его собственной сетью, паутиной его судьбы. Да, в этот светлый и серый день он возьмет, пока спит Конфетка, империю Рэкхэма в свои руки. Пусть эта женщина спит – скоро для него придет время дернуть за нужную ниточку и пробудить ее.

Непонятные шумы доносятся откуда-то из глубин дома, не распознаваемые ни как шаги, ни как голоса, едва различимые сквозь гул дождя. Дождливая погода, как обнаружил Уильям, лишает слуг всякого разума. Собственно говоря, он замечал это так часто, что даже подумывал написать для «Панча» занимательную статью, озаглавив ее «Погода и прислуга». Глупые эти создания бесцельно шныряют взад-вперед, на несколько мгновений замирают на месте, а после срываются с него, внезапно исчезая под лестницами либо в коридоре – совершенно как котята. Забавно... однако этим утром они заставляют его дожидаться завтрака так долго, что за этот срок он и вправду мог бы уже написать какую угодно статью.

Легкое головокружение, вызванное, вне всяких сомнений, голодом, вынуждает его присесть в ближайшее кресло. Сквозь табачный туман Уильям смотрит на навощенный пол гостиной и обнаруживает тонкую струйку воды, проникающей сюда через французское окно вследствие одной только силы и напора дождя. Струйка неровно ползет по половицам, малопомалу приближаясь к нему; путь ей, подрагивающей в ожидании нового натиска ветра, осталось проделать еще неблизкий. Поскольку занять себя Уильяму нечем, он просто сидит, завороченно следя за ее продвижением, мысленно заключая пари о том, достигнет ли она носка его левой домашней туфли ко времени, когда Летти придет объявить, что завтрак

подан? Если не достигнет... что он тогда сделает? Ласково поздоровается с Летти. А если достигнет... накажет. Так что судьба Летти в собственных ее руках.

Впрочем, когда служанка наконец появляется, ею оказывается не Летти, а Клара.

– С вашего позволения, сэр, – произносит она (ухитряясь на присущий ей очаровательный манер довести до сведения хозяина, что его позволение или непозволение ей решительно безразлично), – этим утром к вам присоединится за завтраком миссис Рэкхэм.

– Да, я... что?

– Миссис Рэкхэм, сэр...

– Моя – жена?

Клара глядит на него как на идиота: разве в доме имеется другая миссис Рэкхэм?

– Да, сэр.

– Так она... вполне здорова?.

– Я в ней ничего нездорового не заметила, сэр.

Уильям погружается в размышления, а кончик сигареты, забытой между пальцами, подбирается к ним и наконец обжигает.

– Великолепно! – произносит он. – Какой приятный сюрприз.

Вот так Уильям и оказывается сидящим за накрытым на двоих столом, ожидая, когда заполнится пустующее кресло напротив. Он дует на чувствительно обожженные пальцы, потряхивает в воздухе ладонью. Уильям был бы не прочь обмакнуть их в ледяное вино или воду, но перед ним только чай да кувшинчик с молоком, которое вскоре понадобится ему (и... и Агнес?).

Столовая, рассчитанная на семью библейских размеров, выглядит безрадостно поместительной. Кто-то из слуг, желая, видимо, сгладить это впечатление, забил камин поленьями, отчего излишки тепла скапливаются под столом, удерживаемые там тяжелой льняной скатертью. Было бы лучше, если б они, напрягши свои скудные умственные способности, додумались пошире раздвинуть шторы: не очень-то здесь светло.

Летти вносит блюдо гренок и горячей сдобы. Она сегодня совсем не в себе, бедняжка. Отнюдь не так выглядела эта служанка в то утро, когда Уильям сообщил ей, что она станет получать на два фунта в год больше, «поскольку Тилли у нас больше не служит». Тогда ни малейшей хмурости в лице ее не отмечалось! Впрочем, он знает, в чем тут причина: решать, какую в точности работу кому из слуг надлежит выполнять, обязана Агнес, хозяйка дома, а она этого не делает. И слугам приходится самим выдумывать для себя всё новые и новые занятия.

– Все в порядке, Летти? – негромко спрашивает Уильям, пока она наливает ему чашку чая.

– Да, мистер Рэкхэм.

Из прически ее выбился клочок волос, один белый манжет сполз ниже другого. Однако Уильям решает оставить это без внимания.

– Пригасите немного огонь, Летти, – вздыхает он, когда служанка заканчивает начинять его подставочку для гренок. – Еще минута, и все мы просто воспламенимся.

Летти недоуменно помаргивает. Большую часть времени она снует по продуваемым сквозняками коридорам, спальня ее расположена в мезонине, так что тепло – вещь для нее не самая привычная. Маленький, плохо устроенный каминчик Летти обладает склонностью задыхаться и гаснуть, отчего в комнате ее становится еще холоднее; а недавнее увеличение обязанностей не оставляет ей времени, которое потребно, чтобы выскоблить его дымоход.

Пока она, опустившись у камина на колени, исполняет его поручение, Уильям промокает салфеткой лоб. Почему вдруг Агнес выбрала это утро, именно это, чтобы позавтракать с ним? Неужели безумие одарило ее начатками ясновидения? И ей на миг явилась картина:

муж и Конфетка *in delicto*?³⁰ Видит Бог, Агнес мирно проспала множество мужниных измен, но не ощутила ль она сегодня остаточный пыл его упоения? Да, вещь возможная: упоение Уильяма пронизывает дом подобно скопившемуся перед грозой электричеству, возбудило оно и Агнес. Вот сию минуту она лежала без чувств в окутанной тьмой, тихой спальне; а в следующую глаза ее рывком, точно у куклы, раскрылись, пробужденные к жизни изменениями атмосферного заряда.

Уильям исподтишка снимает с масленки крышку и, зачерпнув немного золотистого масла, смазывает им пальцы.

Оставим пока Уильяма, последуем за покидающей столовую Летти. Сама по себе Летти никакого значения не имеет, однако по пути к длинному, ведущему на кухню подземному коридору она видит спускающуюся по лестнице Агнес, а ведь Агнес – одна из тех, ради знакомства с кем вы сюда и прибыли. И потому будет много лучше, если вы воспользуетесь возможностью понаблюдать за ней сейчас, до того, как она соберется с силами, потребными, чтобы предстать перед мужем.

Итак, перед вами Агнес Рэхэм, с опаской, прикусив губу, сходящая по винтовой лестнице. Скрепя сердце она доверяет свой вес каждой из покрытых ковровой дорожкой ступенек, вцепляясь в перила ладонью с белеющими костяшками и прижимая другую к груди, прямо под оранжевым воротом своего утреннего халата. Он сшит из бархата цвета берлинской лазури, этот халат, и просторен в сравнении с ее грациозным телом настолько, что подруб его грозит опутать укрытые мягкими серыми туфлями ступни и сбросить Агнес с лестницы.

Вы задаете себе вопрос – не случилось ли вам где-то видеть ее и прежде? – да, случилось. Агнес – идеал высокой Викторианской эпохи; в пору женитьбы на ней Уильяма она была самым совершенством, пусть и выглядит теперь, когда семидесятые переваливают за половину, женщиной чересчур эксцентричной. Ставшие ныне писком моды обличья и манеры не имеют к Агнес ни малого отношения, и все же она остается идеалом, чью вездесущность невозможно избыть всего за одну ночь. Она украшает тысячи живописных полотен, десятки тысяч старых почтовых открыток, сотни тысяч жестянок с мылом. Она – образец фарфоровой женственности – пять футов два дюйма росту, синие глаза, гладкие, тонкие светлые волосы и рот, похожий на розовый оком крошечного влагалища, девственного, разумеется.

– С добрым утром, Летти, – говорит она, останавливаясь и припадая, чтобы произнести эти слова, к перилам. Трудная встреча с мужем еще впереди, и нет никакого резона искушать на этом рискованном спуске Судьбу, говоря и переступая одновременно.

При появлении жены Уильям вскакивает.

– Агнес, дорогая! – восклицает он, спеша выдвинуть ее кресло из-под стола.

– Пожалуйста, Уильям, не суетись, – отвечает она.

Так начинается битва, давняя битва, в которой каждый из них норовит закрепить за собой преимущественное право именоваться нормальным человеком. Существуют же мерки, коим удовлетворяют все разумные люди: вот и следует выяснить, кто из них двоих не отвечает этим меркам с большей явственностью. Кого сочтет более неполноценным незримо замерший в пространстве между ними беспристрастный судья? Стартовый пистолет уже выстрелил.

Усадив жену, Уильям чопорно возвращается к собственному креслу. Повисает тишина, такая мертвая, что оба супруга слышат раздающееся неподалеку шипение озабоченных жен-

³⁰ На месте преступления (*лат.*).

ских голосов – что-то такое насчет закатившей скандал Стряпухи и несогласия между шипящими (Летти и Кларой?) по части того, кто из них здесь главнее.

Агнес, не обращая внимания на разразившуюся из-за нее свару, спокойно намазывает масло на сдобу. Откусив кусочек, она убеждается, что сдобу эту соорудили из остатков хлебного мякиша, и возвращает ее на тарелку. Ей больше пришлось бы по вкусу обычная сладкая пышка, еще теплой вынутая из салфетки.

Минуту-другую спустя в столовую Рэкхэмов входит раскрасневшаяся Летти.

– С вашего позволения... – с жеманной улыбкой произносит она и приседает в реверансе – насколько ей, держащей на каждой подрагивающей ладони по большому, изрядно нагруженному подносу, таковой удается изобразить.

– Благодарю вас, Летти, – произносит Агнес, наблюдая за мужем, пока на стол выставляются одно за другим блюда: настоящий завтрак из тех, какие подают, лишь когда в доме наличествует хозяйка, умеющая добиться его приготовления.

Над яйцами еще поднимается парок, ломтики бекона хрустят и крепки до того, что ими хоть масло намазывай, сосиски проварены как полагается, ни одна не лопнула; коричневатые, точно суглинок, грибы, рулеты, оладьи, идеально поджаренные почки – все это и многое иное расставляется перед Рэкхэмами.

– Что ж, надеюсь, на аппетит ты сегодня не жалуешься, дорогая, – не без язвительности произносит Уильям.

– О нет, – заверяет его Агнес.

– Стало быть, чувствуешь ты себя хорошо?

– Вполне, благодарю. – Она обезглавливает яйцо: желток его до того шафранов и мягок, что лучшего и желать не приходится.

– Ты и выглядишь очень хорошо, – отмечает Уильям.

– Спасибо. – Она шарит глазами по стенам в поисках вдохновения, которое позволит ей продолжить разговор. И хоть никаких окон с места, на котором Агнес сидит, не видно, она вспоминает вдруг дождь, который всю ночь составлял ей компанию, исчерчивая окна спальни наверху.

– Должно быть, это погода улучшила мое самочувствие, – задумчиво произносит она. – Ужасно странная погода, ты не находишь?

– Угум, – соглашается Уильям. – Очень мокрая, но далеко не столь же холодная. Не правда ли?

– Да, верно, морозливости больше нет. Если, конечно, существует такое слово, «морозливость».

(Какое облегчение! На отсырелом фундаменте погоды все же выстраивается пусть и худосочный, но разговор.)

– Что ж, дорогая моя, если такого слова и не существует, ты только что сделала английскому языку хороший подарок.

Агнес улыбается, но, к сожалению, Уильям именно в эту минуту вглядывается в рулет, пытаясь понять, из чего тот изготовлен – из говядины или из баранины. И потому улыбку приходится продлить до мгновения, в которое он поднимает взгляд и замечает ее, – правда, к этому времени, хоть Агнес и продолжает удерживать первоначальную складку губ, улыбка лишается чего-то трудноопределимого.

– Полагаю, ты слышала эту... перебранку? – осведомляется Уильям, указывая в примерном направлении вновь возобновившегося змеино-го шипа.

– Я ничего не слышала, дорогой. Только шум дождя.

– Думаю, после ухода Тилли слугам стало не хватать направляющей руки, которая указывала бы, кому и чем следует заниматься.

– Бедная девочка. Мне она нравилась.

– Они ждут этих наставлений от тебя, дорогая.

– Ах, Уильям, – вздыхает Агнес. – Все это так сложно, так скучно. Они прекрасно знают, что следует делать; неужели им не по силам самостоятельно распределить обязанности между собой?

И она опять улыбается, радуясь случаю вспомнить нечто уместное, относящееся до общего их прошлого:

– Разве здесь не то, о чем ты так часто говорил: не социализм?

Уильям сердито выпячивает губы. Социализм вовсе не означает, что прислуге дозволяется учинять беспорядок и погружаться в анархию. Но ничего, ничего: в день, подобный этому, не стоит выходить из себя по таким пустякам. Вопросы обслуживания скоро будут разрешены – по крайней мере, в доме Уильяма Рэхэма – недвусмысленно и окончательно.

Существует проблема более неотложная: разговор их того и гляди испустит дух. Уильям обшаривает свой мозг в поисках чего-то способного заинтересовать жену, однако находит в нем одну лишь Конфетку – Конфетку во всех его углах и закоулках. Но ведь за три не то четыре недели, прошедшие со времени последнего его завтрака в обществе Агнес, он наверняка повстречался хоть с кем-то, кто знаком им обоим!

– Я... я недавно встретил Бодли и Эшвелла, по-моему... по-моему, это было во вторник.

Агнес склоняет головку набок, стараясь изобразить внимание и интерес. Бодли и Эшвелла она не переносит, однако не следует упускать счастливой возможности поупражняться в преддверии лондонского Сезона, во время которого ей придется помногу беседовать, подделывая интерес к ним, с людьми решительно неприятными.

– И что же? – осведомляется она. – Чем они нынче заняты?

– Пишут книгу, – отвечает Уильям. – О молитве, о действенности молитвы. Полагаю, она наделает много шума.

– Им он придется по сердцу, не сомневаюсь. – Агнес выбирает несколько грибков, аккуратно пристраивает их на гренки. Небольшое число лакомых кусочков времени уже подъедено, однако неудобоваримая вечность осталась почти нетронутой.

– Генри так и не заглянул к нам в прошлое воскресенье, – замечает она, – и в позапрошлом тоже.

И, выдержав, дабы муж свыкся с новым поворотом беседы, короткую паузу, произносит:

– Мне он нравится, а тебе?

Уильям моргает, он в замешательстве. Чего Агнес стремится достичь, говоря о его брате так, точно он – некий занятный господин, с которым она познакомилась в гостях? Или жена дает ему понять, что радеет о Генри много больше, чем он?

– Наши двери всегда открыты для него, дорогая, – говорит Уильям. – Но возможно, он находит нас недостаточно благочестивыми.

Агнес вздыхает.

– Я благочестива настолько, – отвечает она, – насколько допускают мои обстоятельства.

Уильям решает, что в эту тему лучше не вдаваться, ничего, кроме неприятностей, она не сулит. Лучше съесть сосиску, пока та еще не остыла. Воображение рисует ему голую женщину с огненно-рыжими волосами – она ничком лежит на кровати, белое семя его поблескивает на алых губках ее влагища. И Уильяму приходит вдруг в голову, что он все еще не видел ее груди. Вглядываясь в эту картину, он жаждет, чтобы женщина, перевившись в талии, повернулась к нему, но ничего не происходит, – пока Агнес не прерывает молчания.

– Я вот все думаю, что, если... – Она нервически прижимает пальцы ко лбу, затем, спохватившись, спускает их к щеке. – Что будет, если погода такой навсегда и останется... Дожливой... Дождь обратится в норму, а ясное небо в диковину?

Муж смотрит на нее, демонстрируя готовность прождать столько времени, сколько ей потребуется, чтобы вернуться к осмысленному разговору.

– Ну, то есть, – набрав воздуха в грудь, продолжает она, – я представляю себе, как... Как всему миру придется... приладиться к вечному дождю, и когда наконец настанет сухой день, му...мужья и жены... сидящие за завтраком, таким как наш... могут счесть его ужа... ужасно странным.

Уильям неодобрительно насупливается, на секунду перестает жевать, а затем решает, что ему лучше промолчать. Он отрезает новый кусочек сосиски; серебряный нож его поскребывает по фарфору в светозарном сумраке запеленутой в саван дождя столовой.

– Угум, – мычит он. Весьма удобный звук, в состав его входят согласие, удивление, предостережение и невозможность сказать что-либо по причине набитого рта – все, что Агнес сочтет нужным из этого звука извлечь.

– Ешь, дорогой, ешь, – вяло настаивает она.

И снова Уильяму приходится обшаривать мозг в поисках новостей, касающихся общих знакомых.

– Доктор Керлью, – начинает он, однако это не лучшая для обсуждения с Агнес тема, и потому Уильям меняет ее – настолько гладко, насколько ему удастся. – Доктор Керлью рассказывал мне о своей дочери, Эммелин. Она... она, по его словам, не желает вновь выходить замуж.

– Да? Но чем же она хочет заняться?

– Она проводит едва ли не все свое время в «Обществе спасения женщин».

– То есть работает в нем? – Неодобрение действует на голос Агнес как возбуждающее средство, сообщая ему богатство оттенков, в которых он столь сильно нуждается.

– В общем, да. Полагаю, затруднительно было бы обозначить ее занятия каким-то другим словом...

– Конечно.

– ...потому что, хоть общество это и благотворительное, а она – доброволец, от нее ожидают исправного выполнения любых поручений. Насколько я понял рассказ Керлью, Эммелин целые дни проводит в Приюте, а то и на улицах, и когда она затем навещает его, от нее положительно воняет.

– Что вряд ли можно счесть удивительным – брр!

– Впрочем, следует отдать этому обществу должное, по его уверениям, оно добилось поразительных успехов – так, во всяком случае, говорит доктор.

Агнес с тоской глядит за спину Уильяма, словно надеясь, что некий исполинского роста праотец ворвется в столовую, дабы восстановить погранные приличия.

– Право же, Уильям... – поеживается она. – Такая тема. Да еще за завтраком.

– Хм, да... – Муж сконфуженно кивает. – Она и вправду несколько... хм. – Он отхлебывает чаю. – И все-таки... И все-таки это зло, которому мы обязаны смотреть в лицо, тебе не кажется? Как нация, и притом без всякого страха.

– Какое? – Агнес питает жалкую надежду, что, если ей удастся утратить, и безвозвратно, нить разговора, сам предмет его сгинет без следа. – Какое зло?

– Проституция.

Он выговаривает это слово отчетливо, глядя ей прямо в глаза, зная, черт подери, что ведет себя жестоко. Где-то в глубине его сознания Уильям Рэхэм – тот, что подбробнее, – бессильно наблюдает за тем, как это одинокое длинное слово, с его пятью слогами и острыми рожками между двух «т», пронзает его жену. Миниатюрное личико Агнес белеет, она глотает воздух.

– Знаешь, – фальцетом произносит она, – когда я сегодня утром выплянула в окно, кусты роз – их ветви – подергивались вверх и вниз, так, будто... как будто зонт открывался и

закрывался, открывался и закрывался, открывался и... – Она плотно сжимает губы, словно проглатывая опасность бесконечного повторения. – Я подумала – ну, то есть, говоря «подумала», я не имею в виду, что действительно поверила в это, – однако они выглядели так, точно тонули в земле. Содрогались, как большие зеленые насекомые, которых затягивает травяная трясина.

Договорив, она чопорно выпрямляется в кресле и укладывает руки на колени, подобно ребенку, только что прочитавшему, стараясь изо всех сил, стишок.

– Ты хорошо себя чувствуешь, дорогая?

– Хорошо, Уильям, спасибо.

Пауза, затем Уильям вновь принимается за свое.

– Вопрос таков: *являются ли реформы верным решением?* И даже – возможны ли они? Разумеется, «Общество спасения» может утверждать, что некоторые из этих женщин ведут ныне добродетельную жизнь, но кто знает это наверняка? Искушение – штука мощная. Если раскаявшаяся блудница прекрасно сознает, что может за один вечер заработать столько, сколько швея зарабатывает за месяц, так ли уж крепко будет она держаться за честный труд? Ты можешь представить себе, Агнес, – шить, получая за это гроши, горы хлопковых ночных сорочек и знать, что стоит тебе на несколько минут снять собственную сорочку и...

– *Уильям, прошу тебя!*

Тонкая струйка жалости просачивается в его сознание. Пальцы Агнес стискивают скатерть, покрывая ткань складками.

– Прости, дорогая. Прости. Я забыл, что ты несколько не в себе.

Агнес принимает его извинения с легким подергиванием губ, которое можно истолковать как улыбку – а можно и как нервную дрожь.

– Давай поговорим о чем-то другом, – говорит, нет, почти шепчет она. – Позволь, я налью тебе еще чаю.

Прежде чем он успевает возразить, сказать, что для исполнения этой работы следует призвать служанку, она сжимает в кулачке ручку чайника и поднимает его – с усилием, от которого подрагивает ее запястье. Уильям вскакивает с кресла, намереваясь помочь супруге, однако Агнес уже успела встать и изогнуть изящное тело так, чтобы оно помогало ей удерживать тяжелый фарфоровый чайник.

– Сегодня особенный день, – говорит она, склоняясь над чашкой Уильяма. – Я все обсужу, – (медленно наливает чай), – мы со Стряпухой все обсудим и испечем твой любимый шоколадный кекс с вишней, ты так давно его не получал.

Уильяма услышанное трогает – трогает до глубины души.

– Ах, Агги, – говорит он. – Это было бы просто чудесно.

Эта картина – жена, такая маленькая и хрупкая, стоит перед ним, наливая ему чай, – внезапно потрясает Уильяма. Как низко, как несправедливо обходится он с нею! Не только этим утром, но с тех самых пор, как она прониклась отвращением к нему. Ее ли, на самом-то деле, вина в том, что она восстала против его любви, начала относиться к нему как к скоту, а в конце концов в скота и обратила? Ему надлежало смириться с тем, что она – цветок, не предназначенный для цветения, существо, возвращенное в теплице, но не ставшее по этой причине ни менее прекрасным, ни менее достойным обладания. Ему следовало обожать ее, превозносить, заботиться о ней, разрешить оставаться самой собой до скончания дней. Тронутый почти до слез, он через стол тянется к ней.

Неожиданно руки Агнес начинают трястись, трястись с механической остервенелостью, так что носик чайника дробно постукивает по ободку Уильямовой чашки. Миг, и чашка слетает с блюдца, и на белизну скатерти выплескивается коричневатая жидкость.

Уильям вскакивает, однако трепещущие пальцы Агнес уже сорвались с фарфоровой хватки чайника, а сама она с обезумевшим взором засеменила прочь от стола. Плечи ее,

которые он пытается охватить успокоительной рукой, содрогаются; Уильяму кажется, что из них словно истекает, как из надувного шарика, воздух, и тут Агнес с рвотным каким-то вскриком валится на пол. Или опадает на ковер, это уж как вам больше нравится. Впрочем, каким бы способом ни достигла она пола, приземляется Агнес беззвучно, и остекленевшие ярко-синие глаза ее остаются открытыми.

Уильям смотрит на нее, не веря тому, что видит, хоть жена и не в первый уж раз распластывается у его ног; его мутит от тревоги, но и от омерзения тоже, ибо он подозревает, что обморок этот подделен. И Агнес в свой черед смотрит на него снизу вверх, странно успокоившаяся – теперь, когда падать ей дальше уж некуда. Прическа ее сохранила опрятность, тело изогнуто так, точно она собралась отойти ко сну. Меленькое дыхание, приподнимающее ее грудь, показывает, что тело это, укрытое синим халатом, отличается зрелостью много большей, чем позволяет предполагать ее миниатюрность.

– Я совершила ошибку, встав из постели, – задумчиво и вяло произносит она, переводя взгляд с мужа на штукатурные розетки потолка. – Думала, что смогу, но не смогла.

По счастью – по крайности для Рэкхэма, – в этот миг появляется Джейни, присланная для уборки стола.

– Джейни! – рявкает Уильям. – Бегите к доктору Керлью и попросите его немедленно прийти сюда.

Служанка приседает в реверансе, готовая исполнить приказ, однако ее останавливает голос лежащей на полу хозяйки.

– Джейни не может покинуть дом, – указывает распростершаяся на ковре и уже немного осипшая от его пыли миссис Рэкхэм. – Она нужна на кухне. А Летти сейчас занята постелями. Джейни, скажите Беатрисе, пусть сходит она; мы только с нею и можем сейчас расстаться.

– Да, мэм.

– И пришлите сюда Клару.

– Да, мэм. – И служанка, не ожидая дальнейших распоряжений хозяина, торопливо уходит.

Уильям Рэкхэм бессмысленно возвышается над женой, неловко разминая кисти рук. Давным-давно, когда болезнь Агнес еще была ему внове, он поднимал ее с пола, брал на руки, переносил из одной комнаты в другую. Теперь он знает, что просто поднять ее – мало. И откашливается, изыскивая способ выказать жене сострадание и снисхождение.

– Ты не ушиблась, дорогая? Уверена? Как по-твоему, может быть, не стоило вызывать доктора Керлью? Я сделал это, не подумав, от... от волнения. Теперь же мне кажется, что доктор тебе вовсе не нужен. А ты как думаешь? – Он делает ей заманчивое предложение, а уж соглашаться на него или нет, пусть решает сама.

– Очень мило, что ты так считаешь, – томно отвечает она. – Однако теперь уже ничего не изменишь.

– Глупости. Я могу вернуть служанку назад.

– И думать нечего. Хозяйство и без того уж расстроено, и что станет с ним, если ты будешь в домашних туфлях гоняться по улицам за служанками?

И она отворачивается к двери, из которой должно явиться ее спасение.

Несколько секунд спустя спасение и является – Клара. Она бросает один взгляд на хозяина, другой на миссис Рэкхэм. Это не более чем естественно, оценка ситуации: естественно же соединить взглядом стоящего мужчину и лежащую навзничь женщину. И все же Уильям улавливает во взгляде Клары нечто большее – гневное обвинение, которое выводит его из себя: он в жизни своей не ударил ни одного человека! А если когда-нибудь и ударит, то, видит Бог, эта наглая мелкая тварь будет, скорей всего, первой!

Впрочем, Клара уже не обращает на него никакого внимания; она поднимает Агнес на ноги (или та поднимается сама? – все совершается на удивление легко), и две женщины плечом к плечу покидают столовую.

Ну-с, и за кем же нам следовать? За Уильямом или за Агнес? За хозяином или хозяйкой? В этот важнейший день – за хозяином.

Обморок Агнес, сколь бы драматичным он ни был, большого значения не имеет – она уже падала в обмороки и будет падать еще.

Уильям же напрямик направляется к себе в кабинет и, усевшись за стол, проделывает нечто такое, чего никогда прежде не делал. Он принимается читать отцовские бумаги, перечитывать их, а затем обдумывать, глядя в дождь, пока наконец не проникается их пониманием. Испытанное потрясение привело его в состояние неусыпного бодрствования, готовности к чему угодно. На столе Уильяма светятся страницы истории «Парфюмерного дела Рэкхэма», расчерченные вертикальными тенями стекающих по оконным стеклам струек дождя. Уильям читает, держа наготове перо. В этот день, грозовой и такой знаменательный, он призовет свое непослушное будущее к порядку.

Бесстрашно раскрывает он свой ум для математики удобрений, арифметики акров, неустойчивого равновесия ректификации и разжижения. Встречая слово, ничего ему не говорящее, он отыскивает его в справочниках, предусмотрительно предоставленных отцом, – в «Лексиконе рачительного растениеводства» и «Энциклопедии производителя духов и эссенций». Минувшая ночь обратила неведение внутреннего устройства «Парфюмерного дела Рэкхэма» в роскошь, коей Уильям и дальше позволять себе не может.

Разумеется, он хочет избавить Агнес от всех ее бед. Каждый раз, как в доме вводится новая мера бережливости – удаляется еще одна служанка, сокращается еще один расточительный расход, – ей становится только хуже. Карета и кучер сделали бы для возврата ее здоровья больше, чем любое из предписаний Керлью.

Однако не Агнес есть коренная причина того, что Уильям вникает в неряшливые, выцветшие каракули отца, терпеливо сносит его вопиюще провинциальное правописание и вопиюще провинциальный склад ума, ломает голову над техническими тонкостями извлечения сока из сухих листьев. Коренная причина кроется в следующем: если он хочет получить Конфетку в полное свое распоряжение, ему придется за эту привилегию заплатить. Вероятно, она обойдется ему в небольшое состояние, каковое – выбора у него нет – придется изъять из состояния большого.

Он стопорит свои труды, потирает свербящие от усталости глаза. Потом пролистывает назад несколько страниц рукописного трактата, сочиненного отцом на предмет сыновнего просвещения, перечитывает абзац-другой. В составленной отцом летописи жизненного цикла лаванды (если «жизненный цикл» – это правильное название для того, что происходит со срезанным цветком) утрачено некое звено. На одной странице говорится, что вновь процеженное масло обладает нежелательным «затхлым запахом», а на следующей этот запах уже отсутствует, непонятно куда испарившись. Уильям проводит ладонью по волосам, обнаруживает, что они снова стоят торчком, но оставляет это открытие без внимания.

«Затхлый запах – *quo vadis?*»³¹, записывает он на полях, полный решимости выйти из этого испытания с неповрежденным чувством юмора.

Внизу, в столовой, Джейни собирается с силами для исполнения собственной важной задачи. Ей предстоит устранить все последствия того, что мисс Тиллотсон назвала происшедшим за завтраком «крушением». Джейни, слишком затурканная, чтобы осмелиться спро-

³¹ Куда идешь? (лат.)

силь о значении этого слова (она всегда считала его как-то связанным с военным флотом), пришла сюда готовой к самому худшему, с ведром и шваброй, в потяжелевшем от тряпок и щеток переднике. Обнаруживает же она брошенный, но совершенно восхитительный завтрак, а при осмотре более пристальном – вылившийся из всего лишь одной чашки чай. На полу никакого сора не видно, кроме того, который сама же Джейни и принесла налившим на доннышко ведра – несколько крох грязи из нижних, лишенных ковров областей дома Рэкхэм.

Поколебавшись, она протягивает руку к ломтику холодной ветчины, одному из трех, еще поблескивающих на серебряном блюде. Джейни сжимает его кургузыми пальцами, откусывает кусочек. Воровство. Впрочем, гнев Божий явно не собирается пасть на ее голову, и Джейни, осмелев, съедает весь ломтик. Вкусен он до того, что ей хочется послать один по почте домой, брату. Следом проглатывается сдобная булочка, запиваемая перестоявшим чаем. К не съеденным миссис Рэкхэм почкам Джейни не прикасается, поскольку не знает, что это такое. Ее диета состоит из того, что считает для нее полезной Стряпуха.

Испорченная, как все о ней и говорят, Джейни опускает усталое тело в кресло миссис Рэкхэм. Джейни всего девятнадцать лет, а ноги ее уже туги и испещрены прожилками, что твой свиной рулет, и любая возможность отдыха для них – благословение. Кисти рук ее, красные, точно вареные раки, составляют живой контраст белому фарфору хозяйской чайной чашки, в ручку которой Джейни просовывает указательный палец. Она робко оттопыривает мизинец, пытаясь понять, возникает ли при этом какое-либо различие в том, как чашка снимается со стола.

Однако на этом терпение Бога приходит к концу. Звон дверного колокольчика заставляет Джейни выпрыгнуть из кресла.

– Входите, Летти, – говорит Рэкхэм, однако ошибается: входит все та же Клара. И за что только он платит прислуге? Или пока он здесь трудится, дом погрузился в окончательный хаос? Но тут Уильям вспоминает: пятнадцать минут назад он сам отправил Летти с поручением к торговцам канцелярскими принадлежностями.

– Я полагаю, пришел доктор Керлью?

Снова ошибка. Клара сообщает, что ни доброго доктора, ни Беатрисы покамест не видно, зато прибыли с визитом мистер Бодли и мистер Эшвелл. Они (с добросовестной прерзительностью цитирует Клара) вызывают его на поединок, собираясь исполнить друг при друге обязанности секундантов и требуя, чтобы Рэкхэм сам выбрал оружие.

– Я скоро выйду к ним, – говорит он. – Скажите им, пусть чувствуют себя как дома.

Если мы и вправе хоть в чем-то полагаться на Бодли и Эшвелла, так это в умении чувствовать себя как дома где бы то ни было. Когда Уильям добирается, попутно читая бумаги, до места, на котором можно естественным образом прерваться, и спускается вниз, он застаёт их развалившимися в креслах курительной и лениво пинающими друг друга по ногам, тягаясь за право упокоить оные на облысевшей голове тигриного чучела.

– *Ave*³², *Рэкхэмус!* – произносит, прибегая к старому школьному приветствию, Эшвелл.

– Боже мой, Билл, – восклицает Бодли. – А глаза-то у тебя еще и похуже моих! Ты что же, всю ночь вставлял кому-то?

– Да, а кроме того, я начинаю новую жизнь, – выпаливает в ответ Уильям. Он готов ко всему! В день, подобный сегодняшнему, что бы ни послал ему Бог, желая его разогорчить, – недосып, обожженные пальцы, упавшую на пол Агнес, гору прескучнейших бумаг, которую

³² Привет (лат.).

ему придется перелопатить, или остроты друзей-холостяков, – он ничему не позволит омрачить блеск его торжества.

Помогает, однако, и то, что в обществе Бодли и Эшвелла он всегда остается достойным холостяком. Для этой парочки Агнес попросту не существует до той поры, пока о ней не упомянет Уильям. Надо признать, впрочем, что здесь, в доме Рэкхэма, отрицать ее существование труднее, чем на улицах Лондона или Парижа, ибо напоминания о ней разбросаны повсюду. Салфетки на подголовниках кресел связаны ею; скатерти пестрят ее вышивками; под каждой вазой, подсвечником и безделушкой почти наверняка отыщется салфетка или подстилочка, изысканно изукрашенная мастеровитыми ручками миссис Рэкхэм. Даже на кипарисовом ящике для сигар красуется расшитый Агнес чехольчик (в пять ниток разных цветов да еще и с шелковыми кистями). Однако Уильям («Сигару, Бодли?») настолько привык к пышным прикрасам, коими супруга покрыла все, что попадает ему на глаза, что перестал их замечать.

В определенном смысле эта манера Бодли и Эшвелла – неприятие самого существования миссис Рэкхэм – свидетельствует скорее об их участливости, чем о бесчувственности. Они тактично не касаются брака Уильяма без особой на то необходимости, как если бы брак этот был неким болезненным, коего бессмысленно поторапливать с выздоровлением. И Уильям благодарен им, по-настоящему благодарен, за готовность разыгрывать трех мудрых мартышек (хорошо, пусть двух), не видящих зла, не слышащих зла и... ну ладно, он не знает, говорят ли они об Агнес, оказавшись в каком-то ином обществе, что-либо недоброе. Уильям надеется, что не говорят.

– Однако ты должен нам кое-что рассказать, – говорит Эшвелл по прошествии нескольких минут, отданных сплетням и сигарам. – Ты должен открыть нам тайну миссис Фокс. Ну-ка, Билл: в чем состоят ее добродетели? – оставляя, разумеется, в стороне Добродетель как таковую.

– А разве может быть добродетельной женщина, подвизающаяся среди проституток? – возражает ему Бодли.

– Так ведь в этом и состоит первейшее требование, ммм? – отвечает Эшвелл, – к женщине, избравшей подобное занятие.

– Да, но соприкосновение с Пороком развращает! – протестует Бодли. – Неужели ты этого до сих пор не заметил?

Уильям щелчком отправляет свою сигару в камин.

– Я уверен, что миссис Фокс никакому пороку не подвластна. Она – наместник Господа, только в шляпке. Именно эту мысль внушал мне Генри с первого же дня его знакомства с нею. Впрочем, наверное, не с первого, поскольку навещает он меня не так чтобы часто. – Уильям откидывается в кресле, вглядывается в потолок, желая убедиться, не витают ли там все еще остатки прежних ведшихся здесь разговоров. – Она такая хорошая, Уильям, – так он твердил мне. Такая хорошая. Достанется же какому-то счастливцу в жены святая женщина.

– Да, но что он думает о ее якшанье с блудницами?

– Этого он мне не говорил. Полагаю, оно ему не нравится.

– Бедный Генри. Мрачная тень Греха встает между ним и его любовью.

Уильям в насмешливом неодобрении грозит ему пальцем.

– Перестань, Бодли, перестань, ты же знаешь, Генри страшно оскорбился бы, услышав он, как это слово употребляется применительно к чувствам, коими он проникся к миссис Фокс.

– Какое именно слово? Грех?

– О нет, Любовь! – укоризненно произносит Уильям. – Любой намек на то, что он влюблен в миссис Эмелин Фокс...

– Ха, да ведь это так же бросается в глаза, как нос на его лице, – усмехается Эшвелл. – Что же еще, по его представлениям, так часто сводит их вместе? Необоримая прелесть словопрений по поводу Священного Писания?

– Да-да, именно она! – восклицает Уильям. – Тебе не следует забывать о том, что оба они *бешено* благочестивы. Каждый слух о преобразовании или промахе Церкви – у нас либо за границей – возбуждает в них нестерпимый интерес. – («Тогда почему же они и слышать не желают о нашей новой книге?» – бормочет Бодли.) – Что же касается работы миссис Фокс в «Обществе спасения», она, по рассказам Генри, трудится там исключительно во имя Божие. Ну, сами знаете: возвращение душ в овчарню...

– Нет, старый друг мой, нет, – поправляет его Бодли. – Души возвращаются *в лоно Церкви*, а в овчарню – заблудшие овцы.

– Что до Генри, – упорствует Уильям, – он все еще одержим желанием обратиться в пастора. Впрочем, не помню – в пастора, викария, приходского священника? Чем дольше он растолковывает мне различия между ними, тем меньше разницы я в них нахожу.

– Вся разница в том, – произносит, подмигивая, Бодли, – какую часть церковной десятины они прибирают к рукам.

Эшвелл фыркает, достает из внутреннего кармана сюртука расплющенный ком обернутого в папиросную бумагу рахат-лукума.

– Что за нелепость, – невнятно произносит он, откусив кусок и возвратив остаток лакомства в карман. – Такой прекрасный образчик мужественности – наш лучший загребной, непревзойденный пловец, я и сейчас словно вижу его бегающим, обнажившись по пояс, по кембриджскому Выгону. О чем он думает, волочась за тошнотворной вдовой? Только не говори мне о ее непорочной душе, – я похотливец за милую чую!

– И как он может хотя бы смотреть на нее? – стонет Бодли. – Она же похожа на борзую! Это длинное кожистое лицо, наморщенный лобик, и всегда такая ужасно сосредоточенная – точь-в-точь ожидающая команды собака.

– Оставь, – говорит Уильям. – Не слишком ли большое значение придаешь ты телесной красоте?

– Да, но, черт побери, Уильям, – вот ты, женился бы ты на вдове, которая смахивает на собаку?

– Но Генри вовсе не собирается брать Эмелин Фокс в жены!

– О-о-о! Какой скандал! – гримасничает Бодли, ударяя себя ладонями по щекам.

– Я готов поручиться, – заявляет Уильям, – что брат не ждет от миссис Фокс ничего, кроме бесед.

– О да, – ухмыляется Эшвелл и снимает, разгоряченный разговором, сюртук. – *Бесед*. Они беседуют, прогуливаясь по парку, сидя в уютных кондитерских или на морском берегу, беседуют и при этом не сводят друг с друга глаз. Я слышал, они даже катались в лодке по Темзе – вне всяких сомнений ради того, чтобы обсудить Послание к Фессалоникийцам.

– Вне всяких сомнений, – настаивает Уильям.

Эшвелл пожимает плечами:

– А это безумное желание податься в священники – давно он его питает?

– О, годы и годы.

– В Кембридже я за ним ничего такого не замечал – а ты, Бодли?

– Прошу прощения? – Бодли роется в карманах снятого Эшвеллом сюртука, отыскивая рахат-лукум.

– Отец запретил ему даже говорить с кем-либо об этой мысли, – поясняет Уильям. – Вот Генри и хранил свое желание в тайне, хотя для меня, с прискорбием должен сказать, тайны оно не составляло. Он всегда был устрашающе набожен, даже в нашем с ним детстве.

И всегда сожалел о том, что у нас в семье было принято читать молитву один, а не два раза в день.

– Вообще-то, ему следовало считать себя счастливецом, – задумчиво произносит Бодли. («Так он и *считает* себя счастливецом», – саркастически замечает Эшвелл.) – В *нашей* семье молились дважды в день. Чему я и обязан моим атеизмом. Одно лишнее проявление притворного благочестия в день, и у бедного дурачка вроде Генри возникает потребность стать духовным лицом.

– Как бы там ни было, для отца это было большим ударом, – говорит Уильям. – Он так надеялся, что именно Генри, его драгоценный тезка, возглавит наше дело. А вместо того, – (Уильям смотрит друзьям прямо в глаза), – возглавить его придется, разумеется, мне.

Бодли и Эшвелл ошеломленно молчат, явственно пораженные такими словами Уильяма о «Парфюмерном деле Рэкхэма», составлявшем обычно еще одну запретную тему. Что ж, пусть поражаются! Пусть получают хотя бы отдаленное представление о переменах, произошедших с ним со вчерашнего дня!

Разумеется, его так и подмывает рассказать им о Конфетке, воспеть ей хвалы и (да, вот именно) взять хоть и небольшой, но реванш за последние несколько лет, в которые Бодли и Эшвелл вели столь беззаботную, в сравнении с его собственной, жизнь. Однако он слишком хорошо представляет себе, чем ответят друзья на его откровения: «Ну что же, попробуем и Конфетку!» И что ему тогда останется? Лживо хулить ее, подобно запинающемуся на каждом слове старому селянину, который пытается убедить солдата-мародера, что его, селянина, дочь не стоит усилий, потребных для того, чтобы ее изнасиловать? Пустая затея. Для таких, как Бодли и Эшвелл, любые женские прелести суть всеобщее достояние.

– А скажите, – спрашивает он взамен, – слышали вы что-нибудь новенькое о той удивительной девушке, о которой рассказывали мне?

– Об удивительной девушке?

– Ну той, жестокой – с хлыстом, – предположительной дочери не помню уж кого...

– Люси Фицрой! – в один голос восклицают Бодли и Эшвелл.

– Клянусь Богом, как странно, что ты упомянул о ней, – говорит Эшвелл. Он и Бодли поворачиваются друг к другу и приподнимают каждый по брови – это их условный знак, говорящий, что настал черед новой истории.

– Да, чертовски странно.

– Прежде всего, новости о ней мы получили, э-э, всего лишь через три часа после того, как рассказали тебе про нее, не так ли, Бодли?

– Через два и три четверти, не более.

– Новости? – понукает их Уильям. – И какие же?

– История, увы, невеселая, – отвечает Эшвелл. – Один из поклонников Люси, судя по всему, набросился на нее.

– Набросился? – эхом отзывается Уильям. Чувства, которые он питает к Конфетке, заставляют его истолковать услышанное самым благоприятным для девушки образом.

– Да, – подтверждает Бодли, – с ее же собственным хлыстом.

– И жестоко ее излупцевал.

– Особенно пострадали рот и лицо.

– Отчего боевого задора у нее, сколько я понимаю, поубавилось.

Бодли, обнаружив, что сигара его угасла, вынимает ее из губ и, после недолгого изучения сохранных ею возможных достоинств, швыряет в камин.

– И, как ты понимаешь, – продолжает он, – больших надежд на нее мадам Джорджина теперь уже не возлагает. Даже если она захочет дожидаться выздоровления девушки, у той все равно останутся шрамы.

Эшвелл, опустив глаза долу, снимает со своей штанины пушинку.

- Бедняжка, – сокрушенно произносит он.
- Да, – ухмыляется Бодли. – Как сдали падшие!
- От этих слов Уильяма с Эшвеллом пробегает дрожь.
- Бодли! – восклицает кто-то из них. – Ты просто ужасен!

Бодли улыбается во весь рот и заливается краской, точно получивший нагоняй школьник.

В этот миг дверь курительной распаивается и в нее влетает Джейни, запыхавшаяся и расстроенная.

– Я... простите, – произносит она, шатко подвигаясь вперед, как будто некая гигантская грязная волна давит ей на спину, угрожая вплеснуться, минуя ее, в эти дымные мужские владения.

– Что такое, Джейни? – (Черт побери, девица устала на Бодли – или она не знает даже того, кто тут хозяин?)

– Сэр... с вашего позволения... я хотела... – Джейни немного попрыгивает на месте, словно в нервическом танце, – это не столько реверанс, сколько пантомимическое изображение малой естественной надобности. – Ах, сэр... ваша дочь... она... она вся в крови, мистер Рэкхэм!

– Моя дочь? В крови? Боже милостивый, что это значит? Вся в крови – где?

Джейни, перепуганная до смерти, съеживается и с подвыванием отвечает:

– *Везде, сэр!*

– Ну что же... э-э... – в смятении произносит Уильям, изумленный тем, что в крайности этой обращаются ни с того ни с сего к нему, а не к кому-то другому. – Почему же... э-э... как бишь ее... не...

Джейни, чувствуя, что всю вину того и гляди свалят на нее, почти утрачивает способность соображать:

– Няни нет, сэр, она ушла за доктором Керлью. И мисс Плейфэр я найти не смогла, она, наверное, тоже ушла, а мисс Тиллотсон, она не...

– Да-да, я уже понял! – Унижение жжет Рэкхэма, как некогда жег Геракла пропитанный кровью Несса хитон. Ничего не попишешь, прислуги в доме сейчас слишком мало, та, что уцелела, в обстоятельствах чрезвычайных ни на что не годна и – что еще того хуже – жена его, увы, недееспособна. А потому, гости у него или не гости, ему приходится вникать во все самому.

– Друзья мои, прошу меня простить... – начинает он, однако Эшвелл, понимая, в сколь незавидное положение попал Уильям, берет на время власть в свои руки и отдает уже давящейся рыданиями Джейни следующий приказ:

– Ну-с, Джейни, не стойте столбом – приведите ребенка сюда.

– Да! – поддерживает его Бодли. – Драма, кровопролитие и женственный шарм – чего еще можно желать в дождливое утро?

Служанка, дождавшись кивка Уильяма, убегает, и – да, теперь они различают его, животный вой ребенка. Поначалу приглушенный, затем различимый с большей ясностью (предположительно, потому, что открылась дверь детской) даже сквозь шум дождя. Он нарастает и нарастает, извещая о продвижении девочки по лестнице, пока наконец не становится и впрямь очень громким, контрапунктически сопровождаемым опасливыми шепотками и шиканьем.

– Ну *пожалуйста*, мисс Софи, – поскуливает Джейни, вводя в курительную единственное порожденное на свет Уильямом и Агнес дитя. – *Пожалуйста*.

Однако убедить мисс Софи Рэкхэм, что визжать можно было бы и потише, не удастся никак.

Несмотря на весь этот оглушительный шум, вы, как я замечаю, заинтригованы: подумать только, Уильям, оказывается, еще и отец! Вы уже провели с ним столько времени, наблюдали его в обстоятельствах самых интимных, а вам это даже в голову не пришло! Что представляет собой его дочь? Сколько ей лет? Три года? Шесть? Трудно сказать. Лицо ее искажено, залито кровью и слезами. Что-то выпирает из-под заляпанного кровью передничка – узел, не узел, – Софи придерживает его, чтобы не выпал, окровавленной ручонкой; однако две дряблые тряпичные кукольные ноги все равно свисают наружу, побалтывая криво простеганными ступнями. Софи все подхватывает и подхватывает куклу, стараясь подтянуть ее ноги повыше, и не прекращает при этом вопить. Кровь пузырится на ее лице, капает с всклокоченных светлых волос, окропляя персидский ковер и бледные, босые ступни девочки.

– Да что же, в конце-то концов... – ахает Уильям, однако Бодли уже выскочил из кресла, взмахом руки приказал Джейни отойти и, опустившись на колени перед залитой кровью девочкой, сомкнул на ее затылке ладони.

– Ч-что с ней не так, Бодли?

Наступает страшная пауза, затем Бодли со всей серьезностью объявляет:

– Боюсь, что это... эпистаксис! Хоботогенное кровоистечение! Ну-ка, дитя, отвечай, и побыстрее: кому завещаешь ты свою куклу?

Уильям, ощущая прилив и облегчения, и гнева, падает в кресло.

– Бодли! – вопит он, стараясь перекрычать безостановочные завывания Софи. – Это не шутка! Жизнь ребенка так хрупка!

– Чушь, – шикает, не поднимаясь с колен, Бодли. – Стало быть, удар по носу, верно? Как же ты его получила, ммм? Софи?

Рев продолжается. Бодли, стараясь привлечь к себе внимание девочки, дергает куклу за ноги. И, ободренный тем, как воспринимает это Софи, приподнимает ее передничек, выставив куклу напоказ.

– А теперь, Софи, – предостерегающим тоном произносит он, – тебе надлежит освободить твоего маленького друга. Ты же напугала его до смерти! – Плач Софи сразу становится куда более тихим, и Бодли продолжает развивать свой успех. – Слушая, как ты реवेशь, он наверняка решил, что того и гляди осиротеет – останется совсем один! Ну-ка, усади его на пол – впрочем, нет, отдай его на минутку мне. Смотри, какими большими стали его глаза – это с перепугу.

Кукла – мальчик-индус с вышитым на груди словом «Твинингс» – действительно большеглаза, ее шоколадно-коричневая фарфоровая головка выглядит пугающе живой в сравнении с мягким тряпичным тельцем, с мягким пеньковым скелетиком, завернутым в лоскуты бумагеи, имеющие отдаленное сходство с блузой и панталончиками. Софи заглядывает своему кули в лицо, прочитывает в нем страх – и отдает куклу незнакомому ей джентльмену.

– Ну вот, – продолжает Бодли, – теперь ты должна убедить его, что с тобой все хорошо. Да только, пока лицо у тебя все в крови, сделать это будет непросто. – (Вопли Софи утихли, теперь она лишь похныкивает, хотя в носу ее еще пузырится алая жидкость.) – Эшвелл, дай мне твой носовой платок.

– Мой платок?

– Будь благоразумен, Эшвелл, мой еще не вышел из моды. – Не отрывая глаз от Софи и держа в одной руке куклу, Бодли поднимает другую руку над головой и заводит за спину, нетерпеливо пошевеливая пальцами, пока в них не вкладывают платок. А затем приступает к делу, с такой силой промокая и вытирая лицо Софи, что она покачивается, неспособная устоять на ногах. Предаваясь этому занятию, он краем глаза замечает Джейни и напевным тоном школьного учителя отдает ей распоряжение:

– А ну-ка, Джейни, сейчас мне понадобится влажная тряпица, не правда ли?

Служанка, слишком ошеломленная, чтобы стронуться с места, лишь разевает рот.

– Влажная тряпица, – терпеливо упрощает задание Бодли. – Вернее, две тряпицы, и одна из них влажная.

Кивок хозяина отправляет Джейни исполнять это поручение, а тем временем из-под носового платка начинают проступать черты единственного ребенка Уильяма. Теперь девочка просто шмыгает носом, приподнимая и опуская голову в том же ритме, в каком незнакомый джентльмен, коему девочка инстинктивно доверяется, протирает ее лицо.

– Смотри! – говорит Бодли, вновь привлекая внимание девочки к кукле. – Он чувствует себя намного лучше, видишь?

Софи кивает, из огромных, обведенных краснотой глаз ее выкатываются последние слезы, она тянет ручонки к кукле.

– Хорошо, – соглашается Бодли. – Хотя постой! Ты же можешь испачкать его в крови.

Сжав двумя пальцами передник девочки, Бодли приподнимает его повыше, чтобы показать ей, насколько тот пропитался кровью. Софи, не протестуя, позволяет Бодли стянуть с нее нехорошую одежду, что он и проделывает быстрым движением одной руки.

– Ну вот, – ласково произносит Бодли.

Джейни, вернувшись с влажной фланелькой, совершает попытку отереть ею лицо девочки, однако Бодли отбирает у нее тряпку и сам выполняет эту задачу. Теперь, когда лицо Софи Рэкхэм ничем на замарано и со щек ее отчасти спала припухлость, она оказывается самой обыкновенной, серьезного вида девочкой, для изображения на рекламных картинках мыла «Перз» – да и Рэкхэмова, уж если на то пошло, – недвусмысленно не пригодной. Глаза у Софи большие, ярко-синие с прозеленью, но они несколько выпучены и совершенно безрадостны. Больше, чем на кого-либо еще, она похожа на домашнюю зверушку, купленную для ребенка, успевшего с тех пор умереть; уже никому не нужную – ее кормят, дают ей кров и время от времени даже ласкают, однако жить ей решительно незачем.

– У твоего дружка пятно на одежде, нам следует смыть его, – говорит ей Бодли. – Тут дорога каждая секунда.

Софи укладывает крошечную ладошку на руку Бодли, и они вместе стирают кровь со спины индуса; для этого располагающего к себе незнакомца Софи готова на все, буквально на все.

– Знал я некогда куклу, которой вымазали голову клюквенным соусом, – рассказывает ей Бодли, – и никто о ней не позаботился, пока не стало слишком поздно. К тому времени соус загустел, совсем как смола, кукле пришлось обрить голову, и она заболела воспалением легких.

Софи, слишком застенчивая, чтобы задавать вопросы, с тревогой глядит на него.

– Нет-нет, она не умерла, – говорит Бодли. – Но так и осталась с того дня лысой, навсегда.

Он поднимает, как только может выше, брови и выпячивает губы в поддельном огорчении, внушенном ему мыслью о существе, на голове которого из всей растительности одни только брови и уцелели. Софи смешливо фыркает.

Этот смешок да еще вопли, с которыми она перед вами предстала, суть единственные звуки, какие вы от нее услышите – во всяком случае, здесь, в курительной ее отца. Няня вечно твердит ей, что она ничего не знает, и все же одно Софи знает – воспитанный ребенок должен вести себя так, чтобы его ни видно, ни слышно не было. А она уже наделала шума, за который ее вне всяких сомнений накажут, и стало быть, ей надлежит как можно быстрее обратиться в безмолвную невидимку и тем хотя бы отчасти смягчить то, что ее ожидает.

И все-таки, даже притом что Софи стоит молча, втянув, чтобы занимать поменьше места, голову в плечи, Уильям поражается, как сильно она выросла. Кажется, всего неделю назад Софи была новорожденной малюткой, незримо спавшей в кроватке, пока на другом

конце дома лежала в своей и рыдала болезненно возбужденная Агнес. Подумать только, она теперь даже не малышка, едва научившаяся ходить, она... как бы это сказать? – девочка! Но как же случилось, что он не заметил произошедших в ней перемен? Ведь нельзя же сказать, будто он видится с дочерью до того уж нечасто, что уследить за ее развитием попросту не может – нет, она попадаетея ему на глаза... э-э... по несколько раз в неделю! И однако ж, Софи никогда не казалась ему такой... такой взрослой. Боже всемогущий, теперь он вспомнил и день, в который его отец подарил совсем еще крошке Софи ее кошмарную куклу, – отец ездил в Индию по торговым делам и привез оттуда этот талисман компании «Твинингс», предназначенный изначально для того, чтобы сидеть верхом на маленьком, наполненном чаем жестяном слоне. Да и не в тот ли же день отец торжественно объявил – при слугах, – что Уильяму пора «осваиваться» с парфюмерным делом? Ну да, в тот! И вот это дитя, некрасивая девочка с испачканными кровью ступнями, подросшая малютка, стоящая спиной к нему, поглощенная вздором, который городит его старый приятель Филип Бодли... Она есть живое олицетворение прошедших с того дня лет – лет, наполненных завуалированными угрозами и натужной бережливостью. Как бы хотелось ему быть отцом из тех, которых изображают в дамских журналах, – поднимающим, точно некий трофей, в воздух улыбающуюся дочурку под обожающим взглядом супруги! Но обожающей супруги у него больше нет, а на дочурке его напечатлелось клеймо невзгод.

Уильям прочищает горло.

– Джейни, – говорит он, – вам не кажется, что мистер Бодли потрудился уже достаточно?

Так за кем вам идти теперь? Полагаю, за Джейни. Мистер Бодли с мистером Эшвеллом все равно того и гляди откланяются, после чего Уильям Рэкхэм сразу вернется к изучению рэкхэмовских бумаг. Он просидит почти без движения не один час, поэтому, если только вас не донимает отчаянная потребность выяснить цену на теребленный джут из Данди, служащий дешевой заменой хлопковой ваты, или проникнуть в тайну изготовления утоляющих мигрень ароматических подушечек, вы куда интереснее проведете время с Джейни и Софи, ожидающими в детской возвращения Беатрисы.

Джейни сидит на корточках на полу близ Софи, сжимая живот, страдая от боли, какой она в жизни своей не знала. Наверное, все дело в съеденных ею остатках завтрака Рэкхэмов... Бог наказывает ее, протыкая, точно кинжалом, кишки. Она раскачивается взад-вперед, обхватив руками колени, накрытые тщательно сложенным, пропитанным кровью передничком Софи. Господи, что ей теперь с ним делать? И не накажет ли ее Стряпуха за то, что она оставила кухню? Не накажет ли Няня за то, что она позволила изувечиться дочери Рэкхэмов? Не накажет ли мисс Плейфэр за то, что она помчалась, не покончив с уборкой столовой, на вопли Софи? Не накажет ли мисс Тиллотсон за... ну, уж мисс-то Тиллотсон всегда найдет, за что ее наказать. Почему все это свалилось на нее – столько ужасных несчастий, столько несделанной работы? – и во всем виноваты ее, а ведь целая тысяча девушек только и ждет, отпихивая друг дружку, случая занять ее место. Ох, ну пожалуйста, сделай так, чтобы мистер Рэкхэм не выгнал ее! Куда она пойдет? До дома так далеко, а дождь вон какой припустил! Вот и кончит она на улицах, там и кончит! Кроме чести, у нее за душой ничегошеньки нет, но она же знает, что не хватит ей храбрости голодать ради чести! Не надо, пожалуйста, не надо, она будет работать на Рэкхэмов еще больше, правда будет, больше, чем когда-либо прежде, ей просто нужно время, самая малость времени, чтобы понять, в чем состоят настоящие ее обязанности.

– Кто этот дядя?

Джейни оборачивается на непривычный для нее звук голоса Софи Рэкхэм, прищуривается, стараясь не смотреть на крутящийся по полу у юбок девочки бристольский волчок, боясь, что от этого ей станет хуже.

– Прошу прощения, мисс Софи?

– Кто этот дядя? – повторяет девочка, наблюдая за волчком, который заваливается, точно пьяный, набок.

– Какой дядя, мисс Софи? – спрашивает Джейни сдавленным от боли голосом.

– Хороший.

Джейни пытается припомнить хорошего дядю.

– Я тут никого не знаю, и его отродясь не видела, – с мольбой в голосе отвечает она. – Одного только мистера Рэкхэма и знаю.

Софи снова запускает волчок.

– Он мой отец, вы разве не слышали? – насупясь, произносит она. Ей не терпится ознакомить Джейни с устройством здешней жизни – по мнению Софи, прислуга тоже заслуживает обучения. – А его отец, отец моего отца, очень важный человек. У него длинная борода, он ездит в Индию, в Ливерпуль, везде ездит. Он и есть тот самый Рэкхэм, которого вы видите на мыле и на духах.

Мыло Джейни – это, собственно говоря, кухонные обмылки, скупно выдаваемые ей Стряпухой раз в неделю, а уж флакона духов она и вовсе в жизни своей не видала. Однако Джейни, терзаемая болью, улыбается и кивает, притворяясь, что все поняла.

– А хороший дядя, – предпринимает новую попытку Софи, – он к нам раньше не приходил?

– Я не знаю, мисс Рэкхэм.

– Почему?

– Так я же все время в мойке торчу. А теперь вот и на кухне – еду иногда на поднос составляю и... и прочее что. А в самом-то доме... в самом я редко бываю.

– Я тоже.

Эти преступно панибратские отношения с самой ничтожной из служанок дома доставляют маленькой Софи робкое удовольствие. Она вглядывается в лицо Джейни, загадывая: а вдруг произойдет что-нибудь необычное – теперь, когда они так сблизилась? Что, если день нынче совсем особый, первый день новой жизни – ведь именно так и начинается в книжках настоящая дружба! Софи раскрывает глаза пошире и улыбается, позволяя служанке излить всю душу, предложить (быть может) тайком встретиться ночью.

Джейни с белым, как сыворотка, лицом улыбается ей в ответ, покачиваясь с пяток на носки. Она открывает рот, собираясь что-то сказать, но вдруг падает на колени и извергает на пол детской тусклое полотнище рвоты. Еще два похожих на безмолвный вопль позыва, и из ее открытого рта снова изливается рвота. Желчь, перестоявший чай, полученная утром от Стряпухи жидкая овсянка и поблескивающие кусочки ветчины выплескиваются на полированные половицы.

Пару секунд спустя дверь детской распахивается – это воротилась наконец Беатриса. И в прочих пределах дома Рэкхэма все возвращается, словно по мановению волшебной палочки, к заведенному порядку: доктор Керлью поднимается по лестнице в спальню миссис Рэкхэм, старые школьные друзья мистера Рэкхэма отбыли, Летти вернулась из писчебумажной лавки, дождь ослаб. И только в детской – здесь, где всему и вся надлежит подчиняться раз и навсегда установленным правилам, – никакого порядка нет и в помине: безобразная вонь; растрепанная, с всклоченными волосами, босая Софи; стоящая посреди комнаты на четвереньках посудомойка, тупо уставившаяся в лужу блевотины, – и заметьте, ни ведра, ни тряпки нигде не видно; и... а это еще что такое? – окровавленный передник Софи.

Гневно вытянувшись в струнку, Беатриса Клив обрушивает всю мощь своего достойного василиска взгляда на дитя Рэкхэмов – погибель всей ее жизни, греховную тварь, которую и на пять минут нельзя оставить без присмотра, никчемную дочь недостойного наследника презренных сокровищ. И под тяжестью этого взгляда малютка Софи съеживается и указывает дрожащим, грязноватым пальчиком на Джейни.

– Это она делает.

Беатриса морщится, однако откладывает возобновление войны с грамматическими причудами дитяти на потом, на после того, как разрешатся иные загадки.

– А теперь, – произносит она, и первые за день солнечные лучи трепетно озаряют окно детской, обращая лужицу рвоты в золото и серебро, – все с самого начала...

Глава восьмая

Минутку, минутку – прежде, чем мы двинемся дальше... Простите, если я впала в заблуждение на ваш счет, но то, как вы разглядываете дом Рэкхэмов – полированные перила его лестниц, снующую по коридорам прислугу, богато изукрашенные, освещаемые газом комнаты, – создало у меня впечатление, что он представляется вам очень старым. Так вот, ничего подобного, он совсем еще нов. Нов настолько, что, если, к примеру, Уильям действительно решит не мириться и впредь с натекающими из-под французских окон гостинной струйками дождевой воды, ему довольно будет отыскать визитную карточку плотника, клятвенно обещавшего полную их герметичность.

В молодые годы Генри Калдера Рэкхэма, когда Ноттинг-Хилл был деревушкой Кенсингтонского прихода, на том месте, на котором вы пятьдесят лет спустя наблюдали за безуспешной попыткой Уильяма и Агнес позавтракать вместе, еще паслись коровы. Портобелло был тогда фермой, и Ноттинг-Барн тоже. Там, где стоит теперь «Уормвуд-скрабз»³³, расстилалась поросшая кустарником пустошь, а в Шефердз-Буш ничего не стоило повстречать пастуха. Материалы, пошедшие на постройку столовой Рэкхэмов, укрывались тогда в еще не разработанных каменоломнях и не вырубленных лесах, а отец Уильяма был слишком занят своими мануфактурами и фермами, чтобы всерьез подумывать о жилище для своего наследника – да, собственно, и о зачатии оного.

Во все предшествовавшие его женитьбе годы Генри Калдер Рэкхэм жил в довольно большом доме, в Уэстборне, но часто говаривал в шутку (особенно беседуя с неисправимыми снобами, дружбой коих ему заручиться не удавалось), что настоящий его дом – это вокзал Паддингтон, ибо «любая фирма непременно пойдет псу под хвост, если ее владелец не приезжает каждый день, чтобы посмотреть, как управляются с делом его работники». Слово «работа» Генри Калдер Рэкхэм грязным отродясь не считал, хоть это – как ни странно – никогда не возбуждало приязни к нему в людях, на него работавших. В тех, кто трудился на его мануфактурах, вид хозяина, проходящего в черной паре и цилиндре по железным помостам над их головами, порождал едва ли не чувство взаимной солидарности. С другой стороны, не исключено, что в душе он был простым сельским жителем... хотя и люди, работавшие на его лавандовых полях, относились к нему, по всему судя, с симпатией несколько не большей. Быть может, прочное в носке сельское платье, в которое он облачался при всяком их посещении, ошибочно воспринималось ими не как наряд для него предпочтительный, но как нечто показное.

Другой его особенностью, в которую, как он чувствовал, мало кто верил, была страстность натуры. Злые языки города и деревни имели обыкновение брюзгливо заверять, что он готов доискиваться благосклонности скорее у механической дробилки, нежели у женщины. Вообразите же изумление, поразившее их обладателей, когда он вдруг взял да и женился на дьявольски привлекательной леди! Они просто дара речи лишались всякий раз, что он выводил ее в свет.

Ну-с, если появление у него жены застало всех врасплох, уход ее – девять лет спустя – никого не удивил. И то сказать, о супружеской неверности ее ведали едва ли не все – и задолго до того, как об изменах супруги узнал он, их жертва. Сразу же начали строиться нескончаемые домыслы относительно того, прогнал ли ее муж или она покинула его по собственному почину. Но какая, в сущности, разница? Она ушла из его жизни, оставив двух маленьких мальчиков. Он же, и в горе своем оставшийся человеком практическим, нанял

³³ Лондонская тюрьма для тех, кто совершил преступление впервые (*scrub* – кустарник; далее *shepherd* – пастух).

еще одну служанку, дабы та окружила его сыновей материнскими заботами, и вернулся к своим трудам.

Годы шли, мальчики подрастали, никаких пагубных последствий случившегося в них не замечалось, и в конце концов Рэхэм-старший поневоле задумался о том, где предстоит поселиться его наследнику, молодому Генри. К той поре, к 1850-м, изначальный Ноттинг-Хилл на деревню уже нимало не походил. В «Гончарнях», расположенных к западу от города, было еще полным-полно цыган и свинарников; неудавшиеся попытки обратить половину прихода в ипподром наложили отпечаток на характер всей этой местности; однако уже появились знаки, указывавшие, что скопление домов, стоявших вокруг Ладброук-сквер, способно преобразоваться в весьма привлекательное местожительство. И действительно, под конец 1860-х все уже знали, что здесь с удовольствием селятся люди известные, хоть и не поднявшиеся до Общества самого лучшего. К тому же вблизи проходила железная дорога, которой Генри-младшему, когда он возглавит дело, пришлось бы пользоваться очень часто.

И Генри-старший приобрел для своего наследника большой красивый дом на Чепстоу-Виллас, построенный за десять без малого лет до того и пребывавший в превосходнейшем состоянии. Что касается дома, в котором поселится Уильям, второй его сын, ну... это пусть мальчик решает сам.

Теперь у нас уже будущее, а история империи Рэхэма сложилась вовсе не так, как была задумана. Генри-старший свои обязательства выполнил образцово: грубоватое обаяние и тактичное ссужение денег заслужили ему место в благовоспитанном Обществе; среди друзей своих он насчитывает мировых судей, пэров и благородных людей всякого рода. А вот первенец его, Генри-младший, живет, монах монахом, в дешевом коттеджике близ Брик-Филда, Уильям же, получивший лучшее образование, какое только можно купить за деньги, довольствуется домом на Чепстоу-Виллас, разыгрывая джентльмена, хоть независимые средства, необходимые для этого, у него и отсутствуют. За годы, миновавшие со времени его выхода из университета, мальчик не заработал себе на прокорм ни единого пенни! Неужели Уильям намерен и дальше вести подобную жизнь, предоставляя старому отцу изнывать под бременем ответственности, пока сам он сочиняет собственного удовольствия ради стишки, которых никто не печатает? Пора бы уж ему обратить внимание на кованые «Р», которые украшают его чугунные ворота!

В доме его все неладно. Парк попросту позорит Уильяма, особенно те участки, что примыкают к фасаду и укрываются за кухней. Выезда нет, лошадей в конюшне тоже. Маленькое бунгало кучера, в которое никакой кучер так пока и не вселился и которое Уильям в пору недолгого увлечения живописью преобразовал в мастерскую, ныне стоит заброшенным. Приземистые теплицы лежат, точно стеклянные гробы, чуть ли не лопааясь от сорных трав, коим никакой садовник не требуется. Все это крайне прискорбно, но лишь естественно: Генри-старший, пытаясь исцелить Уильяма, обрушил на домашний уклад сына череду увечащих ударов, вследствие коих все жизненные соки дома, всё, что обслуживало внешние его органы, стянулось к его осаждаемому заботами сердцу.

В самом доме нет ничего, способного поразить чье-либо воображение – не считая воображения чужестранца, подобного вам. Вы можете любоваться множеством комнат с высокими потолками и темными навоощенными полами, сотнями предметов обстановки, предназначенных судьбой для антикварных магазинов вашего времени, и, быть может, самое сильное впечатление произведет на вас безмолвное прилежание прислуги. Но здесь все это воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Сужающемуся кругу Рэхэмовых знакомых дом его представляется гибнущим: он пахнет отмененными *soirées*³⁴, гнетущими приемами под открытым небом, звуками, которые издает разбиваемое Агнес за обе-

³⁴ Званные вечера (фр.).

дом стекло, тягостными прощаниями, уходами помрачневших гостей. Попахивает пустынными залами, в которых стоят постанывающие под бременем деликатесов столы, пустыми полами, гудящими от тяжелых шагов брошенного на произвол судьбы визитера. Нет, после всего, что здесь случилось, никому и в голову не придет повторно навестить Рэкхэмов.

Шторы на окнах спальни Агнес Рэкхэм плотны и почти неизменно задернуты – обстоятельство, хорошо известное всем любителям подсматривать за чужой жизнью, пытавшимся когда-либо заглядывать в них с Пембридж-Мьюс. В самой же спальне сомкнутость штор приводит к последствиям не самым счастливым: спальню приходится освещать во все дневные часы, отчего в ней стоит сильный запах растопленного свечного сала (газу Агнес не доверяет). А кроме того, в тех редких случаях, когда Агнес решается выйти отсюда, свечи гасят (ибо Агнес боится спалить дом) и при возвращении хозяйки здесь оказывается темно, как в могиле.

Такой мы и находим спальню в тот утренний час, когда Агнес возвращается в нее после отважного посягательства на участие в супружеском завтраке. Она и ее горничная останавливаются у двери спальни, чтобы отдышаться после долгого подъема по лестнице. Клара не может и свечу нести, и в то же самое время поддерживать под локоток хозяйку, поэтому дверь открывается ударом локтя, и две женщины, шаркая, проходят в нее, немедленно утрачивая во мраке способность хоть как-то ориентироваться. По чистому совпадению, в миг, когда открывается дверь спальни, внизу шумно захлопывается дверь входная, и Агнес слышит, как ее муж покидает дом. Куда это он? – гадают Агнес, вводимая в комнату, которая стала за время ее отсутствия решительно неузнаваемой.

Белизна смутно рисующейся в темноте кровати никаких опасений не внушает, но что это там мреет в углу? Наполовину обмотанный бинтами скелет? А рядом с ним... большая собака?

Впрочем, Клара зажигает масляную лампу, и тайна двух фигур разъясняется: это опутанный полосками ткани чугунный портновский болванчик и стоящая наготове, похожая на посеребренного добермана, швейная машинка.

– Дайте мне ваши руки, миссис Рэкхэм.

Агнес, пошаркивая, приближается к горничной, чтобы выполнить ее просьбу, – однако пошаркивает она не как старая старуха, но скорее как ребенок, которого возвращают в постель после привидевшегося ему дурного сна.

– Теперь все будет хорошо, миссис Рэкхэм. – Клара стягивает с постели покрывало. – Теперь вы сможете спокойно отдохнуть.

Под эти и иные поверхностно утешительные речи Клара раздевает хозяйку и укладывает в постель. Затем она протягивает хозяйке ее любимую щетку, и Агнес начинает расчесывать волосы, ибо опасается, что при падении на пол они могли растрепаться.

– Как я выгляжу?

Клара, складывающая халат хозяйки до размеров наволочки, прерывает это занятие, чтобы сказать комплимент.

– Прекрасно, мэм, – говорит она, улыбаясь.

Улыбка ее неискренна. Все улыбки Клары неискренны, и Агнес это известно. Однако изображаются они по служебной обязанности и никакой злонамеренности собою не прикрывают – Агнес знает и это и испытывает благодарность. Между нею и горничной существует негласная договоренность, в силу которой Клара должна, в обмен на пожизненное место, потакать всем прихотям хозяйки, свидетельствовать любое ее фиаско и никогда ни на что не жаловаться. Она должна служить Агнес утешением с рассвета до полуночи, а временами и в неприятнейшие моменты, приходящиеся на срок противоположный. Она должна быть наперсницей, выслушивающей все откровения Агнес, сколь бы бессмысленными они порой

ни были, и если час спустя хозяйка попросит забыть о них, должна стирать их из памяти без следа, как пролитое по небрежности молоко.

И самое главное – она должна помогать хозяйке, пособлять ей в неисполнении всех распоряжений, отдаваемых двумя злокозненными мужчинами – доктором Керлью и Уильямом Рэкхэмом.

Жизнь рядом с Кларой дает Агнес возможность вести игру полностью безопасную, снабжает ее распорядком простых разминок, совершаемых при содействии благосклонной домочадицы. С помощью Клары она пытается заново отточить светские навыки, без которых в пору лондонского Сезона ей никак не обойтись. К примеру, время от времени она просит Клару представить ту или иную леди, и они разыгрывают вдвоем небольшие пьески, позволяющие Агнес поднатореть в изображении подходящих реакций. Не то чтобы лицедейство Клары было таким уж сверхъестественно убедительным, однако Агнес это ничуть не заботит. Слишком реалистическая имитация могла бы лишь нервировать ее.

И вот она, ободренная ощущением, которое создают прилежно расчесанные мягкие волосы, откладывает щетку и откидывается на подушки.

– Мою новую книгу, Клара, – негромко приказывает она. Служанка подносит ей объемистый том, и Агнес открывает его на главе под названием «Как защититься от врага» – под врагом, в настоящем случае, подразумевается старость. Агнес растирает виски и щеки, по возможности точно исполняя указания книги, хотя растирать их «в направлении, противоположном тому, какое грозят принять морщины», ей сложно, поскольку морщины у нее покамест отсутствуют. «Если вы утомились, смените руки» – советует книга. Утомиться-то она, разумеется, утомилась, но чем же ей сменить руки, когда у нее их всего только две? И откуда ей знать, правильно ли она растирает лицо, в нужных ли количествах прилагает «устойчивый, мягкий нажим» и к каким последствиям может привести рекомендуемый автором отказ от каких ни на есть притираний? В этих книгах никогда не найдешь того, что женщине действительно нужно знать.

Слишком усталая, чтобы продолжать упражнения, она переворачивает страницу – посмотреть, что там дальше.

«Кожа лица покрывается морщинами по тем же причинам, по каким покрывается ими яблоко, и механизмы в обоих случаях действуют одинаковые. По мере того как иссыхают соки плода, укрытая его шкуркой мякоть сжимается, давая усадку...»

Агнес немедленно захлопывает книгу.

– Унеси ее, Клара, – говорит она.

– Да, мэм.

Клара знает, что следует сделать: несколько дальше по коридору находится особая комната, в которую ссылаются все нежелательные вещи. Теперь Агнес бросает украдчивый взгляд на швейную машинку. Однако от Клары не укроешься.

– Возможно, мэм, – говорит она, – мы могли бы заняться вашим новым платьем? Самая трудная часть работы уже позади, не правда ли, мэм?

Лицо Агнес озаряется радостью. Какое счастье, что у нее есть чем занять себя, есть чем заполнить время – и такое неприятное время. Ведь она не забыла о том, что очень скоро ей придется принимать доктора Керлью.

Боже милостивый, и почему она отвергла предложение Уильяма остановить посланную за доктором Беатрису? Уильям же сам вызвался сделать это – готов был бежать по дому, выскочить, если потребуется, на улицу, вернуть посыльную назад! А она ему отказала! Безумие! Однако, лежа тогда на полу, она на краткий миг ощутила пьянящую власть над мужем – власть, позволившую с презрением отмахнуться от протянутой им оливковой ветви. Противостоя подобным образом мужу, если можно противостоять, лежа на полу, она брала над ним верх – в определенном смысле.

Агнес смотрит на недошитое платье, представляя, как оно прильнет, подобно шелковому доспеху, к ее телу, и робко улыбается Кларе, и та улыбается в ответ.

– Да, – говорит Агнес, – думаю, на это мне сил хватит.

Через несколько минут тиканье часов уже заглушается стрекотом швейной машинки. После каждого завершеного ими шва или сборки женщины прерывают работу, извлекают платье из машинки и примеряют его на болванчика. Раз за разом бесполоя кукла одевается заново и всякий раз приобретает облик чуть более статный, чуть более женственный.

– Мы ткем волшебный наряд! – фыркает миссис Рэкхэм, почти забывая, что доктор Керлью уже приближается, что саквояж покачивается в его обтянутом перчаткой кулаке.

Впрочем, шитье для нее – не просто развлечение. Если она хотя бы надеется принять на следующий год участие в Сезоне, ей потребуется еще самое малое четыре платья, а Бог свидетель, на следующий год она просто *обязана* показаться во время Сезона в свете. Ибо если что-то и пошатнуло веру Агнес в ее душевное здравие, так именно то, что в этом году принять в Сезоне участие она не смогла. И если что-то способно выкроить (так сказать) такую ее веру заново, то лишь исправление этого недочета.

Да, верно, с самого рождения Агнес ни к чему, в сущности, не готовили, как только к появлению на людях во всем положенном ей блеске красоты. Но вовсе не потому создает она эти пышные платья, эти до мелочей продуманные сооружения, в коих рассчитывает величаво скользить по паркетам чужих домов. Для Агнес участие в Сезоне есть Единственное, что бесспорно докажет: она не безумна. Ибо, ничуть не уверенная в том, где пролегает, предположительно, граница, которая отделяет здравие от безумия, Агнес проводит ее самостоятельно. И если ей удастся держаться по должную сторону от этой границы, она обратится в нормальную женщину – сначала в глазах света, затем в глазах мужа, а там и в глазах самого доктора Керлью.

А в собственных? В собственных глазах она и не больна, и не здорова; в них она просто Агнес... Агнес Пиготт, если вы ничего не имеете против. Загляните в сердце ее, и вы увидите очень миленькую картинку вроде тех, что изображают детство Девы Марии. Вот это и есть Агнес, но не такая, какой знаем ее мы: Агнес, неподвластная возрасту и переменам, безукоризненная – не падчерица какого-то там Ануина, не супруга какого-то Рэкхэма. Волосы этой Агнес шелковистее, наряды цветистее, душу ничто не тревожит, и самый первый Сезон ее еще впереди.

Агнес вздыхает. На самом деле с первого ее Сезона миновало столько лет, что и вспоминать не хочется, а честолобивые замыслы на следующий у нее довольно скромны. Она не мечтает вращаться в самом что ни на есть высшем свете – упование, бывшее более чем достижимым, когда она оставалась еще падчерицей лорда Ануина, но ныне, едва стало ясно, что Уильям, если для него вообще существует некое будущее, никогда не обратится в прославленного писателя, каким рисовало его воображение Агнес, сошедшее на нет. Уильяма ждет будущее главы парфюмерной фирмы – при условии, что он наконец раззадорится настолько, что решится принять это бремя, – вот тогда, став очень, очень богатым, он сможет медленно подняться на общественном небосводе повыше. До той же поры лучшее, на что вправе рассчитывать Рэкхэмы, это вращение в низших кругах светского общества. Агнес сознает это. Ей такое положение не по душе, но она его сознает и полна решимости извлечь из него все, что сможет.

Итак, каковы же ее предвкушения? Ей вовсе не нужно, чтобы мужчины сочли ее красавицей. Это сулит только новые беды. Не надеется Агнес и на восхищение женщин; от них она ожидает лишь вежливого безразличия – ну и обмена ехидными сплетнями за ее спиной. Если честно, она не помышляет даже о том, что следующий Сезон позволит ей обзавестись хоть какими-то новыми связями. Напротив, Агнес намерена просквозить его, ни на кого не

глядя, произнося лишь пустейшие фразы и не вслушиваясь ни во что, требующее чего-то большего, нежели самое поверхностное внимание. Это, как убедил ее прежний опыт, курс наиболее безопасный. Сильнее, чем к чему-либо еще, она тяготеет к блаженству, которое ощутит, оказавшись приемлемой за пределами своей спальни, облачившись в наряды, более изысканные, чем ее покрытые множеством пятен, стиранные-перестиранные пеньюары.

– А знаете, мэм, – произносит Клара, – миссис Уимпер просто позеленеет, когда увидит вас в этом платье. Я встретила в городе ее горничную, и та сказала, что миссис Уимпер изнывает от желания носить такой же фасон, да только она для него уже толстовата.

Агнес по-девичьи прыскает, отличнейшим образом понимая, впрочем, что это почти наверное ложь. (Клара вечно выдумывает что-нибудь в таком роде.) С каждой минутой Агнес становится лучше – боль в голове стихает; может быть, Агнес даже попросит Клару раздернуть шторы...

Но тут раздается стук в дверь.

Кларе не остается ничего иного, как позволить той части платья, которой она занималась, соскользнуть на пол, оставив хозяйку увязать в шелке. Клара встает и, сконфуженно улыбаясь, спешит открыть перед доктором дверь. Длинная тень его всплывает в спальню.

– Добрый день, миссис Рэхэм, – произносит, неспешно переходя комнату, доктор. Надушенный воздух этого женского святилища подпорчен безошибочно узнаваемым запахом, который разносят теперь воздушные токи, созданные передвижением массивного докторского тела. Он опускает саквояж на пол у кровати Агнес, присаживается на край матраса, кивает Кларе. Кивок означает, что Клара может идти; и это не просто кивок – приказание.

Агнес, уже развернувшая свое кресло от швейной машинки к доктору, сознает, глядя в спину уходящей Клары, что капкан захлопнулся, но все же пытается вывернуться из его зубьев.

– Сожалею, что вас вынудили проделать столь длинный путь, – говорит она. – Потому что, к несчастью, – я хочу сказать, к счастью для меня, – чувствую я себя сейчас хорошо. Да вы и сами это видите.

Добрый доктор не произносит ни слова.

– Конечно, муж вызвал вас, потому что он так заботлив...

Лоб доктора идет морщинами. Он не из тех, кто легко закрывает глаза на человеческую непоследовательность.

– Да, но Уильям дал мне понять, что именно вы настояли на том, чтобы вызвать меня.

– Да, ну что же, и, разумеется, мне очень жаль, – лепечет Агнес, со страхом отмечая привычное обыкновение доктора чуть приподнимать, выслушивая ее, подбородок, словно он не желает пропустить мимо ушей ни единой ее бессмысленной лжи. – Наверное, в ту минуту я ощущала себя такой нездоровой и... и опасалась самого худшего. Но во всяком случае, теперь я совершенно пришла в себя.

Доктор Керлью укладывает красиво подстриженную бородку на переплетенные кисти рук.

– С позволения сказать, миссис Рэхэм, на мой взгляд, вы очень бледны.

Агнес пытается прикрыть нарастающую в ней панику жеманной полуулыбкой:

– О, это, наверное, пудра, не правда ли?

Доктор Керлью принимает недоуменный вид. Это выражение докторского лица Агнес более чем знакомо и представляется ей самым отвратительным из всех его выражений, способным хоть кого довести до иступления.

– Но разве я не предостерегал вас, – спрашивает он, – от использования косметических средств, способных нанести урон вашей коже?

Агнес вздыхает:

– Да, доктор, предостерегали.

– Собственно говоря, я полагал...

– ...что я и вовсе от них отказалась, да.

– В таком случае...

– Да, – вздыхает она, – в таком случае причина не в пудре.

Доктор прижимает кончики пальцев к бородке, тяжело вздыхает.

– Прошу вас, миссис Рэкхэм, – увещательным тоном начинает он. – Я знаю, вы не любите врачебных осмотров. Однако то, что мы любим, и то, что идет нам во благо, не всегда совпадает. Многие зловещие повороты в течении болезней, болезней, во всех отношениях излечимых, удастся предотвращать, если они выявляются сразу.

Агнес откидывается на спинку кресла, крепко зажмуривается. Не существует ни одного возражения, которого она не делала бы прежде – и без всякого успеха. *Я чувствую себя слишком усталой, чтобы подвергаться осмотру.* «Слишком усталой? В таком случае вы, должно быть, больны». *Да, для осмотра я слишком больна.* «Но от осмотра вам станет лучше». *Вы же осматриваете меня каждую неделю; что может случиться дурного, если один осмотр мы пропустим?* «Ну, это вы не всерьез; мириться с упадком своего здоровья готовы лишь сумасшедшие». *Я не сумасшедшая.* «Разумеется, нет. Потому я и прошу у вас разрешения – вместо того, чтобы игнорировать ваши желания, как игнорирую желания тех, кто обитает в приюте душевнобольных». *Да, но я чувствую себя слишком усталой...* И так далее.

Такое ли уж безумие – думать, что доктор Керлью пытается ее застрашать? Что он позволяет себе вольности, коих докторам допускать не положено? Ведь она совсем утратила связь с внешним миром – и, может быть, упустила из виду важнейшие изменения, произошедшие в том, как обходятся доктора со своими больными? Неужели и сама Королева терпит застрашивания и угрозы своего врача? И не стоит ли ей, Агнес, отказать ему от дома? Как это было бы чудесно – сказать доктору Керлью, что в услугах его она более не нуждается, что ему отказывают от дома.

Вместо того она, как и всегда, уступает и укладывается на кровать. Добрый доктор раздергивает шторы, желая, чтобы труды его освещались солнцем. Агнес сосредоточивает все внимание на купе погашенных доктором свечей, подсчитывает затвердевшие на их стволах капли воска. Сбившись со счета, она начинает считать заново и опять сбивается, и все это время старается отогнать от себя электризующий страх, который пронизывает ее от пят до корней волос, – когда доктор Керлью поднимает, оголяя ноги Агнес, подол ее пеньюара.

Тем временем Уильям Рэкхэм сначала стучит в дверь миссис Кастауэй, потом дергает за шнурок звонка и нетерпеливо ждет, когда ему откроют. Порывы сырого ветра треплют его брючины, расфуфыренные проститутки поглядывают на него, проскальзывая мимо. Кожу на голове щиплет масло, втертое им в волосы. Проходит минута: подумать только, этот дом ничем не лучше его собственного!

Спустя еще минуту слышится звук сдвигаемого засова. Дверь немного приоткрывается, Уильям видит в щели недоверчиво поблескивающий женский глаз.

– Конфетка занята, – слышит он лишенный дружелюбия голос Эми Хаулетт, – может, зайдете попозже?

– Я, собственно, хочу переговорить с вашей... с миссис Кастауэй, – сообщает Уильям. – У меня чисто деловой вопрос.

– А у нас тут других и не бывает, – усмехается женщина, – все до единого деловые.

Уильям поражен: неужели найдется мужчина, который будет целовать и обнимать создание столь циничское? И он совершает вторую попытку:

– Я настаиваю... я пришел с предложением, которое, не сомневаюсь, весьма и весьма заинтересует миссис Кастауэй.

После чего мисс Хаулетт открывает дверь пошире и сразу же поворачивается к Уильяму спиной.

Гостиная миссис Кастауэй почти не изменилась со времени прошлого ее посещения Уильямом... *мистером Хантом*. Как и в тот раз, его поражает обилие развешанных по стенам изображений Марии Магдалины, яркое пламя камина и сама облаченная в багрец и восседающая за письменным столом миссис Кастауэй. Вот, правда, ни виолончели, ни мисс Лестер на сей раз не видно; кресло ее пусто. Эми Хаулетт возвращается, сутулясь, на свое место, плюхается в кресло, отчего мягкие юбки ее вздыхают: «фух» – и наводит на приближающегося к столу Уильяма хитрый взгляд. Свесив руки по сторонам кресла, она откидывает голову назад, затягивается сигаретой, а следом проделывает нечто совершенно поразительное: приоткрывает рот и, словно жонглируя приставшей к кончику языка сигаретой, почти проглатывает ее, но затем зажимает, по-прежнему горящую, зубами. И снова затягивается. Глаза ее остаются немигающими.

– Надеюсь, вы простите Эми ее манеры, – произносит миссис Кастауэй, указывая Уильяму на кресло. – Впрочем, некоторым нашим гостям они представляются совершенно очаровательными.

Эми усмехается.

– Я, разумеется, не хочу обидеть вас, мистер... мистер... – Имя его никак ей не дается, и она, оставив потуги на благовоспитанность, отводит взгляд в сторону.

– Хант, – говорит Уильям. – Джордж У. Хант.

Миссис Кастауэй суживает глаза, суживает так, что налитые кровью белки почти совсем скрываются из виду – остаются лишь темные точки, поблескивающие, точно обсопанные лакричные конфетки. Она куда крупнее, чем то запомнилось Уильяму, и выглядит куда более устрашающей.

– Итак, чем мы можем быть вам полезными, мистер Хант? – с проникновенной интонацией осведомляется она; при каждом гласном звуке размалеванные губы ее покрываются складочками. – Вот уж не ждали, что вы вернетесь так скоро.

Уильям набирает воздух в грудь и начинает излагать свое предложение. Говорит он серьезно, быстро, нервно. Он, мистер Хант, человек не из самых напористых, но состоятельный. Источники его доходов? Он – отошедший от дел, чтобы не сказать бездействующий, партнер огромной издательской фирмы с общим доходом в 20 000 фунтов – названия изданных ею книг слишком многочисленны, чтобы их перечислять, однако среди них присутствуют творения Маколея, Кенелма Дигби, Ле Фаню и Уильяма Айнсворта. Собственно, у него и сегодня назначена встреча с давним его приятелем Уилки – Уилки Коллинзом, – это через... (он извлекает всем напоказ серебряные часы) через четыре часа. Однако сначала...

Он говорит о своем деле, не забывая, впрочем, задавать вопросы. Вопросы имеют большое значение (во всяком случае, на этом настаивает в своей только что прочитанной Уильямом памятной записке Генри Калдер Рэкхэм) для успешного подчинения перспективного компаньона своей воле. «Задавай вопросы, – настоятельно рекомендует старик, – с сочувствием отзывайся о затруднениях человека, с которым хочешь вести дела, а затем покажи ему, что знаешь, как из них выпутаться». Уильям на всех парах мчит вперед, лоб его покрывается потом, слова так и льются с губ. «Не оставляй пауз, которые он может заполнить возражениями», – постоянно твердит старик. Уильям их и не оставляет. «Смотри собеседнику в глаза». Уильям смотрит в глаза миссис Кастауэй и с каждой проходящей минутой обретает все пущую уверенность в том, что добьется своего. Всякий раз, как дело доходит до цифр, он высказывается все с большей обстоятельностью, а говоря, что готов заплатить и больше, солидно кивает.

– Итак, – заканчивает он. – Дело идет о том, что я беру Конфетку на исключительное содержание: готовы ли вы обдумать это предложение?

На что миссис Кастауэй отвечает:

– Простите, мистер Хант. Нет.

Потрясенный, Уильям переводит взгляд на Эми Хаулетт, словно ожидая, что та бросится ему на помощь. Эми, однако ж, сидит, нахохлившись, в кресле и придирчиво разглядывает свои ногти, пронзительные глаза ее, по счастью, скошены в эту минуту на них.

– Но почему же? – вскрикивает Уильям, стараясь, впрочем, голоса не повышать – из страха, что его выволочет отсюда за ворот укрывшийся где-то поблизости вышибала. (Что присоветовал бы ему Генри Калдер Рэхэм? «Отвечай человеку только что произнесенными им словами».) – Вы сказали, что за средний вечер Конфетка принимает одного, двух, самое большее трех джентльменов. А я предлагаю вам столько, сколько вы получаете за три таких свидания. Конфетке же я буду платить цену, какую она сама сочтет справедливой. Ваш доход останется прежним, просто источником его станет один человек, а не многие.

Миссис Кастауэй, вместо того чтобы в запоздалом прозрении хлопнуть себя ладонью в морщинистый лоб, отвечает на протесты Уильяма выводящим его из себя манером. Порывшись в одном из ящиков стола, она извлекает неряшливую стопку листов бумаги. Затем продевает персты в кольца больших латунных ножниц и на пробу прищелкивает ими.

– Все намного сложнее, чем вам представляется, мистер Хант, – негромко произносит она, раскладывая перед собой по столу бумагу. Глаза ее рыскают, перебегая с Уильяма на работу, к которой ей явно не терпится приступить, и обратно. – Начнем с того, что дом у нас маленький и оттого арифметика против нас. Если третья часть того, что мы, как известно всем, готовы предложить клиентам, станет полностью недоступной...

Звон дверного колокольчика заставляет обоих собеседников вздрогнуть.

Эми Хаулетт выпускает, глядя в потолок, стон.

– Да где же этот мальчишка? – вздыхает она, а после рывком поднимается из кресла.

– Вынуждена просить у вас прощения, мистер Хант, – говорит миссис Кастауэй, когда Эми в очередной раз уносится, чтобы исполнить работу заснувшего где-то Кристофера. – Наши маленькие правила требуют, чтобы ни один джентльмен не видел здесь другого. Поэтому не будете ли вы настолько добры, что перейдете в соседнюю комнату, – (и она указывает ножницами направление), – это совсем не надолго...

Миссис Кастауэй по-матерински кивает, и Уильям повинуется ей.

– Боль, – сообщает именно в эту минуту доктор Керлью, – возникает исключительно вследствие вашего противодействия.

Он вытирает пальцы белым носовым платком, прячет его в карман и наклоняется, намереваясь произвести вторую попытку. Она – миссис Рэхэм, то есть, – вынуждает его полностью отработать получаемый им гонорарий.

«Только не Конфетку, не Конфетку, ты, мерзавец, свинья, – думает Уильям, стоя в смежной комнате, подергиваясь, прижав ухо к двери. – Она занята. Ты передумал. У тебя больше не стоит».

– ...в столь ранний час... – слышит он слова миссис Кастауэй.

– ...Конфетку... – отвечает мужской голос.

Корни волос на загривке Уильяма покалывает от ненависти. Его так и подмывает выскочить из укрытия, наброситься на соперника и дубасить гада, пока тот будет улепетывать к двери.

– ... нет недостатка в других уладах...

Сердце Уильяма бешено бьется, он чувствует – все его будущее покачивается на краю головокружительной пропасти, ожидая спасения или свержения вниз. Но как же это случилось? Лишь пару дней назад никакой Конфетки для него даже не существовало. А сейчас он стоит, стискивая кулаки, готовый ради нее едва ли не на убийство!

Впрочем, необходимость в кровопролитии отпадает. Мужчине подсовывают Эми Хаулетт. И поделом ему, каналье. Уильям надеется, что мисс Хаулетт измордует его, осмелившегося посягнуть на Конфетку, до полусмерти.

– ...стало быть, вино не требуется... вы, сколько я понимаю, спешите... вроде тысячи и одной ночи, втиснутых в несколько минут...

Уильям вслушивается в музыку сделки. Странно, слова, произносимые в гостиной, сквозь закрытую дверь почти не проходят, а звон монет различается так ясно!

– Мистер Хант?

Слава богу.

Только теперь Уильям замечает, где он, собственно говоря, укрывался: в крошечном лазарете с порядочным выбором перевязок и склянок со снадобьями. А также бутылочек со спиртами, abortивными средствами – эти помечены перекрещенными крестами и младенческими черепами – и ароматическими антисептиками, произведенными... произведенными (он наклоняется, в надежде различить знакомую эмблему или вензелевое «Р»)... «Бичамом».

– Мистер Хант?

– Миссис Рэкхэм?

Агнес Рэкхэм, лежащая на спине не в одной миле отсюда, перекачивается на бок, дабы доктор Керлью смог проникнуть в нее еще глубже.

– Хорошо, – отсутствующе бормочет он. – Благодарю вас.

Он пытается отыскать матку Агнес – по его сведениям, таковой надлежит находиться в четырех дюймах от входного отверстия. Средний палец доктора имеет в длину ровно четыре дюйма (он измерял), и оттого безуспешность его попыток ставит доктора в тупик.

– Вы упоминали о... сложностях, которые я не взял в рассуждение? – подсказывает Уильям.

– О многих и многих, – обескураживающе вздыхает миссис Кастауэй; она уже занялась вырезанием, кромсает листки бумаги, которые выглядят – оттуда, где сидит Уильям, – вырванными из печатных изданий страницами. – Мне еще вот что пришло в голову: наш дом связан с «Камельком», – если не соглашением в прямом смысле этого слова, то уж определенно... узами взаимного уважения. Вам знаком «Камелек»? Ах да, конечно.

Она опускает глаза с Уильяма на бумагу и отправляет ножницы в их извилистый путь.

– Так вот, мистер Хант, вам, человеку, столь высоко оценившему достоинства Конфетки, не составит труда понять, что «Камелек» видит в ней своего рода приманку – гвоздь, если угодно, программы. Во всяком случае, такого, по всему судя, мнения держатся его хозяева. И стало быть, мы оказываем им услугу – хоть и не вполне измеримую в денежных знаках, но тем не менее ценную. Если же Конфетка... исчезнет – по сколь угодно лестной для нее причине, мистер Хант, – «Камелек», вне всяких сомнений, сочтет себя обделенным, вы понимаете?

В руках ее понемногу возникают очертания крошечной человеческой фигурки, обращенной к Уильяму чистой, пустой стороной, а сероватой, покрытой печатными буквами, – к миссис Кастауэй.

«Она безумна», – думает Уильям, глядя, как спархивает на стол святая с нимбом вокруг головы, выдранная из католической книжки с картинками. Можно ли вступать в договор с сумасшедшей женщиной? Да, но кто способен произвести на умалишенную, раздирающую

ради своих Магдалин книги, большее впечатление – несомненный наследник прославленного парфюмерного дела или поддельный партнер почтенного издательского дома? И к чему, дьявол ее заberi, клонится разговор о «Камельке»? Просто к выплате отступного или же предполагается, что он купит на корню и этот чертов кабак?

«Заставь человека произнести, всего только раз, слово „да“. – Эти слова отец подчеркнул зелеными чернилами. – Остальное – детали».

– Мадам, все это лишь детали, – провозглашает он. – Не могли бы мы... – (вот счастливое наитие!), – не могли бы мы позвать сюда сверху саму Конфетку? Ведь это *ее* будущее стоит на карте – при всем моем уважении к предметам, которые вы, мадам, затронули...

Миссис Кастауэй берет за новый листок бумаги. На этом стоит, с чистой его стороны, явственная печать библиотеки, выдающей книги на руки.

– Есть и еще одно обстоятельство, мистер Хант, которого вы не учли. Вы не подумали о том, что Конфетка может предпочесть – простите, я нисколько не хочу вас обидеть, – что она может предпочесть разнообразие.

Уильям пропускает это мимо ушей; он понимает, что вспышки негодования в данном случае бесполезны.

– Я настоятельно прошу вас, мадам, – умоляю – позвольте Конфетке говорить за себя.

«Предложи ей больше, предложи больше», – думает он, неотрывно глядя в глаза мадам. Никогда еще не владело им желание, подобное по страстности нынешнему, – и страстность эта поражает его самого. Если он получит Конфетку, то ни о чем больше Бога просить не будет, ни о чем, до конца своих дней.

Миссис Кастауэй снимает с пальцев ножницы, отталкивает кресло от стола, встает. С потолка свисают три шелковых шнура; она дергает за один из них. Кого она вызывает? Вышибалу, который выбросит Уильяма на улицу? Или Конфетку? По глазам миссис Кастауэй понять ничего невозможно.

Боже всемогущий, получить Конфетку оказывается гораздо труднее, дьявольски труднее, чем некогда руку Агнес, думает Уильям. Если бы только безумная старая сводня согласилась рискнуть и поставила на него, как поставил когда-то лорд Ануин!

Сидя посреди публичного дома миссис Кастауэй, ожидая появления Конфетки – или бесцеремонного обормота, – он вспоминает, как старый подвыпивший аристократ пригласил его в курительную и там, за стаканом порта, зачитал условия, на коих заключался брачный союз Агнес Ануин и Уильяма Рэхэма, эсквайра. Юридические тонкости услышанного, припоминает Уильям, оказались выше его понимания, и когда лорд Ануин, закончив чтение, задал ему вопрос наподобие: «Ну-с, вас это устраивает?», он просто не знал, что ответить. «Это означает, что вы ее получили, и да поможет вам Бог», – пояснил, пополняя его стакан, лорд Ануин.

И вот некая тень на лестнице... Это?.. Да! Она! В саржевом синем халате и ночных туфлях, простоволосая, взлохмаченная, с еще сонными, да благословит ее Бог, глазами и забрызганной темной водой грудью халата. Сердце Уильяма, которого совсем недавно обуревало желание прикончить миссис Кастауэй, вдруг до краев наполняется нежностью.

– О, мистер Хант, – негромко произносит Конфетка, останавливаясь в середине лестницы. – Какое удовольствие снова увидеть вас – и так скоро.

Она смущенно проводит ладонью по своему *déshabillé*³⁵. Над щеками и голой шеей Конфетки подрагивают на лестничном сквознячке пряди волос. Как мог он не заметить раньше, сколь неестественно тонка эта шея? А губы: они белы и сухи, точно обрезки кружев, – Конфетка слишком мало пьет! О, как ему хочется втирать в эти губы целебную мазь, а она бы тем временем лобзала его пальцы!..

³⁵ Дезабилье, домашнее платье (фр.).

– У мистера Ханта есть для тебя предложение, Конфетка, – сообщает миссис Кастауэй. – Мистер Хант?

Старая ведьма! Даже не предложила Конфетке спуститься, как будто предложение Уильяма до того несусветно, что девушка отвергнет его, не сойдя с лестницы. Однако взгляды, которыми он обменивается с Конфеткой, придают Уильяму духу; эти взгляды говорят: «Мы же понимаем друг дружку, ты и я, верно?».

Уильям учтиво предлагает ей присесть, и она садится – в кресло мисс Лестер. Затем он повторяет свою небольшую речь, но на сей раз, освободившись от ненавистной необходимости адресоваться к миссис Кастауэй, обращается прямо к Конфетке (глаза ее еще остаются сонными; она облизывает губы острым кончиком красного языка, того языка, который... Сосредоточься, Рэкхэм!). Говорит он с меньшей, нежели прежде, нервностью; а повторяя сплетенные им вымыслы касательно Джорджа У. Ханта, разделяет с Конфеткой потаенную улыбку, улыбку взаимного понимания того, что уже стало частью их любовной истории. Впрочем, переходя к цифрам, Уильям становится подчеркнуто точным. Дипломатичности ради, он обращается и к сомнениям миссис Кастауэй, перечисляет и их. В конечном счете все, утверждает он, станут лишь богаче и никто ни малейших неудобств не испытает.

– Да, но вы все еще не сказали, – протестующе произносит старуха, – сколько будете платить Конфетке.

Уильям морщится. Вопрос старухи представляется ему решительно неделикатным – да и ее ли это дело? Здесь все-таки не бордель последнего разбора!

– Я стану платить ей столько, – говорит он, – сколько потребуется, чтобы сделать ее счастливой.

И Уильям почти неприметно кивает Конфетке, давая понять, что говорит всерьез.

Она несколько раз мигает, взъерошивает ладонью оранжевую копну непослушных волос. Столпотворение фактов и цифр немного ошеломило ее, как если бы она этим утром проснулась не ради состоящего из яиц в мешочек завтрака, но ради обсуждения «Основ политической экономии» Джона Стюарта Милля. И наконец Конфетка приоткрывает уста.

– Хорошо, мистер Хант, – с лукавой улыбкой произносит она. – Я согласна.

Да! Она сказала «да»! Рэкхэм с трудом удерживается от буйного выражения восторга. Но надо, надо удерживаться, восторги ему не к лицу, он как-никак солидный издатель!

И потому Уильям, склонясь над письменным столом миссис Кастауэй, наблюдает за тем, как она составляет контракт: «сего, двадцать четвертого, дня, ноября 1874 года». Пустая трата чернил и усилий: знала бы эта женщина, что он готов подписать любую бумагу, включая и ту, на которой стояло бы только одно слово: «Все»! Впрочем, ей требуется нечто большее. Уильям прочитывает слова, выплывающие из-под ее пера, выводимые (надо отдать ей должное) редкостной элегантности и гладкости рукописным шрифтом... «именуемое в дальнейшем „Домом“». Боже всемогущий! Она задумала облапошить его, это же ясно как день, но что ему до того? В сравнении с богатством, которое в скором времени перейдет в его руки, корыстолюбивые посягательства этой женщины выглядят сущим лилипутством.

Да и в любом случае, если он надумает изменить своему слову, что она сможет сделать? Преследовать выдуманного человека в судах Королевства Блудниц? *Regina*³⁶ слушает дело «Кастауэй» против «Ханта»? Довольно строчить, женщина, оставь место для подписей!

Теперь, задним уже числом, контракт, который он подписал, чтобы получить руку Агнес, выйдет попросту *laissez-faire*³⁷ – требований к Уильяму в нем предъявлялось

³⁶ Королева (*лат.*), слово используется для обозначения обвинения или судьи в уголовном процессе (в пору правления королевы).

³⁷ Попустительство (*фр.*).

гораздо меньше, чем в этом. От брачного договора принято ожидать свидетельств отеческой заботы, однако лорд Ануин (как понимает ныне Уильям) таковой практически не проявил. Приданое его дочери было не таким уж богатым – молодая женщина могла бы растратить его за год-другой, – а дата, к которой Уильяму надлежало обратиться в правопреемника независимых средств, в контракте проставлена не была. С другой стороны, ни слова о том, какого объема гардероб модных нарядов обязуется Уильям поддерживать для своей супруги или как ему надлежит обеспечивать привычный для нее образ жизни, там тоже не стояло. Похоже, лорду Ануину было решительно наплевать на то, как распорядится его новый зять нарядами, драгоценностями, книгами и прислугой Агнес. Коротко говоря, он просто сбывал ее с рук – и несомненно потому, что знал (жуликоватый старый забулдыга), какая пагуба уже подъедает здоровье его приемной дочери.

С другого конца дома долетает еле слышный хлопок двери, это уходит гость мисс Хаулетт. Уильям искоса взглядывает на Конфетку, однако та утопает в кресле – затылок ее покоится на сгибе руки, глаза закрыты. Соскользнувший рукав халата выставляет на обозрение белое предплечье с синеватыми отметинами пальцев. Его, разумеется, – или не его? С внезапным испугом Уильям осознает, что выполнение составляемого в настоящую минуту контракта зиждется не на одном лишь доверии к нему этих женщин, но и на его доверии к ним. Что помешает им продолжать обделять за его спиной обычные их делишки? Да ничего, если, конечно, он не возьмет себе в привычку непредсказуемость, если они никогда не будут знать, в какой час может он появиться... Безумие, он наверняка обезумел – и все же уголки его губ приподнимаются в улыбке, когда он размашисто подписывает придуманным именем условия сделки, заключенной им с Мадам и проституткой.

– Для меня великое удовольствие, – говорит Уильям, извлекая на свет десять гиней, вырученных от продажи кой-каких вещей Агнес, давно уже ею не используемых, – торжественно скрепить наше соглашение.

Миссис Кастауэй принимает деньги, и лицо ее совершенно неожиданно становится дряхлым и усталым.

– Уверена, что вы способны вообразить удовольствия много большие, чем проставление вашей подписи, мистер Хант, – отвечает она. – Конфетка, милочка, проснись.

Агнес вглядывается в круглые, слоновой кости ручки прикроватного шкафчика, усердно перебирая на каждой все ее трещинки и царапинки. Тень докторской головы лежит на ее лице; пальцы доктора уже не шарят внутри Агнес.

– Боюсь, там не все в порядке.

Слова его доносятся до Агнес, точно обрывки беседы, ведомой на дебаркадере железной дороги, протянувшемся напротив того, на котором стоит она сама. Агнес задремывает, веки ее смыкаются, лицо поблескивает испариной; она видит сон, который посещал ее уже множество раз, но никогда наяву. Сон о поездке...

Однако доктор Керлью продолжает говорить, пытаясь вернуть ее назад. Мягко, но решительно он утыкает палец в ее голый живот.

– Вы чувствуете это место? То, которого я касаюсь? Именно сюда передвинулась ваша матка, она теперь расположена много выше, чем следует, а следует ей находиться... вот здесь.

Палец доктора спускается к островку светлых волос, к которому Агнес присматривалась раз, быть может, двадцать за всю свою жизнь и неизменно со стыдом. Однако сейчас она стыда не испытывает, поскольку палец доктора скользит (так она видит это во сне) не по ее телу, но по поверхности, лежащей где-то вовне, – быть может, по оконному стеклу. Агнес сидит в поезде, и, когда он трогается, кто-то из оставшихся на дебаркадере касается пальцем окошка ее купе.

Агнес закрывает глаза.

Наверху, в комнате Конфетки, Уильям расстегивает воротничок, а она тем временем опускается перед ним на колени и трется лицом о его гульфик.

– Р-р-р-р-р, – мурлычет она.

Пуговицы на сорочке Уильяма выходят из петель туго – желая произвести на миссис Кастауэй должное впечатление, он надел лучшую, какая у него есть. Борясь с пуговицами, Уильям бросает взгляд на секретер, заваленный, как и прежде, бумагами. Мужскими, если судить по виду их, не листками подкрашенной рисовой бумаги, не конвертами с изображениями цветочков, не переплетенными подборками рецептов и нравоучений, украшенных жеманными акварельками, не вырезанными из газет задачками и головоломками. Нет, эти бумаги навалены на столик Конфетки неряшливыми стопками – исчерканные, покрытые кляксами, смятые, окруженные огарками свечей. И на самом верху их покоится отпечатанная убористым шрифтом брошюра, поля которой исчерканы нанесенными тушью замечаниями.

– Над чем бы ты здесь ни трудилась, работа у тебя, я вижу, нелегкая, – замечает Уильям.

– О, там нет ничего, представляющего интерес для мужчины, – шепчет она и ласково стискивает пальцами его ягодицы. – Пойдем, возьми меня.

Шторки постельного балдахина уже раздернуты, словно занавес на театре. Уильям видит в изголовном зеркале свое спотыкающееся отражение, ведомое к смятым, еще сохранившим его и Конфетки запах простыням.

– Моя маленькая манда роняет капли, изнывая по вам, мистер Хант.

– Нет, право же, называй меня Уильямом, – говорит он. – И позволь заверить тебя, что больше ты ни над чем трудиться не станешь, разве что над...

– Ммм, да, – отвечает Конфетка, притягивая его к себе на кровать.

Подобрав повыше мягкую ткань своего просторного халата, она накрывает ею Уильяма с головой; он пытается вывернуться, однако Конфетка удерживает его, крепко прижав к животу. Дыхание Уильяма, жаркое и влажное, овеивает ей кожу, Конфетка чувствует, как он прорывается вверх, к свету, к ее шее.

– О-о-о-о, нет, не спеши, – стонет она, удерживая его под тканью. – Мои груди горят, им нужен ты.

Он начинает полизывать их – ласково, благодарение богу. Конфетке попадались мужчины, которые набрасывались на ее соски так, точно те были яблоками, только что вынутыми из бочонка. А у этого губы мягки, язык гладок, зубы почти незаметны. Безвреден, насколько это возможно для мужчины, и с кучей наличных денег. Что ж, если ему нужна ее подпись на контракте, так почему бы эту подпись не поставить?

Но, Иисусе, он не должен увидеть бумаги, лежащие на письменном столе. Что и говорить, мать, дернув в такую рань за шнурок, застала ее врасплох. Она спала без задних ног, глубоко зарывшись в подушку. Не могла же она, еще сонная, прибираться на столе. Все, что ей было по силам, это спуститься вниз, не сломав себе шею. И для чего было прибираться? Откуда могла она знать, что ей предстоит принести обет вечной верности одному-единственному мужчине?..

Все так, однако в будущем следует быть осторожнее: нельзя оставлять бумаги на виду, позволяя ему совать в них нос. Что там лежит поверх всего прочего? Конфетка пытается зримо представить себе это, пока приподнимает подол халата, чтобы ее мужчина глотнул воздуха... Неужели та дрянная брошюрка насчет... о господи, да! Конфетка внутренне отшатывается от этой мысли – если ей не удастся выставить Уильяма, он может сунуть в брошюру нос.

На секретере Конфетки лежит раскрытым медицинский трактат, украденный ею из читального зала публичной библиотеки на Тревор-Сквер. Сам текст Уильяма не удивит, он, скорее всего, читал такое и прежде:

Ни одна женщина не может стать серьезным мыслителем без ущерба для ее предназначения – зачатия и воспитания детей. Слишком часто видим мы среди «мыслящих» женщин молодых калек или существ по сути своей двуполых, существ, которые могли бы, избери они для себя иную стезю, обратиться в здоровых жен.

Так давайте же затыкать себе уши, едва заслышав голоса сирен, предлагающих нам увеличить размеры женского умственного труда, заплатив за это щедеушем, слабостью и хворями нашей расы. Исправная и здоровая матка принесет Будущему куда больше пользы, чем любые количества дамской писанины.

Нет, не сам текст, но написанные рукой Конфетки замечания на его полях – вот чего ни в коем случае не должен увидеть новый ее благодетель: «Напыщенный олух!» там, «Тирания!» здесь, «Вранье, вранье, вранье!» повсюду и начертанное в конце, под гневной чернильной кляксой: «Мы еще посмотрим, старый, вишивый дурак! Приближается новый век, в котором ты и тебе подобные СДОХНУТ!»

* * *

Обшаривая в поисках коробки с пиявками отделения саквояжа, доктор Керлью замечает под кроватью своей пациентки обложку журнала, им к чтению не утвержденного. (Это «Лондонское периодическое обозрение», которое Агнес читает по причине совершенно невинной – из желания выяснить, что ей полагается думать о новых картинах, увидеть которые она не смогла, новых стихах, которых не читала, и недавних событиях, свидетельницей коих не стала, – на случай, если в следующем Сезоне кто-нибудь поставит ее в неловкое положение, осведомившись, что она обо всем этом думает.)

– Прошу прощения, миссис Рэхэм, – произносит доктор, так до сих пор и не уяснивший, что она его больше не слышит. И, подняв оскорбленное его чувства издание с пола, подносит оное к ее незрячим глазам. – Это ваш журнал?

Ответа доктор не ждет – он сделал своей пациентке внушение и никакие оправдания выслушивать не расположен. Да если бы он нашел под кроватью Агнес не «Лондонское периодическое обозрение», а «Тень Архлидиата» миссис Генри Вуд или иную чушь подобного рода, разницы это не составило бы никакой. Чтение, чрезмерно возбуждающее, чтение, требующее чрезмерных усилий, чтение чрезмерно трогательное, слишком частые купания, слишком частое нахождение под солнцем, тесные корсеты, мороженое, спаржа, грелки для ног – все это и многое иное приводит к расстройствам матки. Впрочем, не важно, в его распоряжении имеется целительное средство.

С мгновение доктор Керлью оценивающе вглядывается в участок белой кожи за ухом Агнес, затем точным движением помещает на него первую пиявку. Именно этот неподходящий момент выбирает она, чтобы на свой страх и риск вынырнуть из сна – посмотреть, не стал ли за прошедшее время вновь безопасным наружный мир. Она видит плывущую к ней по воздуху, сжатую щипчиками пиявку и перед тем, как снова впасть в забытие, ощущает холодное прикосновение инструмента к заушью. И хотя почувствовать, как присасывается к ней пиявка, Агнес не может, она тем не менее воображает, как к ее голове поднимается изнутри жидкая спиралька крови, похожая на елозящего в вязкой жиже алого червя.

Руки доктора мягко поворачивают ее прикинувшую к подушке голову на сто восемьдесят градусов, ибо процесс надлежит повторить и с другой стороны.

– Приношу мои извинения, миссис Рэхэм.

Но Агнес даже не шевелится – ее путешествие стремительно подходит к концу. Два старика тащат носилки с нею от стоящего в сельской глуши вокзала железной дороги к воротам Обители Целительной Силы. Монашенка спешит отворить их – огромные железные створки, заросшие плющом и алтеем. Старики мягко опускают носилки на залитую солнцем траву, сдергивают шапки с голов. Монашенка опускается рядом с Агнес на колени, кладет прохладную ладонь ей на лоб.

– Милое, милое дитя, – с любовной укоризной выговаривает она. – Что же нам с тобой делать?

Растративший любовный пыл Уильям обретает возможность получше разглядеть свою добычу, изучить ее в нежных частностях. Ресницы Конфетки неподвижны, она лежит, точно в люльке, на его руке. Уильям ерошит пальцами ее волосы, любясь неожиданными оттенками, скрытыми в их красноте: прожилками чистого золота, светлыми прядями, темными каштановыми нитями. Такой, как у нее, кожи он не встречал никогда – на каждой ее конечности, на животе и на бедрах виднеются... как бы их обозначить? Тигровые полосы. Конфетка обвита геометрическим узором шелушащейся сухости, которая чередуется с рдеющей кожей. Полосы эти симметричны, они словно нанесены на кожу Конфетки кропотливым эстетом или африканским дикарем. (Доктор Керлью, будь он здесь, сказал бы Уильяму – или Конфетке, – что она страдает незаурядно развитым псориазом, который пересекает местами диагностическую границу, переходя в заболевание более редкое и диковинное, именуемое ихтиозом. Он мог бы даже прописать дорогую мазь, которая возымела бы на трещинки, покрывающие руки Конфетки, и на чешуйчатые полосы, что облекают ее бедра, действие не большее, чем дешевое масло, которым Конфетка и без того уже пользуется.) Уильяму же эти узоры представляются обольстительными и уместными знаками ее животной натуры. Она и пахнет, как животное: вернее, так, как животным полагается, по представлениям Уильяма, пахнуть – до общения с ними он не охотник. От промежности ее исходит густой и сладкий запах, в волосах лобка поблескивают капли испарины – и его семени.

Уильям приподымает голову, чтобы получше разглядеть ее груди. Лежащая навзничь Конфетка выглядит почти плоскогрудой, однако соски у нее полные, явственно женские. (Когда же она ложится ничком, у него появляется и за что подержаться.) Сказать по правде, он восхищается каждым вершком ее тела: эта женщина едва ли не для того и создана, чтобы доводить его до оргазма.

Уильям сжимает плечо Конфетки, пробуждая ее в мере, достаточной для того, чтобы она услышала вопрос, который без малого час рвется с его языка.

– Конфетка?

– Ммм?

– А ты... я тебе нравлюсь?

Она издает гортанный смешок, поворачивается к Уильяму, утыкается носом в его щеку.

– Ах, Уильям, да-а-а-а, – произносит она. – Ты мой спаситель, верно? Мой защитник... – Шершавая ладонь Конфетки накрывает его гениталии. – Я едва верю моему счастью.

Он потягивается, истомленно закрывает глаза. Конфетка украдкой покусывает шелушащиеся губы, ей досаждают клиновидный лоскутик кожи, готовый – почти, но не до конца – отстать от них. Лучше его не трогать, иначе пойдет кровь. Сколько денег взять ей с Уильяма на этот раз? Большая мягкая ладонь его лежит на груди Конфетки, сердце бьется под ее острой лопаткой. На лице Уильяма застыло выражение счастья. И ей приходит в голову – да нет, она заподозрила это, когда впервые заглянула ему в глаза, – что при всех его ухватках бывалого греховодника Уильям – просто ребенок, ищущий теплой постельки, в которой он мог бы поспать. Ей довольно всего лишь убрать с его потного лба сальноватые золотистые пряди, и он отдаст за это все, что она попросит.

Теперь он уже дышит глубоко, почти бессознательно, и тут кто-то стучает в дверь, негромко и неуверенно.

– Какого черта? – бормочет Уильям.

Однако Конфетке этот стук знаком.

– Кристофер! – отзывается она *sotto voce*. – Что такое?

– Я очень извиняюсь, – долетает из замочной скважины детский голос. – Мне миссис Кастауэй велела кое-что передать. Джентльмену. Напомнить ему, если он вдруг позабыл, о назначенной встрече. С мистером Уилки Коллинзом.

Уильям, повернувшись к Конфетке, застенчиво улыбается.

– Долг зовет, – говорит он.

Несколько часов спустя Агнес Рэкхэм ощущает, как ее механически оглаживают сквозь постельные покрывала женственные ладошки Клары, однако Агнес ушла в сон слишком далеко, чтобы узнать их.

Сновидение ее, достигнув блаженного завершения, начинается с самого начала. Она едет в Обитель Целительной Силы, поездное купе переделано специально для нее – так, чтобы оно походило, поелику возможно, на ее спальню: Агнес лежит на приоконной койке, стены купе оклеены должного рисунка обоями, на них висят рамки с портретами ее матери и отца.

Агнес приподнимается с подушки, чтобы взглянуть на оживленный дебаркадер – там снуют взад и вперед пассажиры, семят нагруженные чемоданами носильщики, вспархивают к высокому сводчатому потолку голуби, а на дебаркадере дальнем, примыкающем к улице, нетерпеливо бьют копытами кони. Неприятный мужчина, стукнувший пальцем в ее окно, ушел, и место его занимает пожилой, улыбающийся начальник вокзала – он подходит к окну и спрашивает сквозь стекло:

– У вас все в порядке, мисс?

– Да, благодарю вас, – отвечает она и снова откидывается на подушку. Снаружи раздается свисток, и поезд без единого рывка приходит в движение.

А еще через час или час с небольшим укрывшийся в своем кабинете Уильям Рэкхэм, перерыв ящики письменного стола, обнаруживает, что у него не осталось ни одного непрочитанного документа. Он наконец перелопатил их все до единого, он усвоил их суть. Большая, переплетенная в кожу записная книжка лежит открытой, на страницы ее нанесены квадратноватым почерком Уильяма оставшиеся без ответов вопросы. Ничего, ответы он получит – и в самом скором времени.

С легкой от мадеры и достигнутого успеха головой он надрывает бурую оболочку непочатой стопки фирменных бланков «Парфюмерного дела Рэкхэма», вытаскивает один, аккуратно пристраивает его на столешницу, прижимает локтем и, окунув перо в чернильницу, выводит под смахивающей на розу эмблемой компании такие слова:

Дорогой отец!

Глава девятая

Пойдемте теперь со мной, оставим грязные улицы города, оставим комнаты, пропахшие обманом и страхом, контракты, составляемые грязными циниками. Любовь существует. Пойдемте со мной в церковь.

Прошло уже четыре месяца, стоит холодное воскресное утро. Воздух чист, в нем нет ничего, кроме тонкого аромата дождя да пропархивающих здесь и там редких воробьев. И на всем нашем пути к церкви темную сырую траву будут усыпать крошечные белые бутончики, которые вскоре станут нарциссами. Цветы более зрелые мы сможем увидеть...

(Что? Конфетка? Почему вы вдруг вспомнили о Конфетке? За нее можете более не беспокоиться, у Конфетки имеется ныне надежная опора! Да и Уильяма постарайтесь выбросить из головы. Все устроилось, уверяю вас. Отец и сын обменялись несколькими становившимися все более сердечными письмами; передача власти прошла без сучка без задоринки. О, разумеется, поначалу старик изображал Фому неверного. Данные Уильямом доскональные описания компании «Рэкхэм», обязанностей ее управляющего и того, как он, Уильям, намеревается их исполнять, представлялись старику не более чем уловкой, попыткой подольститься к нему, вытянуть из него побольше денег на непомерно расточительное празднование Рождества. Прошло, однако, не так уж много времени, и старик убедился, что совершилось рождение, едва ли не более чудотворное, нежели рождение Спасителя: на свет явился Уильям Рэкхэм, капитан индустрии. Теперь все уладилось, унижения Уильяма отошли в прошлое – так и не стоит о них говорить.)

Да, ну так вот, цветы более зрелые мы сможем увидеть в церкви: и в ее сквозистых серых вазонах, и на шляпках некоторых прихожанок. Впрочем, не только цветы, но также и чучела птичек и засушенные бабочки украшают головные уборы присутствующих здесь модниц. Они рассаживаются по скамьям, приглядываясь к платьям и шляпкам друг дружки, – ничем не приукрашенной осталась лишь чудаковатая Эммелин Фокс. Голову она держит высоко, как бог весть какая красавица, а если судить по осанке ее, Эммелин обладает и бог весть какой силой и властью. Бок о бок с ней выступает, как и всегда, Генри Рэкхэм, человек, который по праву мог стать *тем самым* Рэкхэмом, парфюмерным, но который (как известно теперь всем) привилегию эту навеки утратил.

Генри хорош собою, роста выше среднего – ну, во всяком случае, он выше брата, и глаза у него посинее, и подбородок покрепче. А кроме того, волосы Генри – не менее золотистые – лежат на голове его самым благопристойным образом, да и в талии он поуже, чем брат. В прежние годы, до того, как стало окончательно ясным его нежелание претендовать на то, что принадлежало ему по праву рождения, вокруг Генри увивались одна за другой более чем приемлемые юные леди, каждая из которых находила его славным, пусть и чрезмерно серьезным; каждая отпускала намеки на то, что наследнику крупного дела необходима любящая супруга, и каждая улетучивалась, услышав первые же его пренебрежительные отзывы о богатстве. Только одна из тех дам (присутствующая нынче в церкви, она недавно вышла за Артура Гиллоу, производителя холодильных машин) решилась разок поцеловать Генри в лоб, дабы проверить, не излечит ли его поцелуй от застенчивости.

Впрочем, это не та любовь, о которой я говорю. Я говорю о любви истинной. О любви двух друзей к их Богу – и друг к другу.

Генри приближается к вестибюлю своей церкви – ну, не совсем своей, увы, но той, которую он посещает, – втягивая носом свежий воздух, проникающий сюда снаружи. Интерес к парфюмерии он не питает, но отмечает, однако ж, что с каждой неделей ее в этих стенах появляется все больше. Сегодня ею с такой же силой веет от тех дам, что беседуют

(так, чтобы их слышал приходской священник) о тонкостях Писания, с какой и от тех, расположившихся подальше, что обсуждают предстоящий лондонский Сезон.

Служба закончилась, и потому Генри и миссис Фокс не хотят задерживаться в церкви – к возможности обменяться слухами с другими прихожанами Ноттинг-Хилла они относятся с пренебрежением. Генри пожимает священнику руку, с похвалой отзывается о его репутации дарвинизма и вместе с миссис Фокс направляется к выходу. Сплетницы поглядывают им вслед, но, поскольку эти двое вот уж многие месяцы смотрят на них каждое воскресенье как на пустое место, комментариями себя не утруждают. Они уже столько всего наговорили о Генри Рэкхэме и миссис Фокс, что, если ни тот ни другая на их приманки не клюнули – даром, что каждая из них выбивалась из сил, стараясь, чтобы шепот ее звучал сколь возможно отчетливее, – тут уж ничего не напишешь.

Генри и миссис Фокс осторожно спускаются по крутой, ведущей к церковному погосту гравиевой дорожке, не придерживая друг дружку под руки, но опираясь, как на трости, на свернутые зонты. Достигнув подножия склона, дорожка резко изгибается и некоторое время тянется, прежде чем влиться в улицу, вдоль погоста; по ней они и идут, минуя желтоватые, точно масло, надгробия справа и черные стволы елей слева.

– Какое прекрасное нынче утро, – произносит Эммелин Фокс. (Нет, она и вправду так думает! Она вовсе *не пытается* завязать разговор! Время, проведенное вами на улицах и в домах греха, обратило вас в циника; сегодня действительно прекрасное воскресное утро, а перед вами просто-напросто женщина, выражающая наслаждение, им доставляемое.) Она полна любви к творению Божию, полна до краев. Слава Господня обильна и безгранична, она глядит на миссис Фокс отовсюду... (А вы что *подумали*? Вы и *впрямь* слишком долго водили дурную компанию!)

– Да, прекрасное, – соглашается Генри Рэкхэм. Он оглядывается по сторонам, предлагая Природе потопить его в великой славе своей, однако Природа услужить ему не спешит. Генри щурится, вглядываясь в зеленоватый свет, он хочет проникнуться теми же чувствами, какие испытывает его восторженная спутница.

Беда, однако, в том, что, хоть солнце и лучится в ветвях деревьев, совершенно как на картине Дайса «Джордж Херберт в Бимертоне», ему не удастся произвести на Генри впечатление хотя бы вполовину такое же сильное, как то, что порождает простроченный лиф платья миссис Фокс. Вот и проворные юные воробьи – они шебуршатся в листве и скачут по булыжникам мостовой, однако и им не под силу тягаться в грации с походкой миссис Фокс. Что же до падения света, так это явление предстает во всей красе именно на ее лице.

Ах, до чего же она красива! И одета точно ангел – ангел в серой сарже. Как ни тужится Генри «посмотреть на полевые лилии», они для него слишком вульгарны и заурядны, он не в силах предпочесть их неяркое убранство одеянию миссис Фокс. Ну и голос ее, низкий и музыкальный, как... как негромко играющий фагот, гораздо, гораздо утешительнее щебета воробьев или прочих женщин.

– Вы меня не слушаете, Генри? – неожиданно спрашивает она.

Он краснеет:

– Продолжайте, миссис Фокс. Я просто любовался... чудом творения Божия.

Миссис Фокс прицепляет гнутую ручку зонта к поясу платья, что позволяет ей поднять ко лбу обе ладони в перчатках. От спуска по крутому склону она покрылась испариной и теперь поклевывает кончиками пальцев кожу под густыми курчавыми волосами.

– Я всего лишь говорила о том, – произносит она, – как мне хочется, чтобы грызня по поводу нашего происхождения пришла к концу – к *какому угодно*.

– Простите, миссис Фокс, но что вы хотите сказать вашим «к *какому угодно*»? – Вопросы, которые задает ей Генри, он всегда формулирует мягко, боясь обидеть ее.

– Ну, – вздыхает она, – хорошо бы нам раз и навсегда решить, от кого мы произошли: от Адама и Евы или от обезьян мистера Дарвина.

Генри изумленно застывает на месте. При каждой их встрече она произносит что-нибудь в подобном роде – и именно тогда, когда он меньше всего ожидает этого.

– Но, дорогая моя миссис Фокс, вы не можете говорить это всерьез!

Она скашивает на Генри глаза, однако не произносит ничего, способного умерить его смятение.

– Дорогая моя миссис Фокс, – заново начинает он, сощуриваясь на лежащую перед ними испещренную солнцем дорогу. – Различие между верой в одно происхождение, а не в другое есть различие... ну, между благочестием и атеизмом!

– Ах, Генри, нисколько, ну право же, нисколько. – Теперь она говорит нетерпеливо и страстно, оповещая его о том, что речь пойдет о ее работе в «Обществе спасения». – Если бы вы только знали, с какими несчастными людьми приходится мне встречаться! Вы бы поняли тогда, что споры, которые сотрясают наши церкви и ратуши, не значат для них ничего! Для них они – лишь размолвка между двумя сообществами чванливых ничтожеств. «Да все я про это знаю, мисс, – говорят они. – Всем нам надо решить, кем были наши бабушка с дедушкой: парочкой обезьян или парочкой голых дураков, живших в саду». И они хохочут, потому что и то и другое представляется им равно нелепым.

– Им, возможно, но не Богу!

– Да, но, Генри, неужели вы не понимаете, что созерцание наших свар не приведет их к Богу? Нам пора уже признать, что происхождение жизни им безразлично. Гораздо важнее обратиться к презрению, которым они прониклись к нашей вере. Они, Генри, составлявшие в те дни, когда мир еще не был запятнан городами и фабриками, главную опору Церкви. Какую грусть нагоняют на меня мысли о том, кем они были тогда – землепашцами, простыми и набожными... Вон, полюбуйтесть!

Она указывает на недалекий луг, оказывающийся при внимательном рассмотрении местом кипучих трудов – крошечные рабочие, возы с досками и землей, и все это мельтешит вокруг гигантского механизма неведомого назначения.

– Еще один дом, я полагаю, – вздыхает миссис Фокс, поворачиваясь к лугу спиной и прислоняясь турнюрком к столбу изгороди. – Сначала дома, потом лавки и наконец... – она вращает глазами, изображая Нечестивую Коммерцию, – Универсальный Магазин.

И миссис Фокс, содрогаясь, проводит ладонями по своим тонким предплечьям.

– Впрочем, отец ваш, я полагаю, будет только доволен.

– Мой... отец? – Сразу понять, о чем она говорит, Генри не удастся; единственный Отец, о котором он помышляет постоянно, пребывает на Небесах.

– Ну да, – поясняет миссис Фокс. – Больше домов, больше людей – больше торговли, не так ли?

Генри робко прислоняется к другому, ближайшему к ней столбу изгороди. Как ни неприятно ему родство с архиспекулятором, от которого он получил имя, Генри считает своей обязанностью защитить его.

– Отец любит Природу не меньше других, – заявляет он. – Уверен, он вовсе не стремится к дальнейшему ее разорению. Да и как бы там ни было, вы разве не слышали? Он отошел от дел, передал бразды правления Уильяму.

– Вот как? Он что же, заболел?

Генри, не вполне понимая, к какому из Рэкхэмов относится этот вопрос, отвечает:

– Отец здоров как бык. А Уильям – не знаю, что на него нашло.

Миссис Фокс улыбается. Сущностные и непримиримые различия между Генри и его братом доставляют ей тайное наслаждение.

– Как это неожиданно, – произносит она. – Ваш брат всегда представлялся мне человеком, переполненным замыслами, но отнюдь не способным их осуществить.

Генри снова краснеет, сознавая, что приходится братом никчемнику и моту. Впрочем, чего достиг в жизни он, Генри? Не вправе ли миссис Фокс задирать перед ним нос, смотреть на него сверху вниз, как на человека, не способного взять свою судьбу в руки? (И кстати, почему все твердят, будто нос ее длинен? Для такого лица, как у нее, размеры его совершенны!)

Она по-прежнему стоит, прислонившись к столбу – голова откинута назад, глаза закрыты, – стоит так близко, что Генри слышит ее дыхание, видит парок, выходящий из ее приоткрытых губ. И он обольщается игрой воображения – презирая себя за это и все-таки обольщаясь. Воображает себя викарием, роющим яму в темной, жирной земле своего сада, воображает стоящую рядом с ним позлащенную солнечным светом Эммелин – она держит в руках деревце, приготовленное для посадки. «Скажи когда», – просит она.

Не без усилия отгоняет он эту блаженную грезу и вновь обращается к яви. В повадке миссис Фокс успели произойти изменения. Прежнее воодушевление покинуло ее, она выглядит почти подавленной. Тут всего только ряд простых изменений милого лица, повторявшийся в человеческой истории неисчислимое множество раз, и все-таки сердце Генри сжимается от боли.

– Вы выглядите чем-то опечаленной, – в конце концов выдавливает он.

– Ах, Генри, – вздыхает миссис Фокс. – Раз начавшееся уже не остановишь, вы ведь знаете это, не правда ли?

– На... начавшееся?

– Шествие прогресса. Торжество машин. Мы едем скорым поездом в двадцатый век. Прошлого не вернуть.

Генри на миг задумывается и приходит к выводу, что прошлое да и будущее, как понятия отвлеченные, нисколько его не волнуют. В уме его ясно и ярко светятся одни лишь фантазии о том, как он и миссис Фокс копаются вместе в саду при доме священника, да жгучее желание утешить ее.

– Прошлое – это ведь не только пажити, – говорит он и сам немного морщится от своей выпренности. – Это также и нормы жизни. Не кажется ли вам, что уж их-то мы сохранить сможем, если пожелаем.

– Ах, хорошо бы, если б так. Но современный мир совращает добродетель, Генри, совращает на каждом шагу.

Генри опять заливается краской, ибо его посещает мысль об ордах ее проституток, однако миссис Фокс имеет в виду иное.

– На прошлой неделе, – продолжает она, – я ездила в город, чтобы навестить одно жалкое, нищее семейство, в котором бывала и прежде, – собиралась еще раз попросить этих людей прислушаться к словам их Спасителя. Я ощущала усталость, идти так далеко пешком мне не хотелось. И не успела опомниться, как оказалась на подземной железной дороге, меня влекла машина, зачаровывала смена света и тьмы, я летела сквозь недра земли – и все за шесть пенсов. Я ни с кем не разговаривала, я вполне могла быть и призрак. Я испытывала такое наслаждение, что пропустила мою остановку и в ту семью так и не попала.

– Я... должен признаться, я не совсем понимаю сути рассказанного вами.

– Суть в Конце, Генри, который ожидает наш мир! Мы, по скудоумию нашему, воображаем, будто о светопреставлении нам возвестит гигантский Антихрист, размахивающий окровавленным топором. Однако Антихрист – это наши вожеления, Генри. Потратив какие-то шесть пенсов, я сняла с себя всю ответственность – за благоденствие грязных нищих, которые, надрываясь, прорыли эту железную дорогу, за фантастические суммы, на нее потраченные, за осквернение земли, которой должно быть твердь под моими ногами. Я

сидела в вагоне, любуясь пронесившимися мимо темными туннелями, не имея ни малейшего представления о том, где я, безразличная ко всему на свете, кроме собственного моего удовольствия. Я не была больше созданием Божьим в любом, хоть сколько-нибудь содержательном смысле этих слов.

– Вы слишком строги к себе. Одна-единственная поездка в Подземке вряд ли способна ускорить приближение Армагеддона.

– Я в этом совсем не уверена, – отвечает она с тенью улыбки на устах. – Думаю, для нас близится очень странное время. Время, когда любой нравственный выбор будет затрудняться нашей любовью к прогрессу, станет подобием компромисса с нею.

Она поднимает глаза к небу, словно испрашивая у Бога подтверждения своих слов.

– Я представляю себе, как мир погружается в хаос, а мы всего лишь наблюдаем за ним, не понимая, что мы должны или можем с этим поделать.

– И все-таки вы работаете в «Обществе спасения»!

– Потому что должна сделать хоть что-то, пока мне это по силам. Каждая душа бесценна.

Генри силится припомнить, как они добрались до этой темы. С бесценностью каждой души он, разумеется, согласен и в то же время не может не замечать того, что столбы, к которым прислоняются он и миссис Фокс, холодны и влажны и что миссис Фокс, защищенная турнюрком, этого не ощущает – в отличие от него. И Генри учтиво предлагает ей возобновить прогулку.

– Простите меня, Генри, – говорит она, в одно плавное движение отрываясь от столба. – Мы снова запаздываем и снова из-за меня? Вечно мои мысли блуждают неведомо где, а тело словно корни пускает в землю.

– Вовсе нет! Да я и сам был не прочь немного отдохнуть от ходьбы!

– Как вы милы, Генри, – говорит она и снова пускается в путь. – А знаете, я ведь говорила о Дарвине совершенно серьезно. В конце концов, Церкви случалось ошибаться и прежде – в том, что касалось научных частностей. Разве не утверждала она когда-то, что Солнце вращается вокруг Земли, и не предавала смерти тех, кто думал иначе? А теперь каждый школьный учебник говорит нам, что Земля вращается вокруг Солнца. Но так ли уж это важно? Я не удивлюсь, если женщины, среди которых мне приходится работать, и до сих пор уверены, что все обстоит наоборот. Но не мое дело внушать им правильные представления о космологии или происхождении человека. Я борюсь за то, чтобы уберечь от смерти их тела и души! – И она на ходу прижимает к груди стиснутый кулачок. – О, если б вы только знали, в состоянии какой нравственной анархии они живут!..

К стыду Генри, он как раз и жаждет побольше узнать о состоянии нравственной анархии, в котором живут проститутки миссис Фокс. Ах, какую, надо думать, порочность приходится ей наблюдать! Только одно и удастся ему – воздерживаться от вопросов, которые, хоть и изображают интерес к санитарному состоянию города, порождены любознательностью совершенно иного толка. Порою Генри приходится стискивать зубы, прикусывать язык, норовящий потребовать от нее вящих подробностей.

Странное все-таки дело: как раз в тех случаях, когда он в совершенстве владеет собой и ведет с миссис Фокс беседы о материях ничем не запятнанных, она-то и переводит разговор – без всякой задней мысли, разумеется, – в плоскость куда более плотскую.

Ну, например, не так давно он и миссис Фокс прогуливались у Серпантина, беседуя о Загробной Жизни.

– Вы знаете, Генри, – говорила она, – я нередко испытываю сомнения в существовании Ада. Смерть и сама по себе так жестока. О, я говорю не о той смерти, которая, скорее всего, постигнет нас с вами, но о смерти, столь часто выпадающей на долю несчастных, среди которых я провожу немалое время. Наша доктрина велит нам верить, что эти люди

обречены на Ад, но что есть Ад для таких, как они? Когда я вижу женщину, умирающую от дурной болезни и горько сожалеющую о каждой минуте, какую она провела на этой земле, я задумываюсь: не претерпела ль она уже здесь самое худшее?

– Да, но праведники должны же получать какую-то награду! – возражает Генри, напуганный не тем, что Бог прогневается на нее за такую ересь (Бог не может не видеть, сколь благи намерения миссис Фокс), но тем, что на прекрасную головку ее падет гнев Церкви.

– Разве Рай – награда недостаточная, – в свой черед возражает она, – и без того, чтобы праведные видели, как карают проклятых?

– Конечно, конечно, – торопливо соглашается он. – Я вовсе не желал сказать, что мне хочется видеть страдания грешников. Однако среди людей праведных существуют и такие, кто хочет этого, и не можем же мы допустить, чтобы кто-то из них, оказавшись в Раю, проникся негодованием...

Эммелин наклоняется над кромкой берега, прощально машет ладошкой толстой серой утке, скрывающейся под водой Серпентина.

– Я не уверена, что наши воскресшие души сохраняют способность проникаться негодованием, – говорит она.

– Ну, в таком случае ощущением... несправедливости.

Миссис Фокс улыбается, лицо ее озарено отблесками водной зыби.

– И это ощущение представляется мне на редкость странным для воскресшей души. – И она простирает над озером окутанную шелком руку, быстро перебирая в воздухе пальцами, маня к себе тех, кто укрылся под водой.

– Но ведь... что-то они должны же чувствовать... – упорствует Генри. – Мы же не люди Востока, мы не думаем, что нам предстоит исчезнуть, как дым, слившись с нашим божеством.

Впрочем, миссис Фокс его, судя по всему, уже не слышит, она вглядывается в сверкающую воду, ожидая, когда вынырнет утка. Генри откашливается:

– А как полагаете *вы*, миссис Фокс? Что чувствуют души в Раю?

– О, – произносит Эммелин, глаза ее, глядящие из пегой от солнечных крапин тени под полою шляпки, загадочны, губы влажно поблескивают, точно листья на воде. – Я бы сказала... Любовь. Самую чудесную... беспредельную... совершенную... Любовь.

Вот так она с ним вечно и поступает! Всего лишь несколько слов, определенная интонация, и она безыскусно пробивает его платоническую броню, оставляя Генри беспомощным перед натиском нечистых помыслов. И какие только безобразные сцены не вспыхивают в его сознании подобием *tableaux vivants*³⁸: юбка миссис Фокс зацепляется за сук дерева и тут же раздирается надвое; дегенеративный головорез нападает на миссис Фокс и, прежде чем Генри сражает его, успевает оголить ее грудь; на миссис Фокс загорается платье, и Генри приходится принимать срочные меры; миссис Фокс в сомнамбулическом сне приходит ночью в его дом, вынуждая Генри восстанавливать ее достоинство с помощью собственного ночного халата.

Стоит ему разволноваться подобным образом, как в ушах его начинают звучать нашептывания похоти. И он пристаёт к миссис Фокс с просьбами поподробнее рассказать о ее работе среди падших женщин, отлично сознавая при этом: помимо того, о чем ему хочется узнать, существует и то, что он хочет лишь *наглядно представить*.

– А как... как одеваются эти несчастные? – спросил у нее Генри в одном подобном случае; они тогда прогуливались по Сент-Джеймскому парку.

– По последней моде, более или менее, – ответила, ничего не заподозрив, она. – Впрочем, есть и такие, кто отдает предпочтение облику более старомодному. Некоторые из тех, с

³⁸ Живые картины (*фр.*).

кем мне приходится встречаться, еще расчесывают волосы на прямой пробор, без челки. В целом я бы сказала так: расцветки их платьев на несколько месяцев отстают от моды – хотя я вряд ли годна в арбитры по части подобных материй. А почему вы спрашиваете?

– Их наряды... Они не... не свободны?

– Свободны?

– Эти женщины, они... не выставляют свои тела напоказ?

Она примолкла, серьезно обдумывая вопрос. И наконец ответила:

– Полагаю, да, выставляют. Однако значение имеет не столько наряд, сколько то, как его носят. Платье, которое на мне может выглядеть более чем пристойным, на них обращается в наряд Иезавели. То, как они стоят, сидят, жестикулируют, ходят, может быть непристойным до крайности.

Генри задумался – как именно должна сидеть блудница, чтобы постыднейшим образом отличаться от порядочной женщины? Как должна она стоять, как двигаться? По счастью, в тот раз Генри спасли от него самого (сколь ни сомнительным было это спасение) Бодли и Эшвелл, прибежавшие к ним по парку.

Сегодня же, в это солнечное воскресное утро, среди виднеющихся повсюду красот посланной Богом весны, под тугими одеждами Генри Рэкхэма вновь учиняется некое беспорядочное брожение. Миссис Фокс совсем недавно воскликнула: «О, если б вы только знали, в состоянии какой нравственной анархии они живут!..» – и ему отчаянно хочется это узнать. Генри просит ее о подробном рассказе и таковой получает.

Пока они неторопливо шагают дальше, миссис Фокс пересказывает ему истории из жизни «Общества спасения». (Какие-либо оголенные тела, какие-либо объятия в этих историях неизменно отсутствуют, однако Генри все равно выслушивает их с пылающими ушами.) Она рассказывает об одном давнем уже случае, когда ее и других сестер из «Общества» допустили в дом греха и они увидели там девушку, которой вне всяких сомнений недолго оставалось жить на этом свете. Миссис Фокс выразила озабоченность здоровьем несчастной, и Мадам резко ответила ей, что девушка находится в хороших руках – получше любых докторских – и что, если говорить начистоту, миссис Фокс и сама-то выглядит не шибко здоровой, так не хочет ли она прилечь в одной из свободных пока комнат?

– Должна признаться, извращенность ее представлений меня попросту потрясла.

– Еще бы, – бормочет Генри. – Предложение коварное и крайне распущенное.

– Нет-нет, потрясло меня не *она*, а ее неприятие Медицины! В сознании этих людей царит совершенный кавардак: Бог и доктора плохи, а проституция хороша!

Генри сочувственно хмыкает. В его сознании кавардак обретает очертания телесные – груди извивающихся розовых женщин, прыгающих одна на другую, будто лягушки в пруду.

– Вам я тоже кажусь больной? – неожиданно спрашивает миссис Фокс.

– Вовсе нет! – восклицает он.

– Ну, как бы там ни было, я чувствую боль вот *здесь*, – говорит она, кладя ладонь на грудь, – при мысли о несчастных девушках, попавших в лапы той злой женщины, при попытках вообразить жестокое обращение, какое им, верно, приходится сносить.

Генри, изо всех сил старающийся *не* вообразить обращение, которое приходится сносить несчастным девушкам, с облегчением обнаруживает, что по Юнион-стрит навстречу ему и миссис Фокс движется возможность сменить тему разговора.

– Посмотрите туда, миссис Фокс, – говорит он, – вам не кажется, что это наша знакомая?

По направлению к ним семенит коренастая, пухлая дама в пышном лиловом платье с черной отделкой. На шляпке ее попрыгивает вверх-вниз пук крашенных перьев, которых хватило бы на всю жизнь и не самой маленькой птице, парасоль дамы обладает пропорциями континентальными.

– *Ваши*, быть может, – отвечает миссис Фокс. – Я же, уверена, никогда ее прежде не видела.

(На самом деле женщин к ним приближается *две*, однако служанка – существо незначительное и имени не заслуживает.)

– С добрым утром, леди Бриджлоу, – произносит Генри, едва они сближаются на приличное для обмена приветствиями расстояние. В ответ дама выпрастывает из черной муфты ладонь в лиловой перчатке и сдержанно помахивает ею.

– Доброго утра и вам, мистер Рэкхэм. – И она, слегка сощурилась, оглядывает миссис Фокс. – Не думаю, что я знакома с вашей спутницей.

– Позвольте представить вам миссис Эмелин Фокс.

– *Enchantée*³⁹. – Леди кивает, улыбается и, не останавливаясь, следует со своей горничной дальше, черные башмачки их постукивают по камням мостовой.

Генри, подождав, пока они покинут пределы слышимости, поворачивается к миссис Фокс, чтобы сказать сдавленным от негодования голосом:

– Вами погнушались.

– Не сомневаюсь, что переживу это, Генри. Не забывайте, я привыкла к тому, что перед моим носом захлопывают двери, к тому, что меня поносят дурными словами. И взгляните-ка: мы на углу Уильям-стрит. Как по-вашему, не знак ли это, посланный нам Провидением, желающим, чтобы мы свернули направо и навестили вашего брата?

Генри хмурится, ему всегда становится не по себе от вольных шуточек миссис Фокс, которые люди здравомысленные могли бы счесть богохульством.

– Полагаю, как раз из дома Уильяма леди Бриджлоу и возвращалась.

– Да уж, наверное, не из церкви, – замечает миссис Фокс. – Однако развеите мое недоумение, Генри: я и не знала, что аристократия считает вашего брата достойным ее визитов.

– Ну, они ведь соседи, в некотором смысле.

(Теперь он вспоминает – Уильям рассказывал ему об этой даме очень многое, как если бы она чем-то сильно интересовала его.)

– Соседи? Но их разделяет не меньше дюжины домов.

– Да, но... – Генри старается припомнить последний разговор с братом. Что-то такое о самоубийстве, нет? Ах да! – Уильям единственный, кто не винит эту леди за то, что муж ее покончил с собой.

– Покончил с собой?

– Да, застрелился, сколько я знаю.

– Бедняжка. Разве не мог он просто развестись с ней?

– Миссис Фокс!

Песик, устроившийся у ворот, ведущих во владения Уильяма Рэкхэма, поднимает в надежде дворняжку голову, а затем начинает облизывать свои детородные органы, явно не сознавая, что подобным способом приязненного внимания ему заслужить не удастся.

– Не смотрите, миссис Фокс, – пропуская ее перед собою в калитку, просит Генри.

Эмелин оборачивается, однако видит лишь пса, с мольбой взирающего на нее задушевыми карими глазками сквозь закрываемую перед его носом калитку. «Бедняжка», – думает миссис Фокс.

– Может быть, это собака Уильяма? – спрашивает она, вступая вместе с Генри на ведущую к дому дорожку.

– Уильям, насколько я знаю, домашних животных не держит.

– Он мог завести собаку и после того, как мы были у него в последний раз.

³⁹ Очень приятно (*фр.*).

– Ну, не думаю, что он остановил бы свой выбор на дворняге.

Генри подходит к парадной двери брата (украшенной гирляндой витиеватых «Р» двери, которая могла бы принадлежать ему) и дергает за шнурок звонка. Шнурок еще продолжает покачиваться, а Генри уже понимает, сколь многое изменилось в доме со времени его последнего визита сюда, состоявшегося несколько недель назад, *sans*⁴⁰ миссис Фокс. Может быть, дело тут в том, как сверкают «Р», начищенные настолько, что латунь их обратилась едва ли не в золото. Может быть, в том, что дверь открывается не через минуты, а через секунды после звонка, или в том, как здороваются с гостями Летти – с таким пылом, точно ей сию минуту впрыснули сыворотку подобоострастия. Вестибюль за ее спиной походит на парадную выставку – сверкание красок и ни единой пылинки.

– Прошу, прошу! – восклицает, весело взмахивая руками, стоящий на срединных ступенях ведущей вверх лестницы Уильям Рэкхэм. Генри едва узнает брата – на верхней губе и подбородке его пробилась темная курчавая поросль, голова острижена еще короче, отчего волосы кажутся прилипшими к ней. Костюм на нем не воскресный, но обычный, повседневный – минус сюртук, плюс доходящий до лодыжек халат с золотыми отворотами. Конечно-сти же Уильяма выставляют всем напоказ следующее: увеличительное стекло, сигару и пре-страннейшие двухцветные туфли. И все-таки самая приметная новость – это его сияющая улыбка.

Так начинается большая экскурсия. Не оскользнитесь, полы только что навоощили!

– Сюда, прошу вас, сюда.

Хозяин дома проводит по своим владениям брата Генри и его спутницу, показывая им все. Меланхоличность, давно уже ставшая для дома Рэкхэма подобием характерного душка, выдворена из него навсегда. Все окна заменены; старые ступеньки с дорожек парка убраны; рамы французских окон гостиной накрепко привинчены к полу. В доме веет краской, обойным клеем и свежим воздухом. К стыдливому сокрушению Генри, в вестибюле и в этот день трудятся трое рабочих, наклеивая под бдительным приглядом специально для того покинувшей постель Агнес последние полотнища обоев.

А не заметил ли Генри, что ограда поместья больше уже не ржаво-коричневая, но розовая? Нет? Ха-ха! Мой брат, как всегда, пребывает в своем собственном мире. А что он скажет о парке? Какова разница, а? Садовник носит фамилию Стриг – честное слово! Сильно, не правда ли? Стриг! Ха-ха! Мул, а не человек, но такой-то и нужен, чтобы привести в божеский вид буйные заросли, обступившие оранжереи.

Впрочем, изменения претерпели не только дом и ближайшее его окружение. Уильям Рэкхэм предпринял немало других серьезных шагов или, по крайней мере, распорядился, чтоб их предприняли. Взять ту же прислугу.

Все, что было в доме неправильного, приведено в порядок. Джейни, избавленная от излишних обязанностей, вновь обратилась в мойщицу и, несомненно, рада-радешенька тому, что отвечает только за тряпки, щетки да швабры. Нанята новая кухонная девушка, которая будет также помогать Летти в отправлении ее обязанностей, так что теперь Летти может уделять гораздо больше внимания нуждам гостей и хозяев. Скоро появится и еще одна служанка, и тогда женщин у Уильяма будет полный комплект; нанимать новых – до переселения в дом много больший (будущее, будущее!) – он не может. Слугу – да, однако он не решил покамест, какого именно. Садовник – приобретение внушительное, более того – необходимое, однако мысль о домашнем слуге ему особо привлекательной не представляется. Кучер? Ммм... да, хотя, на деле, от найма кучера он до поры воздержится, сначала нужно обзавестись выездом. И как знать? Быть может, кучер ему и вовсе не понадобится. Он слишком занят теперь, чтобы попусту тратить время, разъезжая всем напоказ в экипаже.

⁴⁰ Без (*фр.*).

Вот разве что Агнес потребует в ближайшем Сезоне собственный выезд, тогда придется купить ей карету.

И заметьте, престиж, обретаемый тем, кто заводит мужскую прислугу, ни с каким иным и сравнить невозможно. Служанки – дело другое: позволить себе одну-вторую может любой лавочник или мелочная матрона. Впрочем, садовник – это уже начало, и очень недурное, не правда ли? По крайней мере, анархия лужайкам больше не грозит!

Да, Уильям Рэкхэм переменился, это ясно. Ныне с лица его не сходит выражение человека, для которого день всегда недостаточно долог: человека, работающего по двадцать четыре часа в сутки. Авгиевы конюшни, вот что такое наше парфюмерное дело, но ведь кто-то же должен их расчищать – теперь, когда старик этот мир покинул. (Что? Нет, отец в добром здравии, это так – риторическая фигура.) Однако работы не впрокорот, вот в чем вся суть, она съедает семь дней в неделю. (Не смотри на меня так грозно, дорогой брат, это опять-таки риторическая фигура. Как все прошло в церкви? Я был бы и рад присутствовать на службе, но эти рабочие, за ними нужен глаз да глаз. Что? День отдохновения? О, разумеется, разумеется. Однако наклеить осталось всего-то несколько полотнищ, а эти господа так просили разрешить им закончить сегодня. Евреи, чему же тут удивляться?)

Чтобы отбить у брата охоту к критическим замечаниям, Уильям произносит похвальное слово духам: непостижимому чуду механизма их действия. Ароматы, совершенно как звуки (поясняет он), воздействуют на наши обонятельные органы, проходя ступени столь же тонкие, сколь и точные. Существует октава запахов, подобная музыкальной октаве. Верхняя нота есть то, что мы замечаем, когда на носовом платке ослабевает самая крепкая составляющая духов; средняя, или модификатор, создает полный, цельный характер благоухания; а затем, когда уходят более летучие вещества, остается звучание основной, или конечной, ноты: и что такое эта конечная нота, братец? Представь себе, лаванда!

Уильям без удержу разыгрывает перед Генри и миссис Фокс роль хозяина дома. Подается чай с булочками, подается точно в срок и образцово. И пока гости хмыкают и мекают, изображая одобрение и признательность, он мысленно сопоставляет их с собой.

О миссис Фокс он думает так: «Эшвелл прав, с лица она – совершенная борзая. Хотелось бы знать, она и впрямь такая больная, какой кажется?»

А о своем брате Генри: «Он до того неловок, до того неспокоен, точно его геморрой доедает. Странно, к чему все свелось – Генри всегда казался лучшим из нас двоих... и вот мы сидим здесь в это солнечное воскресное утро, и нате вам: именно мне выпала участь показывать, как может мужчина подчинить себе Жизнь, принудить ее исполнять его предписания».

– Благодарю вас обоих за то, что навели меня, – говорит он, когда гостям приходит время попрощаться.

Миссис Фокс, эгоистично узурпируя право Генри высказаться первым, отвечает:

– Ну что вы, мистер Рэкхэм. Энергия, с которой вы преображаете ваш дом, она, пожалуй... даже пугает. Мир мучительно нуждается в подобной энергии – особенно на других поприщах.

– Вы слишком добры, – говорит Уильям.

– Да, слишком добры, – эхом подхватывает Агнес, добавляя эти три слова к тем двадцати, примерно, что составили ее вклад в общий разговор. Как ни красив наряд Агнес, зелено-голубой с черным, она еще не вернула себе сноровки, потребной для светских бесед.

– Надеюсь, – произносит Уильям, передавая гостей на попечение Летти, – вам удастся провести остаток нынешнего дня в приятных развлечениях.

Генри, разгневанный этим намеком на то, что он и миссис Фокс способны потратить день Божий на эгоистические увеселения, отвечает:

– Уверен, мы с миссис Фокс проведем его... э-э... подобающим, насколько то нам по силам, образом.

И на этой ноте Генри и миссис Фокс откланиваются.

Тишина нисходит на дом Рэкхэма – во всяком случае, та, какая возможна, когда обойщики собирают в вестибюле свои инструменты. Уильям, слегка охрипший от устроенного им представления, закуривает сигарету. Агнес сидит с ним рядом, глядя на не съеденное ею печенье и не видя его. Ее уже начинает подташнивать от оксалата цериума, содержавшегося в пилюле, которую она проглотила с чаем.

Проходит добрых пять минут, и Агнес спрашивает:

– Так сегодня воскресенье?

– Да, дорогая.

– А я думала, суббота.

– Воскресенье, дорогая.

Еще одна долгая пауза. Агнес исподтишка почесывает запястья, отвыкшие и от тесных рукавов дневного платья, и от каких-либо тканей, помимо хлопчатой. Потом сжимает ладони, чтобы не чесаться и дальше. Потом:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.